

Юрій Винничук

ТАНГО СМЕРТИ



CF FOLIO

Annotation

Юрий Винничук (род. в 1952 г.) – известный украинский писатель, поэт, драматург, литературный деятель. Живет и работает во Львове. Роман писателя «Танго смерти», победитель конкурса «Книга года ВВС-2012», получил награду от громады города Львова – знак «Золотой герб Львова», и стал, без всяких сомнений, одним из самых громких событий прошлого года.

События в новом романе Юрия Винничука «Танго смерти» разворачиваются в двух сюжетных срезах. В довоенном Львове и во время Второй мировой четверо друзей – украинец, поляк, немец и еврей, родители которых были бойцами армии УНР и погибли в 1921 г. под Базаром, – переживают необыкновенные приключения, влюбляются, воюют, но при любых катаклизмах не предадут свою дружбу.

Параллельно в наши дни происходят другие события с другими героями. И не только во Львове, но и в Турции. Однако каким образом обе сюжетные линии сойдутся вместе, узнаете в неожиданном финале.

- [Юрий Винничук](#)

-
- [1](#)
- [A](#)
- [2](#)
- [B](#)
- [3](#)
- [C](#)
- [4](#)
- [D](#)
- [5](#)
- [E](#)
- [6](#)
- [F](#)
- [7](#)
- [G](#)
- [8](#)
- [H](#)
- [9](#)
- [I](#)
- [10](#)
- [J](#)
- [11](#)
- [K](#)
- [12](#)
- [L](#)
- [13](#)

- [M](#)
- [14](#)
- [N](#)
- [15](#)
- [O](#)
- [16](#)
- [P](#)
- [17](#)
- [Q](#)
- [18](#)
- [R](#)
- [19](#)
- [S](#)
- [20](#)
- [T](#)
- [21](#)
- [U](#)
- [22](#)
- [V](#)
- [23](#)
- [W](#)
- [24](#)
- [X](#)
- [25](#)
- [Y](#)
- [26](#)
- [Z](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)

- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)

- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)

- [103](#)
 - [104](#)
 - [105](#)
 - [106](#)
 - [107](#)
 - [108](#)
 - [109](#)
 - [110](#)
 - [111](#)
 - [112](#)
 - [113](#)
 - [114](#)
-

Юрий Винничук

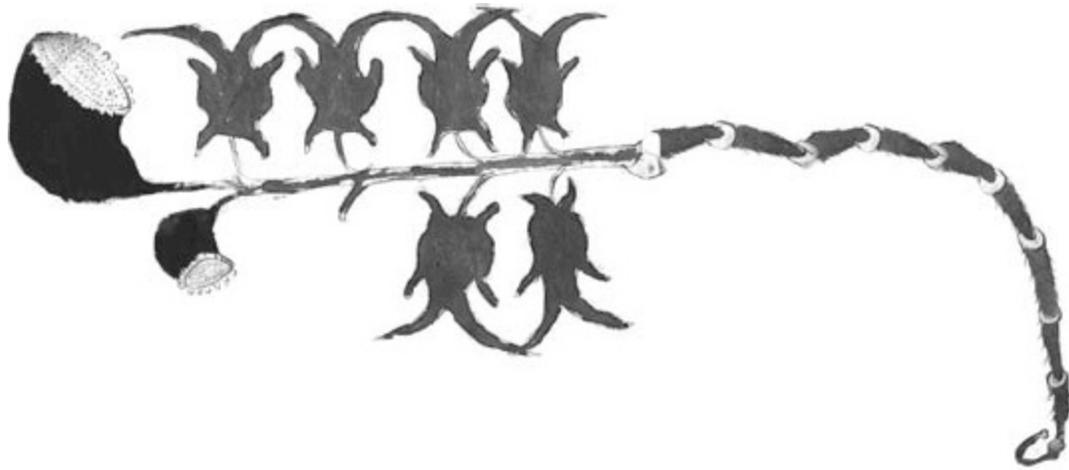
Танго смерти

Посвящаю Евгению Наконечному (1931–2006) – автору книг «Украдене ім'я» и «Шоа у Львові», доброму духу Научной библиотеки имени В. Стефаника, который много раз настоятельно, но деликатно подводил меня к этой теме, предлагая различную литературу и делясь личными воспоминаниями.

Там наверху падает снег, каркают вороны, трещат от мороза деревья, а где-то далеко поскрипывает снег под сапогами убийц. Их приближение чувствуется во всем – вот откуда-то издалека доносится угрожающий собачий лай, не похожий на лай деревенских псов, лай нарастает, нарастает, а вороны с громким карканьем взвиваются вверх и разлетаются. Четверо молодых мужчин сидят в схроне, прислушиваются к лаю, потом, обменявшись взглядами, сжигают какие-то бумаги, из продушины ползет дым. Затем они переодеваются в чистые рубахи и молятся. Молятся не вместе, а каждый сам по себе, и молитвы их на разных языках. Трое усаживаются вокруг маленького дощатого столика, на его темной гладкой столешнице лежит связка гранат, руки всех троих укладываются рядом. Они молча ждут. В их глазах нет страха. Каждый думает о своем.

Четвертый берет в руки скрипку, становится возле них и прислушивается. Собачий лай раздается уже над головой, огонь в укрытии догорает, искорки пробегают по сожженным документам и тают. А сверху уже доносится топот и требование сдать. Мужчины не реагируют, их взгляды прикованы к гранатам. Они вздрагивают лишь тогда, когда слышат исполненные отчаяния женские голоса, взывающие к ним, заклинаящие их, умоляющие. Голоса эти выжимают слезы из их глаз, но они не будут сдаваться, они хорошо знают, что их ждет.

Рука со смычком касается скрипки, и звучит мелодия танго. Теперь лаю собак и голосам людей приходится прорываться через эту мелодию, да и не только через мелодию, еще и через пение – четверо мужчин поют что-то тихо-тихо. А потом рука одного из них тянется к связке гранат...



В молодости все мы – никто, даже величайшие гении, чьи карьера и признание еще впереди, приходят в этот мир не слишком приспособленными к жизни, поэтому и не удивительно, что, женившись, мы подвергаем себя серьезным испытаниям, которые редко имеют счастливый конец и зачастую заканчиваются разводом. Именно в такую ловушку и угодил молодой Мирко Ярош, женившись после окончания университета на теплой и сладкой Роме. Он читал ей стихи замечательных поэтов, а она делала вид, что слушает, даже глаза прикрывала и выпячивала губы, а лицо ее становилось настолько одухотворенным, что он все больше и больше влюблялся в нее, полагая, что именно она создана для того, чтобы замороженно выслушивать все, что он выскажет, всю ту уйму слов, в которые он был влюблен и в которых увязал, как в тине, жадно заглатывая воздух, а когда во время таких чтений она прижималась к нему и горячим дыханием щекотала ухо, он думал, что идиллия эта будет вечной и оба просто так обречены на то, чтобы сочетаться браком. Чувства побеждали здравый смысл, а потом, поженившись, они поселились у Роминых родителей, и это стало началом конца.

Два года работы учителем, а позже заочное обучение в аспирантуре не предвещали ничего радостного, потому что денег как не было прежде, так не было и теперь, а родители Ромы не отказывали себе в удовольствии лишний раз напомнить о том, что молодые сидят у них на шее. Вечером, убаюкав маленького сына, Ярош обкладывался на кухне книгами и писал диссертацию о литературе Египта, Вавилона, Ассирии, Шумера, Арканума и Хеттского царства, но чем больше он погружался в тему и обнаруживал очередные источники, тем безнадежней казался ему этот труд, потому что одни источники порождали другие, а те – третьи, и так без конца, заставляя его блуждать в лабиринтах версий и делать выводы зачастую на ощупь, ведь все, кто занимался этой темой, имели дело не с полной панорамой литературной жизни тех времен, а только с обрывками, которые чудом до нас дошли, чудом были расшифрованы и прочитаны, да и то не все, потому что арканумского языка так никто и не осилил, а о его литературе судили по хеттским и хурритским источникам. И вот эта последняя проблема вскоре увлекла Яроша так, что он отложил в сторону все остальное и взялся за расшифровку арканумских текстов, до него это пытались сделать немало ученых, но им ничего не удалось, арканумская клинопись не была похожа ни на какую другую.

Имея возможность заниматься научной работой лишь урывками, Ярош стал серьезно

задумываться над смыслом своего семейного быта. Тупая рутинная работа в школе угнетала и изнуряла его, он сам себе удивлялся, как так случилось, что он стал учителем, испытывая ненависть к этой профессии еще со школьной скамьи. Приходил домой усталый, и единственное, что могло стимулировать его к научной работе, – это вино. Первый бокал снимал дневное напряжение, второй – высвобождал мысли, срывал с них все путы, и тогда перо его начинало летать по бумаге, как безумное. Правда, длилось это часа два, не больше, потом усталость одолевала его, и он укладывался спать с головой, полной древних иероглифов, глиняных табличек и папирусов, ко всему этому добавлялось абсолютное неуважение и жены, и ее родителей к его научной работе, они считали то, чем он занимается, бессмыслицей, пустой тратой времени, ведь он никогда не завершит научной работы, а потому суждено ему век вековать скромным школьным учителем. Уже стало неким неизменным ритуалом отрывать его от работы и отправлять в магазин за хлебом, вынести мусор, набрать воды в привозной цистерне, когда отключали водопровод, будить его на рассвете, чтобы он бежал занимать очередь за молоком, за колбасой, творогом, сахаром или мукой – неважно за чем, за всем этим должен был бегать только он, когда в 1980-х годах дефицитом становилось все и люди превращались в охотников за товаром, рыская по городу и занимая по несколько очередей одновременно, чтобы в каждой из них успеть купить по килограмму сахара или по пачке стирального порошка, потому что больше в одни руки не давали, а еще он должен был караулить книжные магазины, куда раз в неделю завозили новые книги, информацию об этом получал лишь ограниченный круг людей, и уже за час до того, как откроется книжный магазин после «приема товара», нужно было занять очередь и затем ворваться во главе толпы и первому ухватить Кафку, Камю, Акутагаву, Кортасара, Маркеса, Борхеса и – несть им числа... Ярош ради этой святой цели даже завел платонический роман с одной продавщицей, на что-то большее он не мог бы решиться, потому что она относилась к тем перезрелым девицам, которые вследствие прожитых в одиночестве лет становятся в быту невыносимыми, капризными и занудными. Пригласив ее на чашку кофе, Ярош вынужден был выслушать ее жизненное кредо, весь тот ворох хитроумных условностей, которыми она обложила себя со всех сторон, как сигнальными флажками, наконец, таким сигнальным флажком был и весь ее гардероб, призванный скрывать все выпуклости ее тела, как у монахини, потому что она ждала «серьезных отношений», «флирт ее не интересовал», но «пан Мирко очень приятный человек», «ему можно доверять», «мне иногда кажется, что мы знакомы очень давно» – и улыбка, многообещающая и подающая надежду, еще один флажок, замелькавший на горизонте, правда, с красноречивым предостережением: «Никому, никому, никому – лишь ему одному». Ярош смотрел на ее белоснежные руки, покрытые тоненькими рыжими волосками, и представлял себе ее ноги, видимо, такие же волосатые, и это даже вызывало у него желание исследовать этот еще никем не изученный континент со всеми его скрытыми закутками, но от исследования спасало лишь то, что было слишком мало свободного времени, да и простого приглашения на чашку кофе было вполне достаточно, чтобы поддерживать дружеские отношения и добывать информацию о поступлении новых книг.

Как-то далеко за полночь он отправился спать, оставив свои бумаги на столе в кухне, служившей ему поздними вечерами кабинетом, а утром застал на своих бумагах заляпанную жиром горячую сковороду, с которой теть, отгородившись от всего мира газетой, уплетал яичницу, густо посыпанную зеленым лучком, и это стало для него уже последней каплей. Он с бесцеремонным ухарством, которого раньше себе не позволял, но с неизменным

«извините», выдернул бумаги из-под сковороды, потрусил ими над столом под изумленным и ничего не понимающим взглядом тестя и вышел. Теперь он ясно понимал, что стоит перед неизбежной дилеммой – нужно что-то принести в жертву: или семейную жизнь, или науку. Он выбрал первое. Однажды утром, чтобы не вызвать никаких подозрений, он отправился из дома на работу так же, как обычно, правда, в его неизменные обязанности еще входило отвести сына в ясли. Разлука с малышом была для него особенно болезненной, он знал, что теряет очень много приятных моментов, ведь то, что он задумал, разрушит окончательно прежний привычный стиль жизни, но другого выхода он уже не видел и, дождавшись, когда квартира опустеет, вернулся, медленно, не спеша, уложил все свои вещи, упаковал книги и бумаги и написал письмо, в котором сообщал, что уходит навсегда и бесповоротно. Алименты будет отправлять в начале каждого месяца. Потом позвонил в школу и сообщил директрисе, что вынужден в силу некоторых обстоятельств оставить работу.

– Вы не можете так вот просто взять и бросить школу среди учебного года! – справедливо возмутилась директриса.

– У меня очень серьезные причины.

– Какие, позвольте узнать?

– Болезнь.

– Болезнь? – посерьезнела директриса. – Неужели такая уж?

– К сожалению, диагноз неутешительный, – повторил он фразу, услышанную в каком-то фильме, и вздохнул.

– Ну, что ж... то есть... пока вы будете лечиться, место будет за вами...

– Нет, лечение ни к чему... болезнь неизлечима, понимаете? Нет смысла.

– И куда вы уходите? У вас есть новая работа?

– Нет. Я просто хочу прожить остаток отпущенных мне дней в свое удовольствие.

Понимаете, о чем я?

– Конечно. Это очень правильно. И правда, какой смысл ишачить... но трудовую книжку можете оставить у нас... чтобы стаж не прерывался... ой, какой уж там стаж!.. но все равно, чтобы не было проблем... а то вдруг в милицию попадете, а там поинтересуются местом работы... Тунеядство пришьют... так-то оно безопаснее...

– Конечно. Спасибо за заботу.

– Не за что. И помните, что весь наш коллектив всегда вами гордился. И дети вас любили. Им будет трудно без вас.

После этого он вызвал такси и оказался на другом конце Львова на Майоровке. Накануне он присмотрел себе жилье по сходной цене у пары пенсионеров. Комната была небольшая, он даже не смог разложить все свои книги, но зато ему уже никто не мешал. Утром он отправлялся в научную библиотеку и работал там до пяти, потом возвращался домой, по дороге покупал несколько пирожков с ливером по четыре копейки, пирожки он поджаривал на сковороде и ел с чаем. Он привык обходиться малым. Зато теперь он мог полностью отдаться науке. Чтобы заработать на жизнь и на уплату алиментов, публиковал литературные рецензии и переводы. Для пусть и не вполне безбедного, но и не нищенского существования хватало двух-трех публикаций в месяц. А главное, что никто тебе не капает на мозги.

Из семьи Яроша в живых осталась старшая сестра его матери, тетя Люция, старая дева, жених которой в войну пропал без вести, а она продолжала его ждать даже после провозглашения независимости, когда все, кто выжил в сибирях, вернулись домой. У нее был

просторный дом на Кривчицах, и она не раз звала племянника к себе жить, но тот всячески отнекивался, зная, что тетя не даст ему покоя, ей захочется общения, внимания, наконец, возникнет желание заботиться о нем, но ни в какой опеке Ярош не нуждался, он мечтал лишь об уединении. Хотя частенько и навещал тетю, приносил продукты, снабжал ее интересными книгами и даже терпеливо выслушивал ее истории. Тетя была тучной женщиной с обвисшим подбородком, у нее были толстые ноги, ходила она переваливаясь, как утка, и пахла валидолом, а ведь в юности была очень привлекательной. Больше всего она радовалась, если ей удавалось усадить племянника за стол и чем-нибудь накормить, тогда она устраивалась напротив и смотрела на него влюбленными глазами, тешась тем, что какое-то блюдо или пляцек с ягодами пришлись ему по вкусу. Каждый год в августе она принималась готовить варенья из всяческих ягод и фруктов, хотя сама их ела редко и мало, да и Ярош не был сладкоежкой, поэтому банки с вареньем скоро заполнили в кладовке все полки, уже и места для них не было, но каждый август повторялась одна и та же процедура – проваривание ягод и помешивание деревянной лопаткой в большом медном тазу. В эти моменты тетя напоминала колдунью, которая готовит какое-то приворотное зелье, она была сосредоточена и серьезна, а всякая муха, посмеявшая во время этого священнодействия залететь на кухню, тут же попадала в поле ее зрения и на резиновый язык хлопущки. Запах разомлевших расплзшихся ягод пьянил и впитывался в стены и мебель так глубоко, что дом был похож на конфетный, а все, что в нем находилось, – как будто было из марципанов. Никакие попытки уговорить тетю, чтобы она перестала возиться с вареньем, успехом не увенчались, она не могла отказаться от привычки, да и не хотела, ведь ее возлюбленный обожал сладости, и она с ностальгией вспоминала, как не единожды кормила его из ложечки, а он облизывался и капельки красного или желтого варенья блестели у него на языке и на губах, потом она и сама уже лакомилась теми капельками; эти воспоминания всякий раз, когда она хлопотала возле варенья, всплывали в ее памяти и сохранялись, пока шел этот процесс, а затем постепенно утихали и развеивались до следующего августа.

В один из таких летних дней, когда от жары было нечем дышать и воздух, казалось, слегка шевелился поверх деревьев, тетя Люция, разомлев у плиты, присела в кресло и задремала, забыв выключить газ под медным тазом с горячим вареньем; огонь продолжал весело облизывать металл, ягоды пенились, булькали, пузырились и поднимались, а добравшись до краев таза, сбежали на плиту и загасили огонь, но газ продолжал вытекать и наполнять своим кислым запахом кухню, тетя Люция улыбнулась сквозь сон и, протянув кому-то навстречу руки, прошептала: «Наконец-то... ты вернулся...»

Вечером наведаясь Ярош, и дом уже не пах марципанами, он тут же распахнул все окна и двери, выключил газ и вызвал «скорую». Но было поздно, варенье, в конце концов, все-таки погубило ее.

Тетя, как и обещала, отписала свой дом племяннику, и Ярош вскоре после похорон переселился на Кривчицы. Дом был окружен старым еще плодоносящим садом, вдоль заборов выстроились вихрастые кусты колючего крыжовника, красной, желтой и черной смородины, по металлическим каркасам змеился белый и черный виноград, под окнами раскинулись цветники, на которых гордо несли стражу подсолнухи, мальвы и георгины. На первом этаже было две просторных комнаты и кухня, а на втором – большая мансарда с широкими окнами, там он и обустроил свой кабинет. Дом был завален теткиными вещами, кучей всякого барахла, которое для нее, видимо, представляло немалую ценность. В частности, он с удивлением обнаружил бережно упакованную в холщовый мешок полную

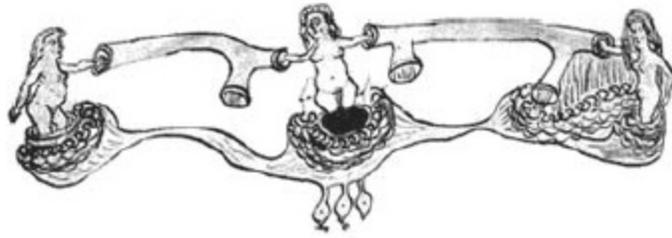
униформу польского полицейского и, развернув мундир, увидел дыру от пули и следы засохшей крови. Что бы это значило? В полицию украинцев не брали – значит, ее жених был поляком? Его ранили, он бежал и укрылся у Люции? Видимо, тут переоделся в гражданское... Что с ним случилось потом?

Несколько дней он был занят тем, что расчищал свое жизненное пространство, что-то сжигая, а что-то выбрасывая, хотя и не сразу, отдельные находки требовали к себе пристального внимания, например, ящик со старыми настенными и наручными часами, будильниками, наладкой которых занимался дедушка; все эти мертвые механизмы с бог весть каких времен вызывали у Яроша изумление, так что он лишь часть из них выбросил на помойку, а некоторые из старых часов расставил на стеллажах. Тетка, благополучно пережившая не одну войну и не одно трудное время, осталась верна себе и в мирные дни: с ее запасами круп, сахара, соли, муки, мыла, спичек, всяческих консерваций можно было не один год отсидеться. В чулане на полках красовалось множество банок: конфитюры, среди которых непременно было варенье из лепестков розы, выстраивались по мере созревания ягод и фруктов, но не были закручены металлическими крышками, а только накрыты специальной стеклянной бумагой, которую тетя, смочив водой, прикладывала к банке, после этого она твердела и создавала плотное покрытие, на самом варенье тоже лежал кружочек стеклянной бумаги, смоченной в спирте, чтобы оно не цвело; цукаты – проваренные в сахарном сиропе апельсиновые, лимонные и мандариновые корочки, а еще – райские яблочки и айва; сушеные грибы, яблоки, сливы и груши, банки с маринадами – грибами, сливками, корнионами, пикулями. На каждой банке заботливо указана дата и название продукции. А в темных бутылках краснели и желтели ягодные соки, закупоренные и залитые воском. В подвале до сих пор хранились уголь и дрова, хотя в дом давным-давно был подведен газ, но у тети были свои взгляды на жизнь. Ярош несколько не удивился, когда под самым потолком подвала нашел несколько кусков копченой ветчины, покоящихся в чулках, когда извлек их и попробовал на вкус, убедился, что ничего с ними не случилось, только и того, что немного усохли, но порезанные на тоненькие ломтики, прекрасно подходили для бутербродов. Стены погреба были увешаны связками чеснока, лука, красного жгучего перца, сушеного укропа и тмина, мешочками с орехами, на полках в соломе вылеживались яблоки и груши, посередине подвала стоял большой фанерный ящик с песком, а в нем – морковь, петрушка, сельдерей и свекла. Все это и ему может пригодиться, кроме варенья, потому что его было слишком много, Ярош из него делал вино, добавляя вместо сахара к винограду.

Еще одна громоздкая вещь, которая осталась после тети, – старое австрийское пианино, выглядело оно импозантно и служило Ярошу сейфом, в котором он держал деньги и документы. Сверху на пианино лежал маленький альбомчик, который обычно в старых семьях называли «штамбухом», сюда гости дома вписывали на память поздравления, пожелания, стихи и даже что-то рисовали, каждая юная барышня могла похвалиться таким альбомом, а порой и не одним. Ярош перелистнул несколько страниц, среди всевозможных узоров – преимущественно бабочек, птичек, цветочков и вьющихся стеблей – красовались выведенные каллиграфическим почерком стихи или замысловатые сентенции типа: «Кто тебя любит больше меня, пусть подпишется ниже меня!» Две последние записи были подписаны именем «Ясь»:

Na górze róże, na dole fołki,
My się kochamy, jak dwa aniołki.

Ile razy jedząc zrazy, trafisz na cebulę,
Tyle razy bez urazy wspomnij o mnie czule^[1].



«Воробышек, – щебечет мама, – ты уже проснулся? Ну-ка, беги скоренько амкать, а то кашка остынет», – это нежное мамочкино щебетание сопровождает меня всю жизнь, и даже теперь, когда ее нет рядом, я слышу это щебетание, эти нежные переливы звуков, эти ласковые, обволакивающие словечки, с которыми я просыпался каждое утро, а потом садился за стол, где уже ждала манная каша с изюмом и орешками, набирал полную ложку жидкого майского меда и тоненькой струйкой выливал на поверхность каши, вырисовывая причудливые картины, в которых угадывались замки и горы, леса и луга, реки и непролазные болота. И все это лишь для того, чтобы не спеша, ложка за ложкой, разрушать эту сказочную страну, всякий раз представляя, что именно исчезает во рту – гора, лес, река, замок... Но прежде чем разбудить меня ласковыми словами, мама растапливала печь, и я сквозь сон слышал, как потрескивают дрова, как шуршит совок в ведре с углем, легонько позвякивают крышками кастрюли на кухне, а зимой, когда осторожно приотворялась дверь моей комнаты, бряцала печная дверца, шуршала бумага или солома, чиркали спички, пламя весело охватывало поленья, и этот тихий умиротворяющий гул печи снова погружал меня в сон, мне вдруг становилось еще уютнее, чем прежде, казалось, что это уже не печь, а моя мама разливает тепло по комнате и блаженно мурлычет... но долго после этого дремать не приходилось, потому что уже стучала в дверь молочница и вместе со свежими новостями разливала в банки свежее молоко, а еще через несколько минут доносился аромат кофе, запариваемого в белой фарфоровой машинке, с добавкой цикория «Франко», и тогда сон расплескивался, растворялся и улетучивался...

Я знал своего папу больше по фотографиям, потому что папа мой, Александр Барбарыка, погиб 22 ноября 1921 года, когда мне было четыре года, в памяти еще сохранилось смутное воспоминание, как кто-то большой в длинной шинели и в мохнатой шапке со шлыком берет меня на руки, а я плачу от испуга и тянусь к маме, вот и все. Пройдя через множество боев, повоював в Сечевых стрельцах, в армии УНР, под Крутами и Мотовиловкой, в конце концов сложил-таки свою буйную голову под Базаром в числе 360 непокорных воинов, которых расстреляли бойцы Котовского, перед тем варварски зарубив саблями всех раненых, лежавших на телегах. Всю жизнь мне не хватало отца, с каждым годом все больше, и я стал маменькиным сыночком, любимым цветочком, золотцем-воробышком, солнышком и лягушонком, хомячком и улиточкой... Но не один я не мог смириться с гибелью отца, ведь там, под Базаром, погибли отцы и трех моих друзей – Йоськи, Вольфа и Яськи:

Леопольд Милькер, жид, родившийся в 1901 году в Галичине, сын учителя, учился в Вене, фармацевт, во время похода заведовал аптекой лазарета;

Бронислав Билевич, поляк, родившийся в 1895 году в селе Гвозди Новоград-Волынского уезда Волынской губернии, крестьянин, в армии УНР с 1919 года;

Эрнест Егер, немец, родившийся в 1890 году в Праге, окончил политехнический институт и старшинскую школу в Вене, поручик, в армии УНР с 1920 года.

Все они полегли за Украину, но чем была для них Украина? На это никто ответа не знал. Базар – для каждого из нас остался чем-то легендарным, бойцы, выступившие в тот трагический поход, выросли в нашем воображении до величия аргонавтов, которые отправились за золотым руном, ведь они тоже отправились за золотым руном свободы, но все до единого полегли за Украину. Перед расстрелом большевистский комиссар предложил 360 обреченным: «Если кто-то из осужденных заявит о своем раскаянии и присягнет, что вступит в ряды красных для борьбы с украинскими бандами, тот будет помилован!» Но в ответ на этот призыв вперед вышел подполковник Митрофан Кузьменко и крикнул крестьянам, которых большевики согнали на место экзекуции: «Народ украинский! Услышь голоса верных сынов! Когда-нибудь ты отплатишь за нас! Да здравствует...» – вражеская пуля оборвала его на полуслове и свалила в могилу. Несколько голосов затянуло «Ще не вмерла Україна», их подхватил целый хор, пели все – украинцы, поляки, два десятка русских, жида Яков Крутокоп, Иосиф Ендрик, Захар Атнабунт, немец Иосиф Кранц, белорус Михаил Малевич и даже китаец Мон За Лит. Пели и наши отцы, мужественно подставив грудь под рой пулеметных пуль, а потом их – и мертвых, и еще живых – забросали землей, и крестьяне еще долго после этого вспоминали, как шевелилась земля.

Трагедия под Базаром была описана во многих галицких журналах, она вошла в школьные буквари, где расстрел непокоренных казаков был к тому же проиллюстрирован, и мы помнили уже до деталей, что и как тогда происходило, и рассматривали картинку, угадывая, где чей отец, и даже впоследствии, когда мы узнали, что художник все это нарисовал по своему воображению и просто не мог знать, как выглядели герои на самом деле, все равно каждый из нас уже успел выбрать «своего» отца, хоть чуточку похожего на туманные детские воспоминания и на те фотографии, которые сохранились у нас, но мы не могли смириться с тем, что отцы наши не прибегли к уловке, чтобы спасти свою жизнь, не согласились перейти на сторону красных, но только понарошку, на время, чтобы при первой возможности бежать и присоединиться к повстанцам Холодного Яра и мстить за поражение, а потом с лаврами вернуться домой, ведь границы тогда еще не охранялись так неусыпно. Каждый из нас ставил себя на место отца и пытался представить себе и побег, и отмщение, и возвращение, а пуще всего наше воображение будоражила та интересная деталь, о которой мы тоже узнали из журналов: ночью один из раненых бойцов выбрался из могилы, дополз до крестьянских изб, там его подлечили, а потом помогли перейти польскую границу. Кто был тем казаком 4-й Киевской дивизии, которому удалось выжить и спастись? А вдруг это кто-то из наших отцов?

А еще я не раз задавал себе вопрос: если мой папа погиб за Украину, то за что полегли родители Яся, Вольфа и Йоськи? Да и сами они этого не знали, и это нас мучило больше всего.

Наши матери – Влодзя Барбарыка, Голда Милькер, Ядзя Билевич и Рита Егер – познакомились в десятую годовщину Базара, встретившись у символической могилы на Яновском кладбище, а так как все четыре были львовянками, то быстро подружились и стали все чаще собираться на радость нам, ребятишкам, потому что было у нас теперь целых три Рождества и три Пасхи – католическая, греко-католическая и иудейская – и мы охотно ходили друг к другу в гости, лакомясь то красным казацким борщом, в котором плавали варенички с грибами, а на поверхности золотился поджаренный лучок, то фаршированной

рыбой, которую Голда украшала тертым хреном и причудливыми фигурками, вырезанными из вареной свеклы и моркови, то пирогами с квашеной капустой, то кислыми голубцами с тертой картошкой, то колбасками по-баварски, то фантастическими перекладенцами, плясками, струдлями и прецлями^[2], запах которых до краев заполнял квартиру и щекотал ноздри.

В школу мы тоже в одну ходили, и хотя и не были сверстниками, всегда держались вместе, так что ни один батыр^[3] не был нам страшен, да и жили мы неподалеку друг от друга. Я с мамой и Йоська с пани Голдой на Клепарове, Ясь с пани Ядзей на Браеровской, этажом ниже квартиры доктора Лема, а Вольф с пани Ритой на Городецкой. Собирались мы всегда у собора Святой Анны, а оттуда уже шли себе, куда в голову взбредет.

Йоська среди нас четверых был самым маленьким, и по возрасту, и по росту, а еще он был худой, в очках и со скрипкой, можете себе представить это зрелище, когда он тащится с этой скрипкой, которая чуть ли не больше его самого, поэтому мы его опекали, ведь каждый норовил обидеть такого коротышку, я бы и сам был не прочь, если б он не был моим другом, а то завидел бы я его где-нибудь на улице, рука так и потянулась бы сорвать с него фуражку и забросить на ветку, но это был наш друг, и притом такой, что еще поискать надо. Когда мы начали покуривать, не кто иной, как Йоська приносил папиросы, он их крал у своего учителя музыки, хотя сам и не курил, был очень послушным ребенком, недаром пани Голда говорила: «Мой Иосиф! Это ж золотой ребенок! Жаль, что его папочка не сможет этому порадоваться». Папочка Йоськи был аптекарем и отвечал в армии Украинской Народной Республики за лекарства, поэтому Голду соседи называли «пани докторша», и она этим очень гордилась, а когда мы хотели к ней подлизаться, то тоже говорили «пани докторша», и она нас не бранила за наши проделки, а выносила лакомый луковый пляцек или соленые пальчики с тмином, даже после того, как мы залезли в ее лоханку, полную чистых простыней, которые она только что сняла с веревок, и делали вид, что плывем на пиратском корабле, так что простыни снова пришлось стирать.

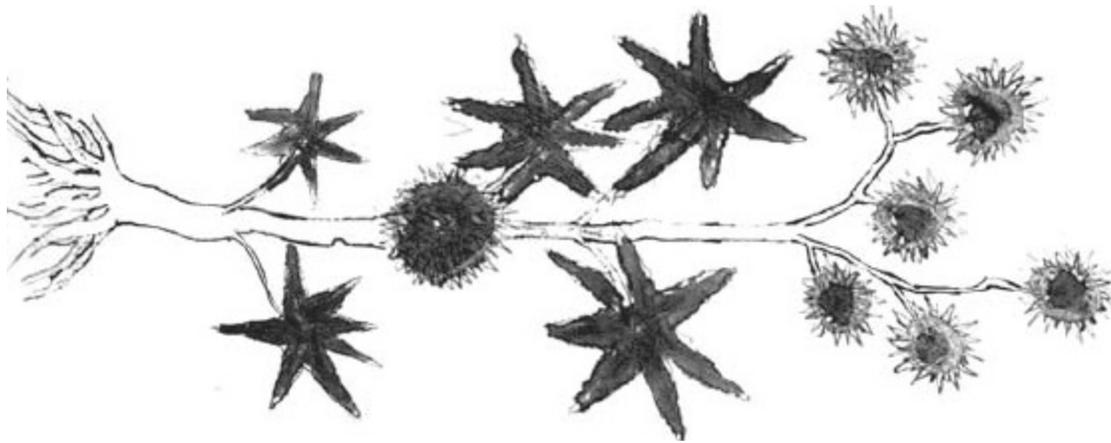
Вольф был верзилой, старше меня на два года, мало того, что высокий, так еще и толстый, с такими щеками-пампушками, что ушей не было видно, румянец играл на них, как на яблочках, к тому же и сильный он был. Но ему даже не надо было силу свою демонстрировать, стоило ему, завидев, что затевается драка, подойти и так легонько, так подоброму посопеть, прищулив глаза, как сразу все утихомиривались и тихонько сматывались. Его даже старшие ребята побаивались, при этом в душе он был добряк, да такой, что хоть к ране прикладывай, бывало, подберет воробья, которого озорники из рогатки подстрелили, дует на него, гладит, еще и домой принесет и выхаживает, мы не раз над ним подшучивали, интересуясь, не рыдает ли он, когда бульон из цыпленка уплетает, ведь цыпленок этот ничем не хуже воробья, в ответ Вольф смеялся и гладил себя по животу, приговаривая, что все они здесь, все те цыплята, которых он съел, – все здесь, в животе, им там уютно, тепло и радостно, а если кто не верит, может приложить ухо к его животу и послушать, как они счастливо квохчут, и мы прикладывали уши и впрямь слышали какое-то квохганье, похожее на цыплячье, а Вольф смеялся, и живот его подрагивал. Вольф был мастером на все руки, умел и парусник смастерить, и самолетик моторный, а зимой вертепы делал, да такие, что волхвы и Исусик в них были как живые, а ослик, вол и лошадка кивали головами, а когда Вольф дергал за ниточку, маленький Исусик махал ручками и ножками и кричал плаксиво «Вэ-э-э!», пани Рита говорила, что грех так над Исусиком издеваться, а мы этого не могли понять, какое же здесь издевательство, ведь это младенец, не может он пока что Слово

Божие проповедовать, поэтому и говорит: «Вэ-э-э!» Мы с теми вертепами ходили колядовать и в Замарстынов, и в Лычаков, и везде имели бешеный успех. Даже Йоська с нами ходил и хотя и не колядовал, но подыгрывал на скрипке. Колядовали мы на трех языках и даже ездили в Винники, где была немецкая колония, и колядовали для немцев, а те не могли нарадоваться, потому что там остались в основном пожилые люди, а молодые выехали в фатерлянд, и некому было им на родном языке поколядовать, пока мы не появились. Эх, то-то мы там животы набивали! Еще и с собой нам давали.

А Ясь был худой, как жердь, с длинными ногами, длинными руками и лазил по деревьям, как обезьяна, и не было такого ручья, который бы он не мог перепрыгнуть, поэтому мы и не удивлялись, когда он хвастался, что даже Полтву перепрыгнул, хотя мы этого дива дивного и не видели. Каждый мечтал быть таким, как Ясь. Бывало, мать закрывала его в доме, чтобы не гасал, а уроки учил, так он через форточку вылезал. Мы с Яськой увлекались приключенческими книгами и сначала хотели быть пиратами, потом индейцами и ковбоями, в конце концов мы уже окончательно превратились в казака и гусара и дрались на саблях, как Богун со Скшетуским^[4]. Сабли у нас были деревянные, но порой все же не обходилось без царапин. А еще мы рисовали карты, на которых помечали закопанные клады, прятали эти карты в жестяные коробочки и подбрасывали кому-нибудь в погреб, а вдруг кто-то найдет и, догадавшись, что это на карте клад, отправится на поиски. Это была лишь детская забава, но нам и на самом деле ужасно хотелось найти какой-нибудь клад.

Что касается меня, то я ничем не выделялся, не был ни высоким, ни коротышкой, не толстым и не худым, от отца я унаследовал продолговатое лицо, украшенное орлиным острым носом, и синие глаза, в которых утопали девчонки. Нам нравилось гулять по всяким закоулкам, маленьким улочкам, где домишки были окутаны дремотой и диким виноградом, а подоконники расцветали маттиолами, настурциями и ленивыми котами, греющимися на солнышке, ловить запахи, доносившиеся из окон кухонь, и угадывать, что там сегодня будет на обед, но мы не любили ни цирк, ни зоопарк, пусть он хоть из самой Варшавы приехал, однажды мы пошли туда и увидели в клетке орла, который сидел нахохлившись и насупившись на сухой веточке, глаза его были такие грустные, что он казался безжизненным, хотя и был еще живым, но смысла жизни уже не видел, тлел, как уголек, и весь он был такой, будто его обмызгали белой известью, весь рябой, но это была не известь, это воробьи садились сверху на клетку, у которой не было крыши, только прутья, и гадили на него, весело чирикавая и встряхивая крылышками, видно, это занятие доставляло им немалое удовольствие, орел, смирившись со своей участью, только моргал своими печальными глазами и время от времени переступал с лапки на лапку. Глядя на него, мы едва сдерживали слезы, только мы не заплакались, а ночью пробрались в зверинец и тихонечко распахнули клетку настезь, но орел оставался недвижим, тогда Ясь взял палку и пырнул его, орел встрепенулся и посмотрел на нас, а Ясь продолжал пырять, орел отступал на край ветки, пока не спрыгнул вниз, но клетку не покидал. Может, у него подрезаны крылья, сказал Йоська, а я ответил, что тогда мы заберем его с собой. Но в конце концов Ясь выгнал-таки орла из клетки, тот соскочил на землю, огляделся, захлопал крыльями, будто стряхивая с себя все это воробьиное говнецо, и взмыл в небо. На следующий день об этой новости сообщали все газеты, и дирекция зверинца вынуждена была нанять охрану посерьезнее, взамен того старичка, который дремал в будке при входе.

Когда я это пишу, за окнами весна, в воздухе чувствуется что-то тревожное, и мне хочется, чтобы эта весна не заканчивалась никогда...



В 1988-м, когда Львов забурлил митингами и начали создаваться всякие культурные объединения, Ярош вдруг ощутил в себе дух бунтарства и с головой ринулся в политику, но накануне первых демократических выборов в парламент он заметил странную и непредвиденную вещь – подавляющее большинство кандидатов в депутаты всех уровней были людьми недалекими, малообразованными, а порой и близкими к всемогущему КГБ, который всюду и везде должен был иметь свои кадры. Насадил он их и в среде демократов. Вокруг выдающегося руководителя движения за независимость Украины закопошились темные существа из потустороннего мира, редкие уроды, засланные чекистами, которым оставалось только своевременно дергать за ниточки, тянувшиеся ко всем отраслям освободительного движения. Наверх выбились всякие чурбаны, которые в повседневной жизни двух слов связать не могли, зато, дорвавшись до трибуны, сыпали лозунги на головы изголодавшимся по свободе массам. Все эти недоучки, приматы и тайные агенты очень быстро оттеснили таких, как Ярош, оставив им лишь задворки культуры, с той поры так и не поднявшейся над своим нищенским состоянием, и когда Ярош увидел, кто именно стал править бал на этом маскараде новой жизни, он оставил политику и снова сосредоточился на науке.

Два года, которые он потратил на революционную борьбу, составление агиток, речей, публицистики, все же не прошли напрасно – имя его стало известным. Ему предложили место преподавателя на кафедре востоковедения, через год он защитил кандидатскую диссертацию, а еще через пять лет – докторскую, студенты валом валили на его увлекательные лекции. Sensацией в научном мире стали его учебник и словарь арканумского языка, изданные в Лондоне. Наконец-то было раскрыто немало тайн арканумского языка, клинопись расшифрована полностью, мир получил возможность познакомиться с неведомой доселе историей и литературой в гораздо более полном объеме. А потом случилась еще одна сенсация, выяснилось, что таинственную рукопись Войнича XV века, над которой билась целая армия ученых, наконец-то можно прочесть именно благодаря арканумскому языку.

Ярош несколько раз ездил на международные научные конференции, но очень скоро понял, что так можно всю жизнь проворонить в поездках и встречах, не успев завершить задуманное, и стал ограничиваться отправкой статей. Время от времени он позволял себе какой-то легкий романчик, исключительно чтобы избавиться от накопившейся спермы, но никогда не подпускал к себе никого ближе, выстроив между собой и остальным миром невидимую стену. Как только чувствовал, что партнерша по постели начинает проявлять к

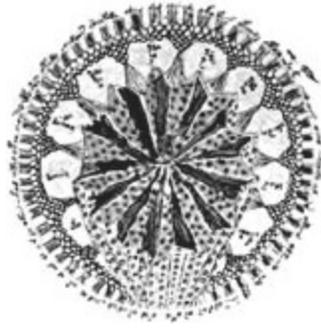
нему более глубокий интерес и ворковать что-то о своих чувствах, он или сам исчезал, или доводил их отношения до такого абсурда, что бросали его, главным при этом было ничего не объяснять, не разжевывать, не видеть слез и не слышать упреков. Студентки частенько пытались с ним флиртовать, и Ярош, хотя и не мог не любоваться юными прелестями, все же изо всех сил сдерживал свою страсть, боясь потока чувств, который охватив его, отберет драгоценное время, посвященное науке. Однако дважды вляпался-таки в историю. В первый раз – когда девушка, которую он бросил, попыталась покончить жизнь самоубийством. Сначала Руся написала пространное стихотворение, в котором рассказала о своих чувствах и о том, какой он толстокожий, и положила его на столе в кухне. Затем предусмотрительно расстелила мокрые полотенца под двери, включила газ на всех четырех конфорках и в духовке, села на пол, распечатала бутылку грузинского вина и принялась его пить. Алкоголь и газ проникали в нее медленно, да она и не торопилась, зная, что вот-вот вернется с работы ее мама, которая была врачом и уже не одну заблудшую душеньку спасла. Так вышло и на этот раз, Русю, одурманенную не столько газом, сколько вином, забрали в психбольницу, туда, оказывается, забирают всех неудавшихся самоубийц, а поскольку в ее истории болезни было записано, что совершила она это из-за несчастной любви, то только Ярош и мог ее вызволить из сумасшедшего дома, взяв на поруки. У Яроша не было ни малейшего желания ехать туда, да и вообще он не понимал, почему именно он должен это делать, их уже ничто не связывало, на какие поруки он ее может взять – жениться, что ли? Он вчитывался в ее прощальное стихотворение, которое передала мать Руси, и понимал, что все это показное, игра, да и только. Она пыталась его вернуть, хотя он не давал ей никаких надежд, между ними была чистой воды физиология, Ярошу было удобно забегать к ней в перерыве между лекциями, потому что Руся жила неподалеку от университета, зато он привлек ее к работе над журналом, который издавал, она могла, сидя дома, зарабатывать приличные деньги, часть этих денег были его собственные, он давал их ей в качестве гонораров. Что еще он мог для нее сделать?

Посещение исторического заведения, которое называлось Кульпарков и не имело ничего общего ни с культурой, ни с парком, а было лишь исковерканным немецким названием Гольдбергергоф, произвело на него неизгладимое впечатление. Сама лечебница располагалась на живописной окраине, среди деревьев и клумб, на деревьях гнездились вороны и пронзительно каркали. С момента попытки покончить с жизнью прошло две недели, самоубийца встретила его радостной улыбкой, словно ничего и не произошло, будто она здесь не пациентка, а медсестра, улыбка ее была даже не столь радостная, сколь плотоядная, казалось, она вот-вот его проглотит, как обсосанную карамельку. Выглядела она замечательно, хоть и была в халате, но аккуратно причесана и покрашена, Руся взяла его за руку и повела наверх, в какой-то тупиковый коридорчик, где не было ни души, здесь она прижалась к нему, и они слились в длинном страстном поцелуе, во время которого ее рука скользнула ему в брюки, Ярош пытался сопротивляться, не потому, что не хотел этого, просто его пугало это место, снизу доносились голоса больных, какие-то крики, бряцание тележки, на которой развозили обед, звяканье кастрюль и мисок, запах супа, того, больничного, который всегда пахнет одинаково и который никогда невозможно приготовить дома, все это не способствовало любовному настрою, но девушка во что бы то ни стало решила для себя получить сатисфакцию, она хотела снова завладеть им, и когда она повернулась к нему задом и задрала на себя халат, бросив только три слова: «Я соскучилась. Давай», а под халатом оказалась совершенно голая, Ярош послушно выполнил ее желание,

не прошло и трех минут, как Руся застонала и задрожала, глубоко вдыхая воздух, потом ловко развернулась, присела и сделала то, что делала всегда, то, что ему больше всего нравилось в ней – готовность принять в уста в любое время и в любом месте, пусть даже в автобусе. Все это происходило на фоне небольшого окна, выходящего в парк, там прогуливались больные в пижамах, время от времени появлялись врачи или санитары, но Ярош был спокоен, он знал, что против солнца их невозможно было разглядеть, а еще он знал – то, что сейчас происходит, происходит в последний раз, больше он с ней не будет, а другую такую девушку, которая делала бы такое без лишних проволочек, где угодно и когда угодно, он уже, возможно, никогда и не встретит, и это был еще один прощальный поцелуй, который он хотел удержать как можно дольше, поэтому смотрел в окно, на деревья, на вороньи гнезда, на собачонку, которая бегала по парку, смотрел без зазрения совести, потому что девушка сама велела ему: «Не кончай!», уже не раз бывало так, что она устраивала такой марафон, раньше, чтобы он мог отвлечься и отсрочить оргазм, она вручала ему томик Марселя Пруста и заставляла читать вслух, а сама методично сосала и сосала, демонстрируя всем своим телом, всеми звуками, которые извлекала из уст, что делает это не столько для него, сколько для себя, что ей это в кайф, словно находилась под действием наркотика, а Пруст выполнял роль своеобразного фона для этой проникновенной игры на флейте. На этот раз Пруста не было, и Ярош, чтобы не кончить слишком рано, зажмурился и стал декламировать свои переводы из арканумской поэзии, декламировал их тихо, но девушка своими «угуканьями» подбадривала его, пока сил уже не стало терпеть, и он выпустил из себя все, что пытался удержать в себе, но она не оторвалась от него, не бросила, а перестав двигаться, просто держала в своих горячих устах, пока он совсем не опал и не вывалился из губ. Ярош был словно в каком-то опьянении, мир полетел вверх тормашками, в голове гудело, хотелось сесть, да некуда было, Руся, уставшая, оперлась спиной на стену и наблюдала за ним с триумфом, словно одолела его в нелегком гладиаторском бою, при этом влажные губы ее двигались так, будто сосали конфетку, заглатывая слюну, губы ее продолжали шевелиться, смакуя и сглатывая, а потом вынырнул проказливый язычок и облизал их, медленно и соблазнительно, будто провоцируя на продолжение, но продолжения так сразу быть не могло, и она это понимала, поэтому протянула руку и повела его вниз. В фойе слонялись больные, из тех, что были «легкими», они могли свободно перемещаться, выходить в парк и смотреть телевизор. Ярошу еще предстояло встретиться с главврачом и подписать некое обязательство, что он берет на себя опеку над Русью, и, когда он шел в кабинет главврача, его перехватила какая-то красивая девушка с роскошными светлыми волосами, халат у нее распахнулся, обнажая полные груди, в глазах горел таинственный огонь, она заговорила быстро-быстро: «Вы должны мне помочь. Они тут издеваются надо мной – колют какие-то запрещенные препараты. Напишите об этом. Мы все здесь, как подопытные морские свинки». Она говорила это и все теснее прижималась к Ярошу, руки ее были в карманах халата, и она ими развела полы, но что за неожиданность поджидала его там, Ярош не успел заметить, потому что подросла Руся и оттащила девушку в сторону.

Главврач долго выпрашивала Яроша, в каких он отношениях с «больной», чувствует ли свою вину, будет ли присматривать за ней, чтобы не допустить рецидивов, Ярош со всем соглашался, чтобы поскорее от всего этого отделаться, потом подписал какие-то бумаги, и только тогда его отпустили. На следующий день Руся позвонила и радостно сообщила, что она уже дома и он сможет ее навестить, добавив: «Ты же знаешь, что тебя ждет? Я жаждущая и страждущая. Если не насытишь меня, я умру». Ярош не пришел, но она не переставала

звонить, он чувствовал, как во время каждого разговора с ней его член встает торчком, и он едва сдерживается, чтобы не сорваться и не помчаться к Русе, к тому же она разговаривала с ним не так, как обычно, а таким соблазняющим, томным тоном, будто потягиваясь в постели, да еще и живописно описывая при этом, где лежит ее левая рука и что делает средний пальчик. Но Ярош понимал, что если еще хоть раз он поддастся этому искушению, то не вырвется так просто, Руся была девушкой экзальтированной, часто устраивала истерики, дважды отвешивала ему пощечины, а однажды даже пыталась облить кипятком, Ярош едва успел увернуться. Хотя после этого обливания все, как и обычно, закончилось страстными объятиями прямо на полу, но так дальше продолжаться не могло, и он гнал прочь любые мысли о ней. Тогда пошли другие звонки с угрозами поджечь дом, облить его кислотой, прийти в деканат и рассказать всю правду о нем, обвинив в сексуальных извращениях, устроить громкий скандал на весь университет: «Я стану перед входом в универ с плакатом, где будет написано, что ты опасный извращенец и сексуальный маньяк». Ярош был уверен, что она способна на это и, приближаясь к университету, в страхе оглядывался по сторонам, не стоит ли где разъяренная фурия с плакатом. Но обошлось. Угрозы зависли в воздухе, так никогда и не воплотившись в жизнь. А скоро Руся нашла себе другую жертву, правда, снова среди преподавателей университета, и осталась, таким образом, в поле зрения Яроша.



Развлечений нам в детстве хватало, любое безобидное утро могло начаться с сенсационной новости. Помню, завтракаем мы с мамой как-то раз, я – манную кашу с изюмом и медом, а мама – яичницу с грудинкой. И вдруг:

– Пани Лесёва! Пани Лесёва! – раздался голос сторожихи, которая придерживалась старой львовской традиции называть женщин по имени их мужа, пусть и покойного, а моего отца Александра называли Лесем, так и вышла из моей мамы пани Лесёва. – Бегите скорее к Шпрехеру^[5], – аж запыхалась сторожиха, – там только что какая-то хулера спрыгнула с крыши на мостовую.

– Ой! – воскликнула мама и стала торопливо накладывать грудинку на хлеб, чтобы получилась канапка, а это означало, что через миг она будет готова пулей вылететь из дома. – И шо с ней?

– Да шо-шо! Пляцек картофельный, да еще и со шкварками! – Голова сторожихи просунулась в наше окно, за каждым словом заглатывая воздух, как рыба, которую вытащили из лоханки. – Я прямо оттуда, специально прибежала, чтобы вам рассказать, и бегу назад. Это та грудинка, шо вы ее перед Пасхой коптили?

– Та, та, вы уже ее смаковали. Я же вам дала вот такой кусок – на пол-локтя, так ведь?

– Так уж и на пол-локтя?

Но мама уже ее не слушала, а живо надевала платье и искала башмаки, в завершение матушка нацепила на голову парик, с которым она, выходя на люди, никогда не расставалась. Парик этот был такой высокий, что мама, находясь в доме, постоянно должна была следить, чтобы не задеть им косяк. Как-то раз я сказал: «Мамочка, ну зачем вам такой высокий парик, он же похож на гнездо аиста», на что мама ответила так: «Закрой свой рот и не болтай зря, при моем куцем росте я должна или башмаки на высоких каблуках носить, или высокий парик. Я выбрала второе». А потом мы бежали по Клепарову, и мама кричала куда-то ввысь:

– Голда! Голда! Голда!

Из окна на противоположном балконе высовывалась голова пани Голды в папильотках:

– Шо стряслось?

– Айда к Шпрехеру, там только шо какая-то хулера спрыгнула с крыши на мостовую.

– О-йо-йой! Уже бегу!

Уже через миг пани Голда, держа за руку Йоську, мчится вместе с нами, ее голова все еще в папильотках, и вся она расхристанная, даже тапочки на ногах разные – одна красная, а другая белая. Пробегая по Городецкой, мама вопила:

– Рита! Рита! Рита!

А Голда на Браеровской:

– Ядзя! Ядзя! Ядзя!

А когда из окон высовывались растрепанные головы Ядзи и Риты, мама и Голда сообщали им фантастическую новость о происшествии под Шпрехером, и спустя минуту мы уже слышали топот их ног, и не только Ядзи и Риты, но и Яськи и Вольфа, а то как же без них, тако-о-е событие: прыжок с небоскреба Шпрехера без спадохрона^[6]!

Не так давно там уже состоялось фантастическое зрелище, когда во Львов прибыл Человек-муха. Это было в 1929 году, все газеты писали о знаменитом акробате-канатоходце, который должен был на велосипеде проехать по крышам домов от отеля «Жорж» до площади Академической, а просветы между зданиями собирался пройти по канатам. Людей сбежалось – тьма-тьмущая, и вот, когда акробат прошел по канату между двумя угловыми домами в начале Хорунщины^[7], а потом под бурные аплодисменты зрителей спрыгнул на крышу здания, в партере которого располагались знаменитые комнаты для завтрака^[8] пани Теличковой, поскользнулся и упал на мостовую, разбившись на смерть. Крыша оказалась мокрой после дождя. Но Львов не был бы Львовом, если бы вслед за этим не появилась уличная баллада:

Приехал во Львов акробат-муха,
Влез на Теличкову и испустил дух.

У Шпрехера собралось столько зевак – не протолпишься, но мама живо растолкала толпу локтями, волоча меня за собой и грозно цедея сквозь зубы: «Служба медицинская! Служба медицинская! Служба медицинская!», а Голда, Ядзя и Рита вместе со своими птенчиками не отставали от нее ни на шаг, повторяя те же волшебные слова, и уже скоро нам было видно все как на ладони.

– Слишком поздно, – сказала мама, вынимая канапку из сумки, и была права, потому что тело уже успели накрыть простыней, из-под которой растекалось несколько тоненьких ручейков крови.

– Но когда труп будут забирать, может, снимут простыню? – с надеждой в голосе произнесла пани Ядзя.

– Никогда не снимают, – заметила моя мама тоном бывалого свидетеля множества самоубийств. – Они думают, что таким образом берегут наши нервы. Но мне на самом деле было бы куда спокойнее, если бы я хорошенько все рассмотрела.

– Ой, не говорите, – сказала Голда. – У меня просто онемело все.

– Жаль, что у нас нет такого моста, как в Нью-Йорке, – сказала Рита, – там бросаются в воду почти каждый день.

– Бедная Полтва, – вздохнула мама, – если бы ее не замуровали, было б и у нас на шо посмотреть.

Полицейские следили за порядком и ждали, пока приедут санитары из морга. Какой-то мужчина со шляпой в руке и с глубокомысленной миной задирает голову вверх, словно пытался измерить высоту здания, и не успокоился до тех пор, пока какой-то шалопутный воробей не украсил его лысину игривой блямбочкой. Мужчина выругался, достал платок и принялся отчищать лысину.

– Интересно, мужчина это или женщина, – поинтересовалась мама у какой-то торговки, стоявшей рядом.

– Девушка, – ответила та и утерла уголком цветастого платка сухой глаз. – Такая молодая... Говорят, из-за несчастной любви.

– Иди ты! Еще и такое бывает?

– Бывает, бывает. Заделал ей ребенка, а сам в армию умотал.

– Я б ему задала армию! – покачала головой матушка. – Ох, я бы ему задала! Я бы поехала в штаб, к самому военному министру, до Пилсудского б дошла, но так бы этого не оставила. Шо нет, то нет.

– У нас это невозможно, – сказала Голда, – у нас бы от такого все отреклись.

Между тем появились санитары с носилками, толпа разом напряглась и двинулась вперед, полицейские растопырили руки и стали кричать, что никто не смеет приближаться, но все ждали, что санитары снимут простыню. Увы, напрасно, ибо тело занесли в машину вместе с простыней, и толпа разочарованно и тяжело вздохнула.

А в другой раз мы с мамой сами стали очевидцами самоубийства. Это было на Коперника. Мы обратили внимание на какого-то странного человека, который несколько раз быстро выскакивал на балкон, бросал взгляд вниз, исчезал, выглядывал и снова выскакивал.

– Ой, шо-то тут сейчас будет, – сказала мама.

И действительно через минуту этот человек появился с мотком веревки. Один конец привязал к балюстраде, а потом, насвистывая, мастерски соорудил из веревки петлю.

– Он будет вешаться? – спросил я.

– Похоже. Но это не слишком приятное зрелище.

– Почему?

– Потому что мышцы расслабляются и все, что в животе, вываливается из него с жуткой вонью.

Движения мужчины были дергаными, но при этом он имел такой радостный вид, будто выиграл в лотерею двести злотых.

– Я бы на его месте так не радовалась, – сказала мама.

– А почему?

Да потому, шо этот балкон на ладан дышит. Я эту квартиру хорошо знаю – там когда-то жил пан фризиер^[9] Помпка. Однажды у него на балконе вся балюстрада обвалилась. Так он, шобы выгодно продать квартиру, кое-как подрихтовал балкон, а балюстраду ему сделали из гипса. Там нет ни одного металлического прута.

– Ой, так надо ж этого пана предупредить, – искренне заволновался я.

– Ну, попробуй. Хотя я таким типчикам не доверяю. Ему поможешь советом, а он тебя после этого жабой пучеглазой обзовет.

– Прошу прощения! – крикнул я, приложив ладони к губам. – Подождите минутку, не торопитесь. Эта балюстрада из гипса, она вас не выдержит.

– Шо? Не суй свой нос в чужой вопрос. Ты – пацан!

– Мой сын правду говорит, – вмешалась мама. – Пан цирюльник Помпка смухлевал и сделал новую балюстраду из обычного гипса. Но если вы привяжете шнурок к тому вот железному фонарю над вашей головой, то будет гораздо надежнее.

– Заткнись, ты, жаба пучеглазая! – гаркнул мужчина раздраженно.

– Ну шо я говорила? – вздохнула мама и с искренней грустью стала наблюдать за тем, как тот накинул петлю на шею, повертел туда-сюда головой, словно прилаживая ее к шее удобнее, и прыгнул вниз. Лететь ему пришлось чуть дольше, чем он рассчитывал, потому что гипс таки не выдержал и треснул, балюстрада рухнула, а мужчина плюхнулся на мостовую и

сломал себе обе ноги.

– Ну и шо теперь? – сокрушенно кивала головой мама. – У вас теперечки забот полон рот. Пролежите несколько месяцев в больнице, и кто знает, может, всю жизнь хромать будете. А вот послушались бы меня, так не стонали б сейчас от боли. Пойдем, сынок. Видеть не могу таких неблагодарных сукиных сынов. Он думал, шо он кому-то лучше сделает. А теперь его несчастная жена будет с ним всю жизнь мучиться вместо того, шобы похоронить красиво и снова замуж выйти.



Студентка, которая впоследствии выросла в писательницу, приехала к нему сама и сообщила, что он просто обязан помочь ей с дипломной работой, что у нее нет темы, ей ничто не нравится, она крайне нуждается в его помощи. Ярош посоветовал заняться творчеством Эммы Андиевской^[10], у него было несколько книг, которые ему подарила сама писательница, Надя тут же ухватила за эту идею, достала тетрадь и принялась записывать умные мысли пана профессора относительно будущей дипломной. На ту пору уже вечерело, Ярош предложил перекусить, у него как раз была готова запеченая курица, а так как есть мясо без вина не годится, то было выпито две бутылки шампанского и одна бутылка вина. Надя подошла к магнитофону, включила музыку и стала плавно и сомнамбулически двигаться в каком-то лишь ей известном танце, Ярош и не заметил, как оказался рядом с ней, и они продолжили двигаться уже вместе, а потом их губы встретились, и в то время как их тела прижимались друг к другу все теснее, его правая рука легла девушке на грудь, а левая – на упругую ягодицу. Закончилось все тем, что оба очутились в постели, а так как из-за опьянения Ярош долго не мог кончить, Надя исполнила то же, что и Руся, и Ярош подумал, что вот опять ему улыбнулось счастье – теряя, ты лишь приобретаешь. После этого наступил период страстной любви, который пришелся на лето, Надя неделями жила у него, пока Ярош не открыл для себя одну неприятную вещь. Случилось это, когда Руся пригласила его к себе на день рождения, он не собирался к ней, но тут уж и его коллега, новый кавалер Руси, вмешался и убедил-таки его прийти. Ярош, возможно, сделал ошибку, а может, и нет, что прихватил с собой Надю, в любом случае благодаря этому обнаружилось то, что могло обнаружиться слишком поздно, например, если бы они поженились. На вечеринке к нему приклеилась симпатичная девушка и не отставала от него ни на шаг, а тем временем Надя отплясывала с каким-то мужиком, ровесником Яроша, время от времени они выходили на балкон на перекур и болтали без умолку; когда уже начало смеркаться, Надя сказала Ярошу, что плохо себя чувствует и собирается ехать домой, а новый знакомый ее проводит, он живет неподалеку. Ярош не увидел в этом ничего плохого, но как только они исчезли, симпатичная барышня тут же от Яроша отлипла и занялась кем-то другим. Ярош заподозрил неладное, но не придавал всему этому большого значения, ему стало неинтересно, и он отправился домой. А на следующий день позвонила Руся и поведала, что все на этой вечеринке спланировала она и подружку подговорила заняться им, а своего знакомого – Надей, а еще посоветовала Ярошу

полюбопытствовать, как та провела время.

– Ну и как же? – спросил он как можно более равнодушным тоном.

– Обслужила по полной программе. Вот как! – рассмеялась довольная Руся. – Не веришь? Знаю, что не веришь. А что ты скажешь о бородавке с правой стороны животика? Такая себе немаленькая бородавка, величиной с вишню. Когда-то ее за такую штучку могли и на костре сжечь. Знак Дьявола! А заботливо выбритая роскошница? Это о чем-то тебе говорит? Гладенькая, как у девочки. Именно такая, как ты любишь.

– И где они этим занимались? На улице?

– Нет, у него дома.

Ярош положил трубку и почувствовал, как в нем закипает злость, но злился он на самого себя, так глупо он попался вчера в ловко расставленные сети. Бородавка, выбритая роскошница... Накануне Надя ночевала у него, вечером попросила электробритву, а после продемонстрировала всю ту неповторимую красу, потом они занимались любовью... Ярош уснул, прикрыв ладонью ее белое гладенькое лоно, он до сих пор чувствовал в пальцах тепло ее кожи... Но чтобы кто-то мог сделать такие открытия, не обязательно было заниматься любовью, можно было просто где-нибудь в подворотне зажать ее и потрогать под юбочкой. Но когда он позвонил Наде, трубку никто не взял, хотя она должна была быть дома. Дозвонился только в три пополудни и услышал ее тихий едва различимый сонный голос. Ну да, она спала, ей так плохо, она перепила, они с кавалером зашли по дороге в ресторан, там она и набралась.

– А что ты делала у него дома? – спросил Ярош.

Девушка молчала. Он повторил вопрос.

– Я зашла к нему, чтобы позвонить родителям, что я приду, и чтобы они не закрывали дверь на цепочку.

– Какой смысл было предупреждать родителей, находясь за квартал от дома?

– Я пьяная была. Мне надо было протрезветь.

– А говорить с ними захмелевшим голосом ты не боялась. И когда же ты пришла домой?

– Где-то около часа.

– И спала до половины третьего? Что-то я раньше не замечал за тобой такой способности – спать по четырнадцать часов.

Она молчала. Он тоже. Выждав паузу, Ярош положил трубку. Ему было больно, но время показало, что он мог бы пережить еще большее разочарование, если б их отношения продлились, потому что рассказы о ее любовных похождениях, которые впоследствии стали доходить до него, свидетельствовали о той легкости, с которой Надя относилась к своей интимной жизни, коллекционируя страсти. С тех пор прошло десять лет, она издала несколько книг, в одной из них среди героев он узнал себя, и хотя там было немало вымысла и откровенной женской язвительности, сцена, где они занимались любовью в кукурузе, тронула его, он вспомнил, как все это было, и почувствовал даже благодарность за то, что она напомнила ему те сладостные мгновения. В то же время удивляло, что она до сих пор не может его забыть, пытаясь свести счеты и расставляя в разных местах книги знаки, по которым продвинутые читатели могли бы догадаться, о ком идет речь.



Когда посреди Рынка встречаются украшенные цветочками и перышками две шляпки, это событие рядовое и повсеместное, на него ни один прохожий никогда и внимания не обратит, но вот когда собираются целых четыре таких шляпки, о-о, тогда каждый наблюдает эту сцену, разинув рот, да к тому же пытается уловить отдельные фразы, ведь глаза под этими шляпками просто сияют, а их обладательницы тараторят, не переводя духа, захлебываясь словами и впечатлениями:

– Пани Голда, как поживаете!

Гут, гут, пани Влодзя. Локоть у меня весь день болит. А вот и пани Ядзя! Пани Ядзя, что купили? Каляфйоры^[11] нынче взбесились в цене!

– Это не каляфйоры взбесились, а люди. Разве ж можно такие цены гнуть!

– Пани Рита! И вы здесь! Как хорошо, шо мы все вместе тут сошлись, правда ж?

– Я купила два телячьих хвоста, пучок укропа и петрушки.

– Укропный супчик будет?

– Я чуть было подпорченного карпа не купила. Спрашиваю торговку, он хоть живой, а она мне и говорит: «Ой, дамочка, я не знаю, жива ли я сама в такие тяжелые времена, так откуда ж я должна знать, живая та рыба или нет?» – «А может, – говорю, – она сдохла?» – «Ай, ну и где ж она сдохла? Спит». – «Спит? А я слышу от нее какой-то душок». А она: «Ай, пани, а вы когда спите, так за себя ручаетесь?»

– Да иди ты!

– Я ей по-жидовски и она мне по-жидовски, и все равно брешет прямо в глаза! А у меня так локоть болит!

– Помажьте на ночь спиртом и замотайте полотенцем. Кто бы мог подумать: кило говядины уже шестьдесят сотиков стоит, моя соседка, у которой муж почтальон, покупает на площади Теодора кило за тридцать сотиков, да такую требуху разве что ее муж жрать может.

– А кило хлеба – пятнадцать сотиков!

– А такое захудалое яйцо – три сотика!

– Пани Рита! У вас такой люксовый модный жакет.

– Ай, какой там модный. Сама из старых штор перешила. Видите, какая бахрама?

– А что собираетесь на Рынке покупать?

– Сливки. Мой малой кныдли^[12] заказал. Со сливками.

– Ой, надо бы нам на днях где-нибудь собраться. Столько новостей!

– Но только у меня!

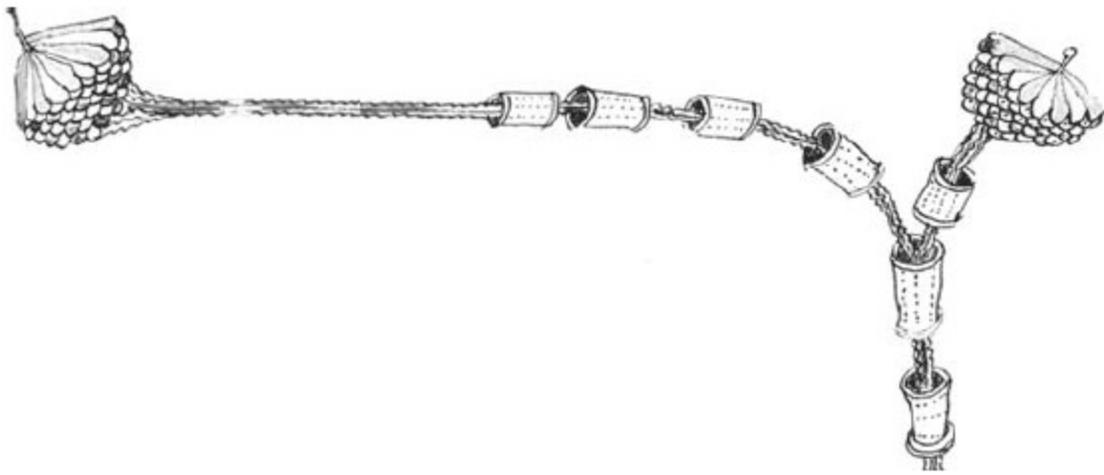
– Пани Влодзя, так мы же у вас прошлый раз собирались. Прошу теперь ко мне.

– Ой, пани Рита, зачем вам эти хлопоты.

– И слышать ничего не хочу. Я испеку струдель.

– Ну, тогда до встречи.

И вот наконец шляпки расходятся в разные стороны и исчезают среди прилавков Рынка, а там уже все бурлит, гудит, поток голосов плещется, растекается, превращаясь в разноперую какофонию, а среди всего этого выделяются голоса торговков, которые способны перекричать кого угодно и никого не боятся, в войну могли отбрить и немца, и москаля, потому что гордились чудесным даром – невероятной языкатостью, рассказывали, что как-то раз стала торговка между ветряком и водяной мельницей и принялась языком молотить, так уже и ветряк остановился, и в мельнице воды не хватило, а баба все говорила и говорила, и еще ни одна торговка от туберкулеза не померла благодаря постоянной тренировке легких, ведь недаром она выпивала утром на завтрак кварту горячего пунша для укрепления груди и чтобы голос не садился. Я всегда любовался этими уважаемыми персонами, большинство из которых пережили не одного своего мужа и мигом выходили за другого, как будто были писаными красавицами, хотя в большинстве своем это были толстушки, ковыляющие утиными шажками на слоновьих ногах, переваливаясь со стороны на сторону. Полное одутловатое лицо свекольного цвета, обветренное и опаленное солнцем, чрезвычайно живые пронизательные глаза, которые любого покупателя мигом оценят с головы до ног, пухлые руки с мясистыми колбасками пальцев, ловко прячущие деньги между двух больших шаров груди. Кого могла привлечь такая красотка? И, тем не менее, овдовевшая торговка не долго страдала от одиночества, и причина этого крылась, видимо, в ее умении самой со всем справляться, умении заработать на хлеб и себе, и своим детям. Вот я прислушиваюсь к перебранке и слышу, как торговка насмехается над какой-то дамой: «Посмотрите на нее! Тоже мне покупатель. У нее один злотый в кармане, а хочет весь базар скупить. Тоже мне, пани из Буска! В плечах широкая, внизу узкая!», а тем временем другая: «Дак госпожа хорошая, я ж тоже должна за товар платить, крутиться, векселя подписывать, тянуть, обещать: завтра, завтра, но ведь рано или поздно я должна буду заплатить, так же? А налоги? Кто за меня их заплатит? Да я ж бедная жидовка, имею больного мужа и сплошные цуресы. Я шо, сама те яйца несу или сыр сама делаю? Я б и не прочь, да ведь не так это».



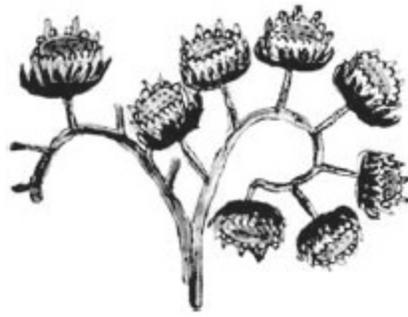
Тем временем его сын Марко вырос и поступил в университет, теперь они виделись чаще, хотя обычно сын забегал на кафедру, чтобы «одолжить» пару гривен, и тут же исчезал. Но такие отношения устраивали обоих.

Окунувшись с головой в изучение и переводы арканумских текстов, Ярош обнаружил, что Арканум имел свою «Книгу Смерти», отличную от египетской и тибетской. Правда, она сохранилась не так хорошо, имела изрядные лакуны, но отдельные песни из этой «Книги» поражали своим совершенством. Древние арканумцы верили в то, что каждый человек имеет две души, одну – смертную, вторую – бессмертную, которая и переселяется в другого человека. Песни из «Книги Смерти» исполняли не после смерти, а до нее, то есть человеку еще живому, но уже умирающему, эти песни должны были облегчить переход в мир иной, да и не только облегчить, но и выполнить роль поводыря, провести бессмертную душу умершего через все мытарства загробной жизни и вернуть назад к жизни земной. Песни эти исполняли в танце, под аккомпанемент бубна и дудочек, а сам танец на арканумском языке назывался – о чудо! – «dan-go trah», что до боли напоминало знакомое всем слово «танго», восходящее к языку нигерийского племени ибибио. Тут Ярош вспомнил, что арканумские короли в своих завоевательных походах не раз продвигались в глубь Африки и доходили до Нигерии, где и жили племена ибибио, кто у кого перенял эти танцы, не столь важно, но «dan-go trah» означало дословно «танец смерти» или же... «Танго смерти». Конечно, этот танец не был похож на танго, каждый танцевал сам по себе, не касаясь другого танцора, но распахнув руки, словно обнимал кого-то, – таким образом, каждый из них будто исполнял воображаемый танец с душой умирающего.

Неожиданно его изучение «Книги Смерти» дало еще один ключ, когда сын сообщил, что встречается с девушкой, которая посещает спецкурс Яроша, посвященный древним литературам, и интересуется именно Арканумом. Ярош сразу догадался, о ком идет речь, ведь спецкурс посещало в разное время от двадцати до двадцати пяти студентов, и одна из девушек отличалась не только своей красотой, но и настойчивостью. Она не пропускала ни одного занятия, а потом сообщила, что и дипломную работу будет защищать по арканумской литературе. Барышню звали Данка, была она высокая, с продолговатым лицом, обрамленным натуральными темно-каштановыми волосами, которые мягкими волнами спадали на плечи, римский остренький носик придавал ей величественный вид, а когда она выступала на своих прямых длинных ногах, спину держала прямо, и в этой походке тоже проявлялась какая-то

величавость. Ее голос не был похож на бабий, он был глубоким и выразительным, без лишней слащавости.

– Ты, наверное, обратил на нее внимание, – сказал Марко, – то есть представлять вас друг другу не нужно, но мне бы хотелось, чтобы вы познакомились поближе. Ты не против, если я приведу ее к тебе в субботу? – А так как Ярош лишь пожал плечами, Марко добавил: – Она настолько увлечена твоими лекциями, что готова их часами наизусть мне пересказывать. Хоть я и мало в этом кумекаю. Но это и к лучшему, разные интересы только помогают сблизиться.



С малых лет я воспринимал и вбирал в себя Львов по запахам, их множество, и по ним можно распознать время года, даже не выходя из дома и не выглядывая из окна. Осенью стоял резкий запах соленых огурцов, сдобренных душистым укропом, чесноком и хреном, из предместий доносился минорный запах сожженной картофельной ботвы, переход от осени к зиме был ознаменован запахом квашеной капусты, а зимой в канун рождественских праздников в воздухе уже царил запах дыма, на котором чуть ли не весь Львов коптил колбасы, ветчину, вырезку и грудинку, во всех дворах, даже в центральной части города, устанавливали металлические бочки, подводили к ним жестяные трубы и разводили возле их отверстия костер так, чтобы дым по трубе шел к бочке и оплетал своими кружевами мясо, чтобы оно только коптилось, а не пеклось, и это был святой долг пана сторожа, который к тому же должен был запасти дров, нарубить их и сложить кучкой, а после почтенная пани сторожиха, одетая в четыре юбки, четыре свитера и четыре платка, садилась на скамеечке у самого огня и следила, чтобы огонь не погас и не слишком разгорался, потом, когда уже накапливалось достаточное количество углей, сторожиха насыпала их немного в старую кастрюлю и, подсунув ее себе между ног, накрывала юбками, теперь ей было так тепло, что она даже вздремнуть могла, а жильцы подносили ей мясо, которое она коптила, а потом с каждого брала по куску ветчины или грудинки, а на сами рождественские праздники пахло уже пампушками, рыбой, медом, на жидовской стороне добавлялся запах гусиного смальца, жареного лука, перца и «грифа» – вареного в молоке вымени, а весной перед Пасхой снова пробирался в окна веселый запах дымов и копченостей, это опять пан сторож вкапывал бочку и подводил к ней трубу и рубил дрова, а пани сторожиха старательно записывала в помятую тетрадку все то мясо, что ей приносили, но уже не было ей нужды греться от кастрюли с углями, потому что перед праздником, хоть и бывало еще прохладно, но солнце светило ярко, на деревьях задорно чирикали воробьи, ворковали горлицы и трещали сороки, а еще на Пасху стучался в окна и двери запах разного печенья, куличей, свежих фиалок, а летом – сушеных на солнце грибов и земляники, которыми торговали прямо на улицах, когда же лето подходило к концу, весь город утопал в пьянящем аромате конфитюров из ягод и роз.

Город менял свой облик в течение дня до неузнаваемости. На рассвете, когда он еще дремал, въезжали на Рынок телеги, груженные овощами, а другие телеги тяжело грохотали по мостовой, развозя бочки с пивом и всякий товар, а потом начинали раздаваться звонки трамваев, цокали фиакры, шуршали метлы, после семи на улицах появлялись ученики, идущие в школу, город просыпался уже окончательно – начинали хлопать ставни, дребезжать ролеты на дверях магазинов, открываться окна, и тогда Львов звенел сотнями голосов, и

голоса эти разносились эхом во все стороны, прецляры кричали: «Прецли! Прецли!», ганделесы^[13] вопили: «Ганделе, ганделе, ганделе, продать – купить!», дротяры^[14] – гуцулы и лемки – ходили, обвешанные проволокой и мышеловками, крича: «Горшки дротовать! Есть что дротовать?», а бочкари: «Есть что оббивать?», а торговцы песком: «Кому песка? Песка кому! Пеееесоок!», а старьевщики: «Кооости! Тряяяпки!». У Венской кофейни, где главная станция на пересечении нескольких трамвайных линий, всегда бурлила толпа – одни ждали трамвай, другие куда-то спешили или ворон считали, а рядом продавали поджаренные подсолнечные и тыквенные семечки, жидовки предлагали горячие жареные каштаны, турецкие и грецкие орехи в кулечках, свернутых из газеты, и тут же пекли эти каштаны на жестянке, с углублениями и дырочками, а сверху она была накрыта жестяной крышкой, под самым низом в металлическом ящике тлели угли, и жидовки орали во все горло: «Гайс мароны! Гебратэнэ! Фрише!^[15]», а те, что торговали горячими бобами: «Гайс бобеле!». Прецляры носили, повесив перед собой на ремнях, большие корзины со свежайшими ароматными прецлями, нанизанными на палки, торчащие из корзины, одни прецли были посыпаны маком, другие – солью, но самым большим спросом пользовались «майовые» – золотистые, хрустящие, залитые крутой рапой и густо посыпанные маком, они просто таяли во рту. Прецлями торговали и жидаы, выкрикивая: «Прецле на яях!», а когда проходили мимо каких-то группок украинцев, то, плохо владея украинским языком, выкриками своими вызывали у покупателей приступы хохота: «Прецли на яйца! Прецли на яйца!». Мы любили дразнить их и тоже кричали: «Прецли на яйца! Прецли на яйца!» или «Яйца на прецли! Яйца на прецли!». Деревенские усатые дядьки из Корчева на Подляшье носили корзины с луком прямо на голове поверх бараньей шапки, венки из лука свисали и из корзины, и с плеч дядек, спадая на грудь и руки, свисали они и с пояса, так, что дядька похож был на какое-то сказочное существо в золотистых гирляндах, его экзотический вид вызывал у детворы одновременно восторг и опаску, и она с визгом: «Луковый человек! Луковый человек!» сопровождала его и мигом бросалась врассыпную, лишь стоило дядьке бросить на них гневный взгляд. «Вот придет к тебе Луковый человек и заберет с собой», – пугали непослушных детей матери, да и моя мама не раз показывала мне из окна Лукового человека, приговаривая, что тот может превратить озорника в луковый венок. И когда она, купив лук у Лукового человека, вешала венок на стену в кухне, я смотрел на него со страхом, размышляя над тем, кем же был тот непослушный мальчик, которого превратили в лук, и брызнет ли кровь из луковицы, если ее прокусить, поэтому я не ел этого лука сырым и просил маму не трогать его, а вдруг когда-нибудь чары развеются и луковый венок снова превратится в мальчика, ведь он тогда будет калекой – без ноги или руки, без глаза или без уха, в любом случае его увечье будет на нашей совести, но мама меня не слушала и смело кромсала кружочками лук для салата. Гончары в дребезжащих гирляндах горшков и кринок кричали: «Горшки! Гарнки!^[16] Миски! Дротовать! Дротоваць!», щеточники торговали самыми разными щетками, соломишки – соломенными и камышовыми циновками, которые хозяйки любили стелить под порогом, ситары торговали ситами, а так как изделие это было легкое, то ситарь так обвешивался ситами и ситечками, что самого его почти не было видно, продавцы птиц носили на длинных жердях клетки с птичками, угольщики развозили на телегах уголь, выкрикивая: «Ууууголь! Ууууголь!», водовозы каждое утро развозили в кадках воду, а почту поставлял в крытой желтой тележке почтальон, выдувая на витой трубе всегда одну и ту же мелодию, продавец льда извещал о своем появлении звонком, заслышав который хозяйки и вся прислуга выбегали с тазами и корытами, куда продавец накладывал

вырубленные куски льда, продавец песка привозил песок, выкрикивая: «Песооок! Песооок!», хозяйки драили им казаны, посыпали пол и лестницы, чтобы скорее высохли.

Любили мы бегать на Рынок и смотреть на гуцулов в черных шляпах, обвязанных тесьмой, в грубых полотняных портках и таких же рубашках, густо расшитых красно-черными крестиками, они продавали миски, рюмки и кувшины из глины, дерева или меди, сумки, пояса и постолы^[17], пестрые игрушки, волохачи^[18], тайстры^[19], канцелярские изделия из дерева, чернильницы, рамки с подписями названий местностей – Сколе, Косов, Жабье. Бойки с длинными усами и с неизменной изогнутой трубкой в зубах торговали яблоками, грушами, сушеными боснийскими сливами, грецкими и лесными орехами, каштанами, детям бойки продавали все это дешевле, поэтому матери посылали к ним нас, а нам это только в радость было, потому что бойки давали нам пробовать свой вкусный товар. Толстая, как бочка, старая торговка Валахонёва продавала кишки^[20], которые просто-таки блестели от жира в большом казане, стоявшем на углях, она помешивала их деревянной лопаткой и кричала: «Экстра бомба фрикасе! Лякерованные кишки!». А порции были такие, что, съев их, можно было до вечера уже ничего не есть, поэтому представители таких уважаемых профессий, как мясник, грузчик или извозчик, считали большой честью принадлежать к постоянной клиентуре старой мордатой Валахонёвой, хотя на улицах Львова можно было купить не только кишки, но и паштеты, пряники, жареные колбаски, мамалыгу, куликовский хлеб, хрустящие булки – кайзерки и штангли.

По субботам по всему городу разносились громкие хлопки, похожие на выстрелы, но никто не стрелял, это хозяйки выбивали, развесив на перекладинах, ковры, дорожки, перины и подушки. Раз в месяц кухня превращалась в Африку – это был День Большой Стирки, когда королевой кухни становилась прачка. Вообще-то стирка занимала всю неделю: кипятили в понедельник, крахмалили во вторник, сушили в среду, штопали в четверг, а гладили в пятницу. Накануне Большой Стирки с вечера сдвигали вместе два больших кухонных стола, на которые ставили огромную жестяную лохань, туда наливали горячую воду с растворенным мылом, в ней замачивали постельное белье, полотенца и ночные рубашки, а утром, когда к нам приходила прачка, крепкая девушка с большими руками и ногами, и в кухне воцарялась тропическая температура, от пола до потолка клубился пар, окна застилалась туманом, через них ничего уже нельзя было рассмотреть, зато здорово было рисовать всякие рожицы, печь растапливалась докрасна, а на ее чугунной плите стояли две большие выварки. Прачка брала мыло фабрики Шихта, клала белье на «стиралку», или «магливницу» – широкую доску из рифленой жести в деревянной рамке, – намыливала его и возила сверху вниз поперек борозд – шур-шур-шур! Вскоре в лоханке вздымалась мыльная пена, и я не мог удержаться, чтобы не набрать ее полную горсть и не любоваться этим пушистым невесомым шаром, который переливался всеми цветами радуги и подмигивал мне маленькими глазками, но очень быстро каждый, кто пробыв здесь хотя бы несколько минут, начинал исходить потом, ведь белье после первой стирки доставали из лохани и кипятили в выварках, духота в конце концов выпроваживала меня из кухни. А еще я любил смотреть, как добавляют в воду синьку в маленьких муслиновых мешочках, вода становилась ярко-кобальтового цвета, но белье после такого подсинивания становилось не голубым, а еще белее, синька растворялась в воде маленькими облачками, которые вытягивались в тоненькие волокна и щупальца, становясь похожими на чудовища с множеством длинных тонюсеньких ножек, точно так тянулась и растворялась в воде кровь, если опустить в нее порезанный палец; не удивительно, что когда я был маленьким, мне казалось, будто облака в небе – это перины, которые купаются в

растворенной синьке. Крахмал был вязким и липким, он делал воду гуще, отполосканные в нем простыни хрустели, накрахмаленные рубашки становились негнушимися, их гладили еще влажными, и тогда подпаленная утюгом клейковина издавала запах подгоревшего печенья. Утюги наполняли горячими углями, они были тяжелыми, и надо было следить, чтобы после них не оставались полосы копоти, но угли должны были быть особые – древесные и чтобы хорошо перегорели, потому что от неперегоревшего угля утюг чадил, и мама потом жаловалась, что у нее болит голова.

А когда наступало воскресенье и было теплое время года, открывались все окна на всех улицах города, все окна до единого, и из этих окон высовывались люди, в основном любопытные женщины, старые и молодые, облокотившись на подушки, одни переговаривались, другие молча разглядывали прохожих, третьи ждали того, что не появится, и у всех на лицах играла улыбка, а у кого был балкон, те усаживались на балконе и тоже улыбались и смотрели на прохожих, и все чувствовали себя одной большой семьей, незнакомые люди могли взять и заговорить друг с другом без лишних церемоний, так, будто знали друг друга много лет, потому что не только сами люди, но и весь город был улыбчивый и радостный.

Но привлекательнее всего Львов выглядел по вечерам, когда зажигались фонари, мигали яркие неоновые надписи и рекламы, светились витрины, а из ресторанов и кофеен доносилась музыка, тогда корзо^[21] заполнялся людьми, от гостиницы «Жоржа» и аж до конца Академической, начиная с шести вечера и далеко за девять, сновали толпы прогуливающихся – дамы в шляпах, господа в черных мельониках^[22], военные в мундирах, студенты в форменных фуражках – ведь именно здесь назначались свидания, и все они прохаживались взад и вперед, время от времени встречая знакомых, раскланиваясь, останавливаясь на пару слов, а то и собираясь в большую компанию, шли в ресторан, на корзо можно было встретить всех своих знакомых, и такое происходило каждый вечер, исключением было воскресенье, когда на корзо следовали толпы людей после обедни в двенадцать, продефилировав по правой стороне Академической, толпа возвращалась уже по левой стороне, переходила на правую сторону и, повторив эту же прогулку еще несколько раз, рассыпалась по кофейням и кондитерским; оказавшись в этой толпе, ты, словно подхваченный течением, плыл медленно, не ускоряя и не замедляя шага вместе со всеми, и чувствовал себя вполне уютно, лишь изредка этот людской поток создавал небольшие заторы: родители с детьми непременно останавливались у витрины магазина Кляфтена с детскими игрушками, да и как было не остановиться, когда там, на витрине, разыгрывалась настоящая баталия, миниатюрные солдаты готовились к атаке, у орудий замерли артиллеристы, полководцы обзревали поле боя в бинокли, а миновав Хорунщину, невозможно было не заглянуть в кнайпу^[23] пани Теличковой и не перехватить парочку вкуснящих канапок, а дальше прогуливающихся поджидала сказочная витрина кондитерской Залевского, где можно было увидеть кондитерскую в миниатюре – маленькие куколки в белых одеждах выполняли свою важную работу: одна месила тесто, вторая его раскатывала скалкой, третья что-то наливала в котел, четвертая растирала что-то в макитре, пятая усаживала тесто на лопате в печь, а двигались они все от электрических моторчиков, перед Рождеством и Пасхой витрина менялась, превращаясь в праздничный стол с шоколадными и марципановыми изделиями, изображавшими освященные блюда – куличи, крашенки, ветчины и целных поросят, еще там были зайчики и барашки в корзиночках, украшенных зеленым барвинком, а на крошечных столиках красовались крошечные бутылочки с ликером

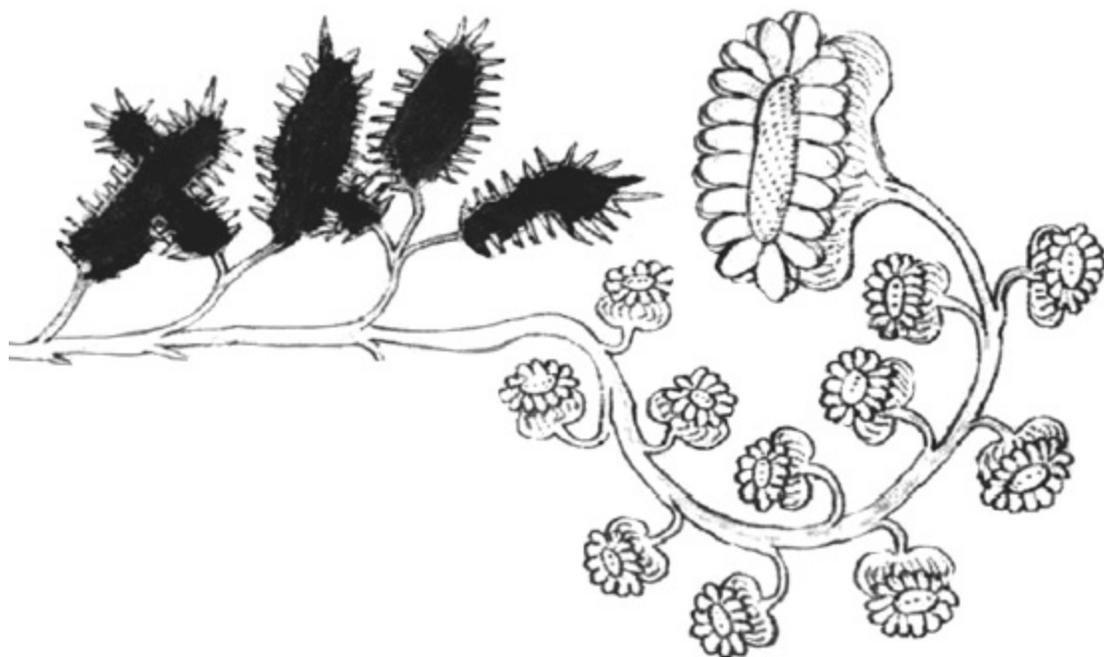
и привязанными к длинным горлышкам рюмочками. Эти витрины менялись так часто, что каждое ребячье сердечко тянулось к ним, едва оказавшись на корзо. Но после девяти улицы начинали пустеть, все спешили домой, потому что в десять вечера сторожа закрывали входные ворота домов, и позже, чтобы войти в дом, нужно было звонить сторожу в колокольчик и платить чаевые – 25 или 50 грошей за услугу.

А еще я с мамой охотно ходил на Кракидалы – удивительный мир, который начинался за Оперным театром и манил к себе уже одним лишь названием, в котором таилась большая загадка, потому что в воображении сразу всплывают крокодилы, хотя никаких крокодилов там не было, это было лишь странным образом перевернутое название Краковского предместья, где кипели базарные страсти и бурлила тандита^[24], или, как ее называли жиды, Тандмарк. Наверное, именно так выглядят легендарные базары Ближнего Востока, вокруг площади расположились лавки, а перед ними и повсюду, куда ни бросишь взгляд, палатки со всяческим товаром, прежде всего с одеждой и обувью. Кракидалы – это настоящее царство жидовское, тут можно увидеть и одетых на европейский манер важных дам и господ, и бородатых хасидов с длинными пейсами в черных атласных халатах и шляпах, и задрипанных жидовок, которые, натянув на себя кучу манаток, напоминают капустные головки. Среди тесноты этого скопища лотков торгаши и жулики во весь голос расхваливают свой товар, а между ними дымят печки на колесиках, а на них источает пар незамысловатая снедь. А главное – следует помнить, что так же, как на базарах Стамбула, Танжера, Маракеша или Каира, можно и даже нужно торговаться и сбивать цену, начиная от ее половины. Рядом с торговцами-жидами снуют украинцы и поляки, царит вечное движение, а в воздухе звенит громкая какофония звуков.

Вот какой-то хитрый батяр демонстрирует бутылку из-под водки, в ней – вода, а в воде стоит фигурка ныряльщика довольно больших размеров, через горлышко он явно влезть не мог, а потому батяр и спрашивает: «Как он ту влез скрозь туненьку шейку фляшечки?» – и, оглядевшись на зевак, объясняет: «То ся робе так. Ду пляшки тре вложить туненький шкелетик ныряльщика. Потом его ся засыпуе магическим порошком. Тоды вода стае така бильюська, как молоко. Потом ставите го на шкаф, а за час вода снова чистая и прюзора. И во – готово! И уже каждый может зувидеть, как такой толстый пирнец влез скрозь тоту туненьку шейку». Толпа вокруг него растет, и батяр добивает ее последним аргументом: «То не игрушка, прошу паньство! Не – шоб дети ся забавляли, а то есть вещь незаменимая в домашнем хозяйстве. Тому шо пирнец цильюський день сияет, как заря, а ночью светится так, жи можно при нем читать газеты, вышивать и ужинать. И шо вы си мыслите – сколько таке щасте стоит? Вы не пуверите! Этот съличний пударок на именины или к свадьбе стоит только двацить грошей! А двацить грошей – то не для кого не деньги, не?» И снова он оглядывает толпу, чтобы через мгновение продолжить с того, с чего начинал: «И как он ту влез скрозь ту туненьку шейку фляшечки?»

Но для нас, школьников и гимназистов, Кракидалы были ценны еще тем, что там на книжных лотках кроме книг и школьных учебников можно было купить «брики» – всяческие брошюры с переводами латинских и греческих текстов и с сокращенным изложением классических романов, они избавляли нас от чтения произведения в оригинале. Школьным руководством было строго запрещено не только приносить брики в школу, но и читать их дома, ведь они хоть и облегчали ученикам жизнь, но сводили на нет самостоятельное изучение классических языков, однако мы, хорошенько оглядевшись, нет ли поблизости какого-нибудь учителя, частенько навещали лавку рябого Нухима, который любил таких

пацанов, как мы, и к приобретаемому брику всегда всучивал в придачу какой-то хлам – старый потрепанный детектив или вырванную откуда-то иллюстрацию сражения с бурамы – которые потом мы могли и выбросить, но всегда должны были принять этот дар с притворной благодарностью, потому что это гарантировало нам благосклонное отношение в будущем. А еще мы покупали там произведения Карла Мая про Виннету, Олд Шурхенда и Шаттергенда, передавая из рук в руки, пряча на уроках под партами, Карл Май был на первом месте среди тех, кто писал на приключенческие темы, потому что его произведения будили фантазию и захватывали.



За окном – еще теплая осень, на деревьях Клепаровского парка возились вороны, стряхивая утреннюю росу, старый Иосиф Милькер стоял, опершись на подоконник, и пожирал глазами этот мрачный неприветливый пейзаж, словно пытаясь его сфотографировать, но на самом деле он просто любовался этой местностью, которая была для него несказанно дорога. Здесь прошли его детство и юность, эта Гицлева гора хранит в памяти столько событий, все эти деревья с воронами, они же были и тогда... тогда, когда евреев из Клепарова выгоняли из домов и вынуждали переселяться на Замарстынов, потому что гетто имело такое же свойство, как и шагреновая кожа, и он тогда так тосковал по этому пейзажу, по грабам, кленам и ясеням, с шапками, полными вороньих гнезд и омелы, потому что из окон нового жилища он мог видеть лишь железнодорожный мост, по которому время от времени грохотали военные поезда и товарняки, прозванный Мостом Смерти из-за того, что под ним был шагбаум и стояла охрана, как у ворот в ад, кого-то она выпускала и выпускала, а кого-то отправляла в небытие, на таинственные Пески в Лисинецком лесу, а там, на Гицлевой горе, расцветала омела, и расцветала не весной, а в феврале, когда еще лежал снег, и он только тогда, в изгнании, почувствовал, насколько она была ему мила, как не хватало ему этого бледно-розового цвета там, в чужом доме, где они вынуждены были ютиться шестером в единственной комнатухе, вздрагивая от каждого стука, от громкого топота ног, от громких приказов, от шелканья затворов, а выстрелы... выстрелы уже их так не пугали, выстрелы слышались в отдалении, к выстрелам все они привыкли... даже тогда, когда оказались в Яновском концлагере. Затем лента воспоминаний прервалась, замелькали черные неразборчивые кадры, и Милькер уже снова видел себя на родном Клепарове, в родительском доме. Много за то время, пока он отсутствовал, пропало, что-то забрали немцы, что-то – освободители, а то и соседи, но кое-что осталось – на старую мебель никто не позарился, а под шкафом под полом удалось спрятать самое ценное – скрипку и альбомы с фотографиями, Милькер частенько рассматривал эти снимки, где была отображена вся его большая семья, его друзья, любимая девушка, всех их давно нет в живых, но он еще помнит их голоса и, закрыв глаза, может воспроизвести. Вот кричит из окна его мама: «Йоселе!

Йоселе! Марш домой! Учитель пришел!» О, да как же можно забыть пана Кацеленбогена с его дребезжащим картавым голосом, вот он во всем черном, похожий на ворона, длинные худые руки, кажется, в любой момент взмахнут в воздухе, и он взлетит и с высоты начнет вбивать своим клювом в голову горемычного Йоселе тайные знания, а вот сестра Лия и Рута, его девушка, собирают цветы на Кайзервальде и заливаются звонким заразительным смехом, таким, что не поддаться ему невозможно, а там – на рядне его друзья устроили пикник, и кажется, даже запах жареного мяса на вертеле доносится с фотографии... Под полом удалось припрятать и часть посуды, а главное – чашку в виде пухленького щекастого мальчика: из нее он пил в детстве молоко, больше он из нее не пьет ничего, но чашка стоит за стеклом в старом буфете и связывает его с покойной мамой, которая наливала в эту чашку теплое молоко, добавляла ложечку меда и приносила ему каждый вечер, а когда он болел, к молоку добавляла еще масло и соду, он морщился, но пил, а теперь, когда он смотрел на чашку, ему казалось, что детство не перестало в нем жить, и когда он закроет глаза, то услышит голоса своих друзей, которые зовут его играть в мяч.

Он жил скромно, давая частные уроки музыки, средств на жизнь хватало, но Милькер был книгоманом, поддерживал связи с букинистами Киева, Москвы, Вильнюса, а так как на старые книги денег не доставало, он еще занимался и спекуляцией, как тогда говорили, посещал нелегальные книжные рынки, которые разгоняла милиция, и поэтому для конспирации в 1970—80-х годах приходилось часто менять место сбора книголюбов. Когда милиция устраивала облаву, все мигом разбежались, порой даже бросив книги. Одно время они собирались прямо на Гицлевой горе у памятника казненным польским повстанцам, и Милькер вспомнил, как зимой милиция со всех сторон двинулась на гору, все бросились наутек, скользя по снегу, раскатанному детьми, кто-то падал и катился кубарем вниз, книги разлетались во все стороны, но Милькер не растерялся, он, усевшись верхом на сумку, полную книг, съехал на ней, как на санях, милиционеры пытались, растопырив руки, задержать его, но он вихрем пронесся мимо них, остановившись прямо у своих ворот.

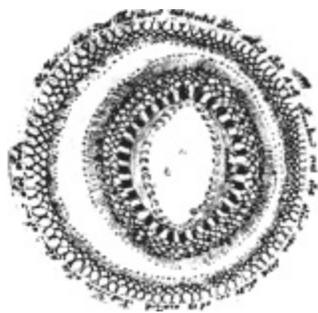
Ну да, с Гицлевой горой у него связано немало воспоминаний, ведь там, на самой верхушке, он впервые поцеловался с Рутой, по-настоящему, а не так, как они чмокались до этого в щечку, а еще ему вспомнилась легенда, которую он слышал от бабушки о происхождении названия горы. Вроде бы там, прямо под Гицлевой горой в овраге, полностью заросшем бузиной, в глинобитной хатке жил очень жестокий гицель ^[25], который отлавливал собак и кошек и сдирал с них шкуру. Но однажды он поймал любимую кошечку Бузиновой пани и уже собирался ее убить, как вдруг перед ним предстала женщина в зеленом платье и с распущенными зелеными волосами. Она очень разгневалась на гицля, выхватила из его рук киску, а склоны оврага в один миг сомкнулись, похоронив навеки вечные и гицля, и его лачугу. С тех пор иногда по ночам у подножия Гицлевой горы якобы можно слышать отчаянные крики гицля и лай собак. Милькер улыбнулся, вспомнив, как не раз тоже пытался прислушиваться, но с расстояния, потому что по вечерам все дети боялись этой горы.

Он так любил Руту, что после войны не мог решиться на новое чувство, Рута все еще стояла перед глазами, он был уверен, что Рута может появиться в любой момент, и он должен ее дожидаться, и Лию тоже, и многих других, с кем его разлучила судьба. Оглянуться не успел, как исполнилось ему девяносто, и теперь воспоминания – это единственное, что греет, жить в таком возрасте непросто, когда ты потерял абсолютно всех родных и знакомых, а также тех, что были моложе тебя, годились тебе в сыновья и дочери, их тоже нет, но и их голоса все еще продолжают звучать в памяти, и их прикосновения все еще живут на

отдельных предметах, но есть еще книги, полные шкафы книг, и есть среди них пока им непрочитанные, глядя на них, он шутил сам с собой: «Вот прочитаю вас и умру», но кроме непрочитанных еще книг были и прочитанные, которые ему хотелось перечитать, поэтому количество непрочитанных книг уменьшалось очень медленно.

Старик отошел от окна, взял бутылку с отстоянной водой и принялся поливать цветы в горшках, цветов было много, и цветы были необычные, их редко использовали для букетов, потому что увядали они слишком быстро, а уж чтобы их выращивали в помещениях, о таком никто и не слышал, но это хозяина не волновало, он не только поливал их, но и разговаривал с ними, а то и целовал какой-нибудь цветочек своими сухими губами и ласково подмигивал, словно обхаживая и склоняя к греху, и цветы отвечали кокетливым трепетом лепестков.

Был еще ранний час, старик заварил зеленый чай, отрезал ломоть черного хлеба, положил на него пластиночку деревенского творога, слегка присолил и позавтракал. Это он проделывал уже много лет, раз в неделю специально ходил за творогом на Краковский рынок к одной и той же хозяйке, иногда покупал у нее еще и сметану, тогда делал себе салат из творога, сметаны и мелко нарезанных зелени и лука, в обед ел овощной суп, потом картофель или кашу с салатом, мясо ел только раз в неделю. Милькер не собирался умирать, пил регулярно свекольный квас и чай из боярышника от давления, чувствовал себя совсем неплохо, у него была определенная цель, которая крепко удерживала его на этом свете и не отпускала в мир иной.



Я любил захаживать с мамой в «Атлас» на Рынке, где собиралась очень интересная публика, вся львовская богема – литераторы, художники, музыканты, актеры... Там бывали замечательные концерты и незапланированные, но всеми ожидаемые импровизации. Мы с мамой усаживались в уголке, попивали чай и жадно ловили глазами и ушами все, что происходило. Нет, мы никоим образом не стеснялись всех тех знаменитостей, а чего бы нам их стесняться, ведь матушка моя тоже была человеком искусства, она частенько любила повторять «мы, люди искусства», ведь никто лучше моей мамы не сочинит в стихах поздравления с днем рождения или со свадьбой. И это еще не все – еще мама сочиняла замечательные стишки для надгробий, настоящие шедевры, которые никого не оставляли равнодушным.

Спи, наш дедуля, и не грусти,
Ляжем когда-то с тобою и мы.

Или такое:

Бабушка любимая, под ивой
Ты нашла себе покой счастливый.

Мама сочиняла эти надгробные стишки на трех языках – украинском, польском и немецком, в зависимости от заказа, а когда нужно было применить идиш, на помощь приходила Голда, и тогда они рифмовали уже вместе. Я был горд, когда сразу в нескольких львовских газетах смог прочесть: «Стихотворные поздравления и надгробные надписи составляю на всех языках. Обращаться по телефону... Спрашивать пани Влодзю». Вы думаете, что такое объявление выглядит слишком наглым – «на всех языках!» – но еще не было случая, чтобы к нам кто-то обратился за стишком на каком-то другом, кроме уже упомянутых четырех, языке. А еще моя мама имела незаурядный актерский талант, по правде говоря, ее ожидало большое будущее, хоть она и сыграла лишь одну роль, изображая в церкви четвертый смертный грех. Но она решила сосредоточиться на чем-то одном и выбрала поэзию.

Вообще-то пани Голду и мою маму кладбище объединяло не только надгробными стишками, а еще и тем, что пани Голда разговаривала с мертвыми. Да что там говорить – львовяне любили, придя на кладбище, покалякать со своими дорогими покойничками, кто

мысленно, а кто вслух, но контакт этот был односторонний, хотя, возможно, случались и исключения, потому что не раз можно было увидеть, как какая-нибудь бабушка, шевеля губами, кивает при этом головой, словно соглашаясь с тем, что довелось услышать, но большинство живых, хоть и обращались к мертвым, сообщая им последние новости, не слышали при этом, что на это отвечает покойник. Голда была исключением – она слышала голоса потустороннего мира, ее клиентами были преимущественно вдовы или безутешные матери, все они приходили к ней домой, и Голда, погрузившись в транс, сообщала им нечто такое, что вместе со слезами изгоняло из них отчаяние, а тоска становилась не такой невыносимой, и бедные женщины выходили от нее с легкой душой. Особых клиентов Голда вела на кладбище и общалась с покойниками уже напрямую, прислонив ухо к склепу.

– Что, что он говорит? – переспрашивала отчаявшаяся вдова.

– Говорит, что ему тяжело там лежать, он не чувствует вашего горя.

– Вот еще! Да что он такое мелет! Да я уже стала плоская, как маца! Мало того, что всю жизнь меня шпынял, так еще и после смерти!

– Он говорит, что ему было бы легче, если бы вы на надгробной плите выбили какую-нибудь красивую надпись, которая бы засвидетельствовала ваше горе.

– Правда? Он так и сказал? А гит^[26]! Я это сделаю. А какую же надпись?

– Я вам дам адрес такой себе пани Влодзи. Она вам посоветует.

Конечно, моя мама с Голдой работали в паре, и не только Голда оказывалась полезной маме, но и мама, выполняя заказ на очередную эпитафию, интересовалась:

– А вы не хотели бы пообщаться со своим мужем?

– Как это? – испуганно бормотала вдова.

– А так, вживую. Через медиума.

– Ой, это ж, наверное, грех!

– Какой такой грех? Разве Иисус не говорил с мертвыми? Я вам дам адрес такой себе пани Голды. Еще спасибо мне скажете.

И хотя Голда, кроме сеансов спиритизма, к тому же гадала на картах таро, на кофе и на косточках кролика, которые она называла косточками святого Марцелия, разговоры с покойниками пользовались самой большой популярностью.

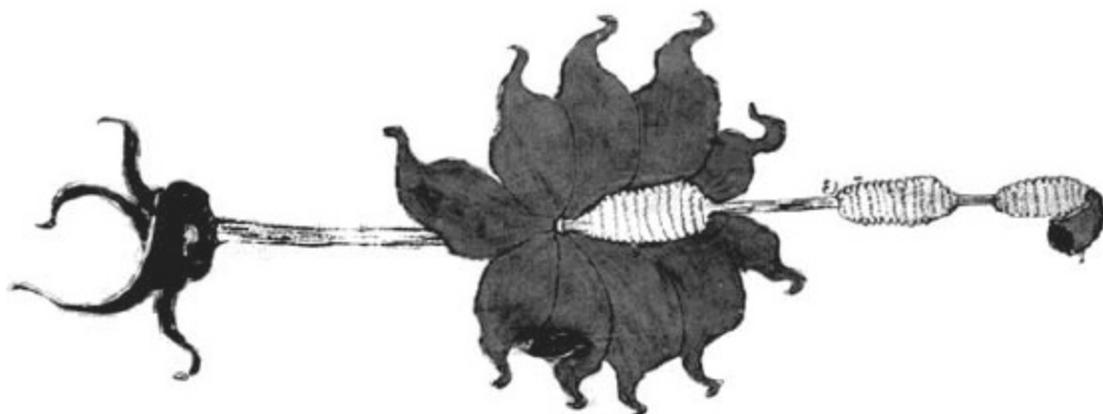
Поскольку мы с мамой считали себя творческими людьми, мы охотно вращались в богемных кругах, и хотя богема не вращалась в наших кругах, нам это не мешало. После полудня мы с мамой бывали в «Де ля Пэ»^[27], прозванном «Де ля Пейс», потому что днем в ресторане собирались жида в своих черных-пречерных сюртуках и шляпах и вершили великие дела, может, даже не просто торговали лесом или хлебом, но и правили миром, решали судьбу американского президента и японского императора, а потом, когда они расходились, официанты открывали настежь все окна и балконы, чтобы выветрить крепкий запах лука с чесноком, который преследовал жидов от самого рождения и до их последней минуты, витая над ними, как коварный злой дух, который своим неумолимым присутствием бесцеремонно тыкал в них пальцем, возвещая всем: «Это жид!» Пополудни уже сходилась богема и играло пианино. И когда мы с мамой заходили, то надо было видеть, как мама напускала на себя важность, величественно неся свой парик и выпячивая грудь так, будто ненароком аршин проглотила, ведь она принадлежала к женщинам, которым вечером бывает двадцать шесть, а утром – сорок. Я тоже смотрелся неплохо, мама предусмотрительно повязывала мне на шею цветастый платок, чтобы было видно, что и я поэт, художник или музыкант. Мама кивком головы указывала мне то на одного, то на другого гостя, сидящего за

столом, поясняя, что вон там – сам Сясь Людкевич^[28], выдающийся композитор, а там – писатель и художник Эдзя Козак^[29], а рядом с ними крутятся худые, как спички, братья Курдыдыки^[30], забрасывающие своими стишками все журналы Львова, и когда мама, выплыв, наконец, как каравелла, на середину зала, выкрикивала: «Сервус, Сясь!», пан Людкевич наклонялся к Эдзе Козаку и интересовался, кто это такая, а узнав, что это некая полоумная, которая пишет стишки для надгробий, кивал головой и снова погружался в симфонии, звучащие в его голове.

А когда мы бывали по вечерам в «Атласе» на Рынке, мама и там вела себя так, будто только ее здесь и ждали, я даже думаю, что ей при этом мерещились вздохи восхищения, воздушные поцелуи и приветственные возгласы, потому что она, проходя, да нет – не проходя, а проплывая – раздавала налево и направо короткие, точно королевские, поклоны, а с кем-то и здоровалась, да так, чтобы слышал весь зал: «Корнелик, как дела?» кричала Корнелю Макушинскому^[31], который как-то на днях развеселил публику тем, что, влетев в кнайпу и принявшись целовать ручки дамам, поцеловал заодно и сухую сморщенную ручонку клозетовой бабки^[32], а Геню Збежховскому^[33], сидевшему у пианино с бокалом вина и сигаретой в зубах, бросала: «Геня, не руб гецы – з твэго пыска видаць Львув!^[34]», и ошарашенный Геня, наклонившись к Корнелю, спрашивал: «Что это за пышная дама, которая со мной поздоровалась запанибрата?», и Корнель объяснял: это некая полоумная, которая пишет стихи для надгробий. А однажды, когда во Львов приехал актер кино – да что там актер – звезда! – Мечислав Цыбульский^[35], перед ресторацией собралось пруд пруди перевозбужденных дамочек, и все мечтали получить автограф, а пан Эдзьо Тарлерский, владелец «Атласа», потом рассказывал: «Да вы знаете, что тут творилось? Они просто писались от такого волнения. Я не преувеличиваю – сам видел пятна на тротуаре!», но моей маме за этим автографом даже не пришлось в очереди стоять, она одной рукой оттолкнула официанта, который стоял в дверях и следил за порядком, зашла внутрь и, не обращая ни на кого внимания, направилась к столу, за которым обедал знаменитый актер, а потом состроила ему глазки и сказала: «Мечик, сервус! Ну ты и батяр! Как ты ту графиню красиво окрутил! Разрази тебя гром! Ну-ка черкни мне тут пару слов на своей фотке!», и Мечик с полным ртом бигоса охотничьего, не оправившись от неожиданности, поставил подпись, а когда успешно проглотил пережеванное и спросил: «Я с пани знаком?», каравелла моей мамы наполнила паруса и, покидая порт имени Цыбульского, выплеснула на прощание: «Не бери в голову, Мечик! Я тебе ту ночь уже простила!», и вслед ей устремилось множество удивленных взглядов, но самым удивленным был, конечно же, взгляд самого актера, потому что его мучительные попытки вспомнить «ту ночь» не увенчались успехом, а вот аппетит испортили и вызвали чувство тревоги и неуверенности в отношении всех последующих ночей, которые ему могут простить, а могут и не простить.

В кнайпе «Шкоцкой»^[36] мама непременно должна была задеть профессора Стефана Банаха^[37], выдающегося математика, хотя мы с мамой имели к математике такое же отношение, как лягушка к теплым краям, но попробуй сдержать мою мамочку, когда она, проходя мимо столика, за которым ежедневно заседали университетские профессора и решали математические задачи, кричала: «Стефчик! Ах ты батярыга! Нынче снова всю ночь проказничал? Вон какие мешки под глазами!», а потом к Станиславу Уляму^[38]: «Стась! Крый пазуры!^[39] Цьотка Бандзюхова^[40] приветствует тебя!», и тогда Стефан Банах наклонялся к

Стасю Уляму и интересовался, кто эта полоумная, и Стась кивал головой, что да, так оно и есть, он не ошибся, это и в самом деле полоумная, которая пишет надгробные стишки и на этой почве рехнулась. Но нет, моя мама не была полоумной, она лишь любила подурачиться и шумливо демонстрировать свою причастность к богеме. Хотя богема так никогда и не приняла ее в свою среду, мама из-за этого не слишком страдала, она знала о каждом из них больше, чем его друзья, а порой больше, чем он сам, потому что умела анализировать и делать выводы, а этим божественным даром – анализировать и делать выводы, – скажу я вам, не каждый обладает, да что там не каждый – даже не один из ста тысяч, поэтому моя мама чувствовала себя среди всех них, как рыба в воде.



Даже по выходным Ярош вставал рано, едва начинал алеть горизонт и робкие розовые блики проникали в окна, форточка всегда была открыта, и утренняя прохлада приятно проникала в ноздри, выветривая остатки сна, и лишь пение птичек слегка нарушало тишину. В такие утренние часы ему нравилось работать за столом, обложившись книгами и бумагами. Собственно, это был не один стол, а три, стоявшие в ряд вдоль окон, на одном столе он писал что-то от руки, на втором печатал на компьютере, а третий был завален папками и книгами, из которых торчали бумажные закладки, под столами стояли коробки, забитые журналами, вырезками, всяческими заметками, в отдельной большой коробке валялись бумажки, обреченные на смерть, они были смяты или порваны в клочья, а когда коробка наполнялась, Ярош выносил ее в сад и сжигал, чтобы никому больше не попала на глаза его писанина, хотя однажды ветер подхватил листок, подбросил его вверх, поиграл им и, грациозно раскачивая, опустил на подворье соседей, Ярош замер, узнав в том листке черновик своего перевода с арканумского, текст был эротический и от имени парня, а поскольку там нигде не было указано, что это перевод литературного произведения, мог бы случиться величайший конфуз, если бы соседи прочитали его и решили, что сосед у них извращенец. Ярош поспешно прикрутил к жерди проволоку, просунул жердь сквозь металлическую сетку и, наколов бумагу, заполучил-таки ее. Занавеска в соседском окне качнулась, и Ярош, сняв с проволоки лист, помахал им в воздухе, словно извиняясь за свое вторжение. С тех пор он никогда не бросал в коробку несмятые бумаги. Но до того как усесться за стол, он шел завтракать, заваривал кофе, добавлял к нему молока, ложечку меда и выпивал с канапкой с сыром. Потом он мог выйти в сад, прогуляться среди деревьев, подобрать яблоко или грушу и тут же ее съесть, спугнув при этом сорок, любивших клевать яблоки, сад навевал ему особое медитативное настроение, большинство деревьев были старыми, посаженными еще до войны, в самом конце сада возвышался мощный разлапистый орех, который добрую половину своего урожая осыпал за забор, и там его подбирали ребяташки или прохожие, Ярош никогда ничего из того, что упало за забор, не подбирал, ведь ему хватало и того, что оставалось в саду, а прогуливаясь по саду, прислушивался, не слышны ли детские голоса, чтобы не спугнуть их, невзначай приблизившись к забору. Ранней пташкой была и его соседка пани Стефа, едва лишь светало, она уже появлялась на огороде и возилась у грядок, а завидев Яроша, сообщала что-нибудь из уличных новостей – например, о том, что «пан Коцюба вчера помер, потому что «скорая» приехала поздно, а у пани Поцилуйко козленок сломал ногу, и теперь его должны зарезать, а Крицкие отдают дочь замуж за негра, и мир,

наверное, катится в пропасть, потому что какими ж будут детки, хотя тот негр и разговаривает на украинском, и, слышите, вчера идет мне навстречу и говорит, Слава Йсу, а я – Слава Навеки – и рот разинула и стою столбом, только вслед ему смотрю, а нынче ночью пришел ко мне мой покойный муж, которого вы, может, помните, и погладил меня по голове и говорит, выкопай георгины, потому что будут заморозки, ну я и бросилась выкапывать, это ж он их когда-то посадил, и не простит мне, если они замерзнут». А еще пани Стефа ни с того ни с сего может спросить: «Вы бывали на Знесеньє^[41]? Нет? Ну так и не ходите туда, никогда не знаешь, что там тебя может ждать, я видела там людей, которые меня узнавали и здоровались, а я их не могла припомнить, а когда я оглядывалась на них, видела, что и они оглядываются, улыбаются мне и кивают приветливо головами, но я не решилась ни к одному из них подойти, даже когда услышала: как поживаете, пани Стефа».

Соседка натолкнула Яроша на мысль, что каждый львовянин может отыскать в своей жизни такую пани Стефу, а то и не одну, потому что в детстве пани стефами аж кишело в доме его родителей, ведь его отец был дантистом, и по средам, когда он был выходной и мог принимать пациентов на дому, у них всегда толпились люди. Папа держал в памяти всех своих пациентов, и когда приходила какая-то очередная тетка из села Тучного и сообщала, что ей посоветовала обратиться к пану дохтиру Марийка, которая вышла за Миська из Печихвостов, который на комбайне работает, то папа сразу понимал, о ком идет речь, потому что он не только Марийке зубы вставлял, но и тому Миську, ему их в соседнем селе в клубе выбили, когда он пришел к Марийке, а когда сестра Марийки привела своего свекра, то папа его просто огорошил, начав расспрашивать о больной женщине, которая оказалась на Кульпаркове, потому что вставала по ночам и бродила по селу в одной рубашке. Но были и такие пациенты, которые могли заглянуть в их дом в любое время, это была элита Замарстынова, сливки общества, бесспорным лидером среди которых была дворничиха пани Хомикова, толстая бабенка с толстыми руками и ногами, большими сиськами и таким голосом, что когда Господу понадобится трубный глас Судного дня, он, без всякого сомнения, первой воскресит именно пани Хомикову, потому что слышно ее было на всю улицу. Пан Хомик тоже был дворником, но мужчиной деликатным, худым и тихим, когда он перебирал в кнайпе, пани Хомикова шутя и играючи брала его под мышку и несла, как мешок картошки, но папа из мужской солидарности называл его не иначе, как пан директор, а саму пани Хомикову – пани директорша.

– Пан дохтир! – уже с улицы кричала Хомикова, ковыляя к их двору. – Слышали новость? Я должна переписать всех, кто не ходит на работу и кто сидит днем дома. На кой черт это нужно? В каждом доме есть и бабки, и дедки, которые на пенсии, так шо, я их переписывать должна? И зачем мне такая канитель? Вишь ты, хотят вычислить дармоедов. А шо тут вычислять? Я их и так всех знаю. Та я себе шо – враг, шобы людям свинство делать? У меня еще совесть есть. Еще не такое видела. При тех первых советах – или мне не говорили, шобы я переписала всех, кто украинские газеты получал? Но я отвечала, шо неграмотная. Вот деньги умею считать, а читать – не-а. Так откуда могу знать, кто читает польские, а кто украинские газеты, так ведь? Ну и забыли они об этих глупостях. А потом пришла немчура, говорили, шобы я всех коммуняк и жидов переписала. Ну, к коммунякам я не была добренькой, не-а, раз они поселились в тех домах, откуда людей в Сибирь повывозили, так пусть знают, шо на чужих костях плясать не будут. Как все уезжали, так могли ж и они чухать на восток, так нет же, пооставались, потому шо жалко было бросить такие люксовые квартиры с мебелью и пожитками. Но шобы жидов? Кого? Того Изю, который, как меня

встретит, все у меня из рук ведра с углем выхватывал и говорил: «Пани Хомикова! Я вам помогу, потому что вы женщина и вам не к лицу такое вот тащить!», или ту Хану, которая все мне какую-то шмотку дарила, потому что толстела быстрее меня? Или пана Кона, который жил прямехонько надо мной и говорил: «Пани Хомикова! Когда я на рассвете слышу ваш голос, то вроде бы я пол-литра крепкого кофе выпил и стал готов к тяжкому труду. Благодаря вам я на кофе экономлю, дай вам Бог здоровья, чтобы вы меня и от летаргического сна разбудили». А вы знаете, пан дохтир, что такое летаргический сон?.. Ага, так я и думала... Не то чтобы я жидов любила, не-а, а тех, наших жидов из Замарстынова любила. Ей-богу, любила. И что? Или я не забрала дочку Ханы к себе? Или не спрятала ее? Жила у меня, как у Христа за пазухой, кормила ее, стирала за ней, как за родной ухаживала, книжки ей носила, чтобы не скучала. А она уехала в Палестину и хоть бы мне панораму Иерусалима прислала! Или оливковую ветвь, чтобы я могла покропить ею моего Штефика, когда он пьяный явится. О – благодарность, так же? Я бы, может, за то время, что ее прятала, могла бы с десятков поросят выкормить! Шалаи, слышите, тоже жидов у себя прятали, так те им дали вот-такенный узелок с золотом. Так они дом себе новый выстроили, а их жида уехали, а теперь каждый год присылают на праздники открытки. Вот это порядочные люди, так же? Но ничо, я ни о чем не жалею, на том свете мне сторицей воздастся, на небе мне уже давно теплое местечко подготовлено. Ну, пан дохтир, налейте мне пять дека, а то что-то мне в груди холодно. А то ваша тминовка? Ой, хороша! Нет, колбасы не хочу, отрежьте сала кусочек. О, люкс. Я не знаю, как можно водку закусывать чем-то другим. Водка и хлеб с салом – я вам скажу, пусть меня Бог простит, наша троица. Ага, одна тама на небе, а вторая тут, на земле. Хлеб – Отец, сало – Сын, а водка – Дух Святой, прости меня Господи. А еще и лучок – Пречистая Дева. Ой, хороша! А нут-кось еще шкалик, и я пошла. Холодно сейчас, ветер такой, что я аж до костей промерзла.

Он действительно никогда не был на Знесень, хотя прочесал немало львовских закоулков, но слова пани Стефы врезались в его память, и однажды теплым августовским днем, когда солнце ослепительно пылало и контуры расплывались, отправился в путешествие, от Кривчиц до Знесень было недалеко, маленькие домишки не заслоняли солнца, и свет струился со всех сторон, Ярош был просто оглушен ярким хмелем света, ему приходилось щуриться, а чтобы рассмотреть что-нибудь повнимательнее, он прикладывал ладонь к глазам козырьком; была полуденная пора, все вокруг было погружено в дремоту, дремали в безветрии деревья, лежали, развалившись, коты и собаки, воробьи не чирикали, лишь кое-где лениво кудахтали куры, но очень вяло и коротко, и стрекотали кузнечики, в начале 1990-х еще не было слышно такого грозного и резкого грохота машин, львовские окраины купались в девственной тишине, погружившись в нее с головой, как в теплую ванну. Был полдень, и Ярош вспомнил стихотворение Ивана Франко «Берегитесь беса полуденного», который опаснее полуночного, потому что размаривает тебя и подчиняет себе, формируя видения, которые трудно отличить от реальных, вспомнилась и полудница, которая являлась крестьянам в полдень с серпом в руке и отсекала головы тем, кто работал в поле в этот час, полдень вселял страх, возможно, потому, что в полдень в жару замирала жизнь, солнце становилось опасным и коварным, было бы неплохо в такую пору подремать где-то в саду, но тут была другая проблема – полуденные сны навевали какие-то неприятные образы и кошмары. Проходя по узенькой улочке между неоштукатуренных домишек из бордового австрийского кирпича, Ярош увидел, как навстречу ему идут дедушка с внуком, держась за руки и о чем-то оживленно беседуя; дедушка был одет в белую рубашку и жилет, из кармашка

которого свисала серебряная цепочка часов, на голове черная шляпа, черные нагугалиненные усы торчали вверх, мальчик был в коротких штанишках на лямках и коричневых гольфах. Пара выглядела странно, такие типажи Ярош видел до сих пор только на старых фотографиях, ему даже показалось, что он переместился во времени, и он протер глаза; когда дедушка и внук приблизились, не обращая никакого внимания на встречного, Ярош едва сдержался, чтобы с ними не заговорить, почувствовав странную, ничем не подтвержденную уверенность, что он их знает, и очень хорошо знает, но не мог вспомнить откуда, а они прошли мимо, даже не взглянув на него; сделав еще несколько шагов, Ярош оглянулся и заметил, что мальчик сделал такое движение головой, будто мгновение назад тоже оглядывался, хотя это могло ему просто показаться, почему-то даже хотелось, чтобы мальчик оглянулся, тогда бы он решился-таки к ним подойти, и, возможно, они вместе вспомнили бы, где виделись. Из окна в домике высунулась голова женщины, и раздался голос: «Где же вы ходите? Обед на столе», и голос этот тоже казался знакомым, словно пробивался сквозь дебри снов; Ярошу вдруг очень захотелось стать тем маленьким мальчиком и вбежать с громким смехом в дом, неожиданно тоска по родителям, которые не так давно умерли, сдавила ему горло, даже слезы выступили на глазах, и стало жалко себя, как никогда, он резко прибавил шаг, повторяя «бес полуденный... это бес полуденный... это мираж, этого ничего нет, и этих домишек, и этой улочки», а через минуту свернул на другую улицу, с той – на третью и вышел прямо к трамвайной остановке.

В тот вечер, когда он рвал сливы в саду, пани Стефа обратилась к нему, почему-то шепотом:

– Были на Знесенье?.. Пойдите завтра к исповеди. Помогает.

И снова склонилась над своими цветами, будто ничего и не говорила.



У нашей бабушки тоже было занятие – она плакала, но нет, не так, как это делает каждый из нас, она исполняла художественный плач, и так, как голосила наша бабуля, не голосил никто, а слушая ее, и камень бы расплакался, если бы было чем. Даже тот, кто и не собирался плакать, тоже принимался рыдать и завывать, и руками всплескивать, бывало, что даже какой-нибудь дышащий злобой сосед, который с покойником разве что друг другу глаза не выцарапывали, тоже не мог сдержаться и начинал всхлипывать, плакать, а потом уже и причитать, и носом хлюпать, потому что бабушка, если уж плакала, то плакала не от своего имени, а от имени семьи, и не от всей семьи целиком, а от каждого по отдельности, мгновенно перевоплощаясь из безутешной вдовы в убитых горем братьев и сестер, напоследок голосила уже в образе дочерей и сыновей, внуков и внучек, а однажды, когда ее попросили, то и от имени любимой собачки, и так правдоподобно скулила, так выводила, что буквально все псы с окрестных улиц подхватили эти собачьи рыдания и принялись завывать на весь город, а прохожие, думая, что это сирена, в испуге бросались искать бомбоубежище, подземные клозеты и подвалы. Такое вот вытворяла наша бабушка, профессиональная плакальщица, поэтому ее наперебой заказывали на похороны, и бывали такие дни, что не успевала она выплакаться как следует на одних похоронах, как уже нужно было бежать на другие, поэтому не раз возникала путаница. Только начнет она рыдать за покойником, а тут выясняется, что это покойница, но ничего, наша бабуля всегда умела выкрутиться. А то пришел к нам как-то пан Апельцинер, хозяин галантерейной лавки, и заказал себе нашу бабушку на свои собственные похороны, бабушка удивилась, потому что пан Апельцинер, хозяин галантерейной лавки, был еще в полном здравии и курил дорогие сигары, но он объяснил, что хотел бы услышать, как бабушка будет его оплакивать, поэтому готов заплатить наперед, чтобы решить, стоит ли заказывать именно ее. А когда наша бабушка поинтересовалась, почему он не наймет себе в плакальщицы жидовку, чтобы она ему на идиш плакала, пан Апельцинер, хозяин галантерейной лавки, который курит дорогие сигары, ответил, что ему это до одного места, потому что идиш он все равно не понимает, и хотя он будет уже мертвым, душа его, наверное, хотела бы насладиться в последний раз плачем родных, близких и профессиональной плакальщицы. И бабушка исполнила его желание с таким вдохновением и азартом, с такой страстью, что пан Апельцинер, услышав, как бабушка рыдает в образе его жены, и сам зарыдал, а когда стали рыдать поочередно все его шесть дочерей, тут у него даже сопли потекли, а уж когда плач подхватили зятя в исполнении бабушки, тут он захлебнулся дымом дорогой сигары и плакал еще с полчаса после того, как бабушка плакать закончила, а потом заплатил деньги, вернулся домой, напился чаю с ромом, закурил дорогую сигару и умер, потому что так ему понравился тот плач, что он уже не в

состоянии был дожидаться своего последнего часа.

А еще у моей мамы был брат, священник, имевший приход в Замарстынове, звали его отец Мирослав, но я его называл просто «дядя». Слушать его проповеди собирались люди не только со всего Замарстынова, но и из Голосок, и из Подзамча, и даже из Брюховичей. В первых рядах обычно стояли одни батяры и жадно ловили каждое слово, давась от смеха, потому что очень любили дядю, называя отцом-батяром, а проповеди дядины были действительно незаурядные, люди после такой проповеди всю дорогу к дому обсуждали, что бы все это могло значить. Одна проповедь так запала мне в душу, что я выучил ее наизусть, как «Отче наш»:

– И что я вам нынче поведаю, миряне! – начал как-то в воскресенье отец Мирослав. – Я вам поведаю, что Бог – это высшая мудрость. Он все обдумал до мельчайших деталей, давая жизнь и мухам, и комарам, и бабочкам-однодневкам, и улиткам, и людям. А мы, неблагодарные, порой сетуем на то, что жизнь коротка, а кое-кому хотелось бы жить вечно. Но представим себе, что наши мечты сбылись – люди стали жить вечно. У каждого тогда были бы не только деды и бабки, но и прадеды и прабабки, даже прапрадеды и прапрабабки, и прапрапрадеды и прапрапрабабки. И представьте себе, что какая-нибудь девушка решила выйти за порядочного парня. А для этого она должна спросить разрешения у своей мамы, а ее мама – у своей мамы, а та – у своей и так до самой прапрапра... матери. А так как жили бы все они в разных селах и городах, то этот процесс затянулся бы на долгие годы. А теперь представим себе, что та самая старая прапрапрамать, которая от старости высохла, как щепка, и напоминает суковатую ветку, которую держат на подоконнике между вазонов, чтобы не забыть полить, эта старейшая согласилась с выбором ее прапраправнучки. И благая весть покатила назад к тому месту, откуда пришла, и снова летели бы за годом год, а невеста тем временем уже хорошенько состарилась, а парень в расстроенных чувствах нашел себе какую-то другую панну. Ну не горе ли это?

Второй мамин брат дядя Лёдзё был членом ОУН, и у него на поясе под блузой всегда болталось несколько гранат. Он грозился себя взорвать, если его выследит полиция. Мама заставляла его оставлять эти гранаты в прихожей на шкафу, а то еще чего доброго какая-нибудь взорвется. Дядя не возражал. Он усаживал меня к себе на колени и говорил:

– Вот подрастешь, и мы с тобой устроим атентат.

– А что это такое атентат?

– Покушение. Мы с тобой взорвем какого-нибудь польского министра.

– Зачем?

– Как это зачем? Потому что получим такой приказ. А приказ надо выполнять. Если меня вызовут к главному руководству и скажут: «Сегодня ты должен броситься с гранатами под скорый поезд номер 368 дробь 2, который будет на Подзамче в 19.30», а я только щелкну пальцами по мазепинке и, гаркнув «Слушаюсь!», тут же побегу на рельсы. И ни секунды не раздумывая, брошусь прямо под колеса. В глазах у меня будет гореть победный огонь, а с губ будет срываться «Не пора, не пора нам ляху, москалю служить!»

– Чему ты ребенка учишь? – кричала мама из кухни. – Хочешь, чтобы он в школе все это повторил?

– Нет-нет, – водил мне дядя пальцем вокруг носа. – Это страшная тайна. Смотри, никому не смей меня выдать, слышал? – Я кивал и чувствовал, как мое маленькое сердечко замирает от страха. – Ты сын героя и племянник героя, то есть мой. Поэтому должен готовить себя к героическим поступкам. Но никому – ни гу-гу.

И я готовился.

У дяди Мирослава, дяди Лёдзё и моей мамы было одно общее сокровище – дедушка Люцилий, их папочка. Его отец, а мой прадед, был учителем греческого и латыни и назвал сына Люцилием, но тот в отца не пошел и подался в армию, успев перед этим жениться и наклепать детей, на итальянском фронте его контузило, он вернулся домой, а через какое-то время стал погружаться в невероятно глубокую прострацию, замирая порой прямо посреди комнаты или за столом, хлебая суп. Тогда бабушка брала мухобойку и хлопала ею по столу, дедушка вздрагивал и тут же выныривал из этой прострации, словно из глубин морских, и говорил: «Вот так-то... а вы говорите...» с таким видом, будто он никуда и не погружался, а что-то нам рассказывал и только теперь завершил свой поучительный рассказ.

Хотя дедушка и имел хорошую пенсию за свои военные заслуги, но душа его рвалась к чему-то большему, и когда директор заповедника на Высоком Замке, тоже ветеран, предложил дедушке работать эхом, он с радостью согласился. Вся дедушкина работа состояла в том, чтобы, сидя в пещере, внимательно прислушиваться ко всем возгласам туристов и повторять концовки, туристам такая забава очень нравилась, и они порой кричали там по полдня, с каждым разом придумывая все более хитроумные словечки, концовки которых вгоняли барышень и дам в краску. «Кому не спится в ночь глухую!» – кричали туристы, а дедушка сразу подхватывал своим загробным голосом три последних буквы и с воодушевлением грохотал ими, медленно затихая. Батяры придумывали фразы и более остроумные, вроде «Из окон мухи попы сдували», а дедушка, проникновенно уловив тонкий подтекст, уже не какие-то буквы, а оба последних слова цеплял на язык и тянул их в глубь пещеры, как будто пленницу какую-то. Но с возрастом он стал сдавать, плохо слышал и уже не мог повторить точь-в-точь туристические возгласы, а поэтому начал импровизировать, получалось даже интереснее, но мало походило на правду. Туристы, заподозрив жульничество, стали рваться в пещеру, и спасало дедушку только то, что ни один из них дальше чем на три метра углубиться не мог, потому что, поскользнувшись на дедовом говнеце, плюхался посреди пещеры в эту кучу с таким отчаянным криком, что остальных туристов как ветром сдувало. Дедушку уволили. Теперь у нас в доме было свое эхо, потому что дедушка повторял за нами концовки каждого предложения, чем выводил маму из себя.

– Идите, принесите воды, – просила она дедушку.

–...воды, – повторял дедушка и не двигался с места.

– Шо вы мне повторяете?

–...торяете, – шамкал дедушка и не двигался с места.

– Да шо ж это такое, курча ляга македонская, – взрывалась мама, – что вы дурака валяете?

–...валяете, – кивал дедушка и не двигался с места.

– Вот не принесете воды, так фигу с маком получите, а не суп с клецками!

–...лёцками, – соглашался дедушка и не двигался с места.

– Все! – кричала мама, – мое терпение лопнуло, сама иду по воду!

–...воду, – радовался дедушка и только после этого хватал ведра и вылетал, как из катапульти.

Нашего дедушку знало полгорода, потому что, возвращаясь ночью из какой-нибудь кнайпы, он всегда оповещал об этом жителей Львова своим громким пением, которое мало напоминало пение, зато его трудно было отличить от рева крупного рогатого скота, а потому в редком доме не открывалось окно и не сыпались из него проклятия на его лысую голову.

Бабушка пыталась поутру стыдить дедушку, отчитывала долго и терпеливо, объясняя, как он позорит семью, но дедушка лишь молча кивал головой, а вечером исчезал из дома и оказывался там, где собиралась самая темная элита города – бродяги, батяры, пьяницы, разбойники и воры, одним словом – такой сброд, что с ним за один стол и садиться опасно, но наш дедушка среди этой шушеры чувствовал себя прекрасно, все пьянчужки относились к нему по-дружески, а так как его любили, то любя и подшучивали над ним, подсовывая в карманы пиджака презервативы, окурки дамских сигарет, папилютки, старые чулки, а однажды даже запихнули в карман большие розовые майталесы^[42], которые называли барханами, не говоря уже о том, что измазывали помадой манжеты и воротник и брызгали одеколоном. Словом, у бабушки было чем развлечься, когда она выворачивала эти карманы и охала над испачканными сорочками. Больше всего ее вывели из равновесия эти майталесы с зеленой заплатой в шагу, бабушка сначала продемонстрировала их всей семье, а потом вышла на галерею и стала размахивать ими, как флагом, оглашая двор своим непередаваемым высокопоэтическим плачем за упокой своей судьбы, которую так бесстыдно испоганил ее муж. Она подняла глаза к небу и, обращаясь к Господу, молила, чтобы он пришел к ней и прибрал ее к себе, потому что сил уже нет терпеть. «Я готова отправиться на тот свет в любую минуту, – вопила она ввысь, а соседки сочувственно кивали головами и утирали глаза платками, – ничто меня тут не держит. Да как подумаю, что станет с этим старым козлом, так будто громом меня поражает, и должна жить дальше, но уже ему назло!» Дедушка тем временем преспокойно себе завтракал, пряча в усах загадочную улыбку, которая, возможно, и могла бы подтверждать всю правдивость бабушкиных подозрений и быть неопровержимым доказательством его вины, если бы не преклонный дедушкин возраст. Он никогда не оправдывался, не защищался, а все бабушкины обвинения воспринимал как должное, потому что хотел, видимо, чтобы все его считали неисправимым повесой, а не старым маразматиком. Иногда дедушка возвращался не один, его приносили на рассвете на рядне добрые друзья и клали нам под порог, дедушка продолжал мирно храпеть, пока кто-нибудь не выходил на крыльцо, тогда бабушка набирала кружку холодной воды и выливали на дедушку, он подскакивал, фыркал и тряс головой, выкрикивая при этом команды: «Вперед! За мной! Бей врага! В штыки! Ни шагу назад!» Вторая кружка холодной воды окончательно приводила его в чувство, и он, уже облизываясь и причмокивая губами, интересовался, что у нас на завтрак, на что бабушка непременно сообщала, что есть ему придется дерьмо собачье в подливке бешамель.

Только когда дедушка умер, бабушка облегченно вздохнула, но перед этим, ясное дело, исполнила свой незабываемый плач, в котором, правда, ни слова не было о презервативах, помаде и трусах, а были такие причитания, что куда там Ярославне до нее.

– Боже, Боже, сколько я из-за него намучилась, и что я только в этих карманах не находила! – вздыхала она за поминальным столом в кругу семьи и соседей. – Вот только и отдохнула, когда его на войну забрали. Никогда не знала, куда он подевался, что делает, с кем шатается. Никогда ничего мне не говорил. Каждую ночь не была уверена, дождусь ли его хотя бы к утру или нет. Наконец-то все это закончилось, не придется мне больше переживать. Теперь я знаю, где он и что с ним все хорошо.

Потом все присутствующие пустились в воспоминания о дедушке, и я впервые услышал о его заводном характере, ведь на моей памяти он не был похож на гуляку, зато в молодые годы он тоже любил хлебнуть пивка не в порядочных кнайпах, а в зачуханных мордовнях^[43], в которых редко обходилось без приключений, потому что он отважно лез в любую драку и

успокаивался лишь тогда, когда выходил из нее с подбитым глазом, расквашенной губой, надорванным ухом или вырванным клоком чьих-то волос в кулаке, а свои гулянки дедушка пытался прикрыть тем, что ходит в читальню на репетиции спектакля, и однажды притащился уже под утро и на весь двор кричал:

– Дубрый день, любимые муи!

– Я те дам, любимые! – отвечала бабушка. – Ты сперва скажи, где шлялся всю ночь.

– Так я ж в читальне был. Вчера была репетиция, а тут пришла пулиция и всех нас накрыла, и мы просидели в кутузке, так-то вот!

– Ах ты брехло такое! А шоб ты провалился! А шоб тебе пусто было! А шоб у тебя все зубы повыпадали, а один остался, шоб он у тебя всю жизнь болел! Я те дам читальню, я те дам кутузку!

– А ей-богу, не сойти мне с этого места! Мы ж не виноваты, шо пришел, понимаешь, этот шпициль^[44], и еще шпагат^[45], и еще там несколько и забрали нас.

– А девок тоже вместе с вами забрали?

– Каких девок? Девок там не было. Да шо ты прицепилась? Я ж пошел прямо с работы, со стройки в читальню... ну и... вишь в какую историю попал.

– А Ирка шо? А Стефка шо? Они тоже на репетиции? Шоб больше мне ни ногой в читальню!

– Ну, знаешь, да как это можно – в читальню не ходить... Пуйди хоть раз со мной, во, так увидишь, шо ничего плохого там нет... тамочки во такая просветительская рубота у нас.

Воспоминания о «просветительской работе» неизменно вызывали дружный смех, особенно упоминание о том, как бабушка однажды утром впервые обнаружила на его манжете ядовито-красную помаду и устроила скандал, который надолго запомнился всем соседям. Возможно, что этот скандал и не был на ровном месте, и дедушка действительно сходил налево, а бабушка выбежала с той рубашкой на балкон и произнесла пламенную речь, в которой ругала на чем свет стоит не только своего мужа, но и кнайпу Ицика Спуха на Солнечной и самого припухшего Ицика Спуха в придачу, где порядочные мужчины попадают в лапы развратных шлюх и похотливых ветреных особ. Заинтригованные соседи повысовывались из окон, высыпали на галереи и балконы и слушали эту тираду с неослабевающим вниманием, в то время как дедушка мирно посапывал на супружеской постели. Но в какой-то момент до его сонного сознания донеслись слова и выражения, которые, без сомнения, принижали его мужское достоинство и честь, он сорвался с постели, бросился на балкон и схватил бабушку – тогда еще молодую – поперек, перегнул ее через перила так, что она замахала руками, как курица, пытающаяся взлететь, а ее большие круглые груди вывалились из блузки. Теперь она выкрикивала одно-единственное слово «Спасите!», а дедушка, удерживая ее левой рукой за шею, правой рукой отвешивал такие громкие шлепки по заднице, что они аж эхом катились.



То субботнее утро ничем особенным не отличалось – завтрак, прогулка в саду, монолог пани Стефы, на этот раз о ночном ветре, об осыпавшихся яблоках, о ветках, яростно хлеставших по окнам и не дававших заснуть, и о молитве к святому Антонию, которая усмиряет бурю. И Ярош вспомнил, что действительно слышал ночью шум ветра и шорох ветвей, в саду он обнаружил опавшие яблоки и стал их собирать, долго они не полежат, но из них можно выдавить сок. Занеся корзину с яблоками в подвал, отправился в магазин, где торговали итальянскими и немецкими продуктами, купил спагетти, пармиджано, томатный соус, прихватил несколько бутылок красного и белого вина. Убрал в доме и освободив стол в гостиной от книг, которые имели привычку захватывать в плен все более широкие территории, как кочевые завоеватели, и неожиданно появляться в самых необычных местах – например, в ванной, на лестнице, на подоконниках, – он вынул посуду, которой сам не пользовался, но которую когда-то идеально вымыла его бывшая любовница и упаковала в коробку, придирчиво осмотрел ее и расставил на столе. Непонятно почему он испытывал странное волнение, так, будто это не его сын, а он сам должен был впервые привести к себе девушку. Это чувство не покидало его весь день. Его отношения с сыном были далеко не идеальными, воспитывавшийся без отца, Марко сохранял некоторую дистанцию, в частности никогда не называл его папой, а когда нужно было обратиться, использовал такие слова, как «Слушай» или «Слышишь», каждый из них жил своей жизнью, и наведение мостов было скорее не внутренней потребностью, а соблюдением традиции, хотя ему и не хватало отношений более близких, когда можно было бы обнять сына или взъерошить ему волосы.

Наведя порядок, он присел у окна на диван и раскрыл нью-йоркское издание романа Томаса Пинчона «Gravity's Rainbow», который он читал уже месяц по несколько страниц в день, и это чтение всегда оказывало на него удивительно успокаивающее действие, позволяло отрешиться от внешнего мира, а многозначность английских слов и фраз вызывала лавину ассоциаций, которые роились в голове, как пчелы. Когда зазвонила мобилка, он вскочил как ошпаренный, звонил Марко – они уже подъезжали. Ярош вышел во двор, дорожка, ведущая к калитке, была усеяна полусгнившими сливами, осыпавшимися ночью, когда бушевал ветер, он живо схватил метлу и принялся их сметать. За этим занятием и застали его Марко с Данкой.

– Это ты специально для нас? – усмехнулся сын. – Совсем не обязательно, по мягкому даже приятнее ступать. Знакомить вас не буду, вы уже и без того знакомы.

За обедом они говорили о всяких вещах, которые их на самом деле мало интересовали, но были обязательными при таких встречах, постепенно лед таял, чему способствовало вино, и, наконец, девушка, слегка зарумянившись, осмелилась поинтересоваться, над чем сейчас работает профессор, и тогда Ярош рассказал о «Книге Смерти» и странных песнях с танцами.

– «Танго смерти»? – переспросила Данка. – Это интересно. Такое танго действительно было... Во время войны.

– Правда? – оживился Ярош. – А я и не слышал об этом.

– Это танго было создано в Яновском концлагере во время войны. Мне об этом рассказывала бабушка. Немцы обязали еврейских музыкантов создать оркестр и играть всякие мелодии приговоренным к расстрелу. Среди мелодий было и танго, которое называли «Танго смерти».

Ярош не скрывал своего удивления. Странно – как же он упустил это из виду?

– Так они сами это танго создали?

– Бабушка знала одного из музыкантов, училась с ним в консерватории. Он выжил, ему удалось сбежать. Так вот он рассказывал, что эту мелодию они сокомпановали, используя какую-то старую рукопись.

Ярош почувствовал, как у него сильнее забилося сердце, его охватило предчувствие новой сенсации, он напрягся, как борзая на охоте. Оказалось, что старый музыкант, возможно, до сих пор жив и обитает где-то на Клепарове. Во всяком случае, два года назад он был на похоронах Данкиной бабушки, значит, у родителей должен быть номер его телефона, и Данка обещала его раздобыть. Потом разговор переключился на антологию арканумской литературы, составлением которой занимается профессор, и девушка сказала, что и сама тоже кое-что перевела, только стесняется показывать.

– Нужно быть более уверенной в себе, – сказал Ярош, – для девушки это особенно важно. И не стесняться обращаться за консультацией. Я ведь правильно понимаю, что мне придется быть и вашим научным руководителем? Поэтому при случае с удовольствием посмотрю ваши переводы. Вы, очевидно, пользуетесь моим арканумско-английским словарем, но скоро я завершу работу над арканумско-украинским.

– Это было бы здорово. Конечно, я еще не настолько хорошо изучила арканумский язык, чтобы переводить с оригинала, поэтому перевожу с ваших английских подстрочников. Но это тоже сложно, потому что мало того, что английские слова многозначны, так еще и арканумские иероглифы имеют по несколько значений. Как вы считаете, я осилю арканумский?

– Почему бы и нет? Если разобраться, то это намного легче, чем изучать китайский или японский. В арканумском языке большинство иероглифов были фонограммами и означали слияние двух или трех согласных – пр, мн, вкр, пт ит. д., или отдельные согласные – всего 24. Гласных иероглифы не обозначали вообще.

– Так же, как и в египетском.

– Да. И так же, как в египетском, среди иероглифов имелись идеограммы – знаки, соответствующие отдельным словам и понятиям. Арканумцы комбинировали фонограммы и идеограммы по определенным правилам так, что преобладали фонограммы. Всего существовало триста наиболее употребительных арканумских иероглифов.

– Это вдвое меньше, чем у египтян.

– Но со временем у египтян, особенно в греко-римскую эпоху, количество иероглифов

увеличилось, а у арканумцев ничего не изменилось вплоть до упадка их государства. Кроме того, вы будете удивлены, как много есть совпадений с украинским языком. Практически каждое второе слово. Пта – птах^[46], ескле – скеля^[47], стрх – стриха^[48] и стрых^[49], дм – дым, ехта – хата...

– А как будет на арканумском «моя любимая»? – перебил Марко, явно скучавший в продолжение этого профессионального разговора.

– «Мэ элэлэ».

– Не вижу ничего общего.

– А слово «лэлэ»^[50] тебе известно?

– А еще бог любви Лель, – добавила Данка. – Ты не понимаешь, насколько увлекает погружение в древние языки.

– Ну, составление компьютерных программ тоже увлекает. Но поскольку я в вашем разговоре ничего не понимаю, надеюсь, вы не будете против, если я посмотрю хоть второй тайм, коль уж первый пропустил.

Марко пересел на кресло в углу и включил телевизор. Яроша футбол никогда не интересовал, а вот разговор со студенткой интересовал очень.

– Если у вас есть при себе флешка, я вам могу сбросить те файлы из моего словаря, которые уже обработаны, – сказал он и, когда Данка с радостью согласилась, добавил: – Перейдем в мой кабинет, чтобы не мешать Марку.

Марко улыбнулся и беззаботно махнул рукой. В кабинете, заваленном книгами, журналами, папками, вырезками и рукописями, царил, на первый взгляд, кавардак, но в этом кавардаке Ярош отлично ориентировался. Включив компьютер, он быстро перебрал файлы на флешку и вручил девушке, но на этом ее визит в святая святых не завершился, она не могла оторваться от книг, снимала одну за другой с полки, раскрывала и, не в силах сдержаться, восторженно вздыхала. Ярош знал, какое впечатление на интеллектуалов производит его библиотека, поэтому реакция Данки его не удивила, зато удивило другое – с каким пиететом она брала каждую книгу в руки, видно было, что книги эти знакомы ей по библиографии, но в научных библиотеках Львова их не было, поскольку издавались они за рубежом.

– Что вас подвигло изучать мертвый язык? – спросила она.

– Бессмертие. Ведь оно материализуется в словах, слово обладает магической силой. Господь творил мир с помощью слова. И когда я начинаю разговаривать на арканумском, во мне оживают тысячи арканумцев. Арканум не погиб, он воскрес и живет в тех, кто его изучает.

– Вас подвигло бессмертие, а меня подвигли вы.

Ярош улыбнулся, угадав сокровенное желание гостыи, ведь он никому не давал книг из своей библиотеки, и прежде всего это касалось барышень. Женщины к книгам относятся по-своему, зачастую как к взятым у подруги займы блузкам, туфлям или серьгам, барышни, с которыми у Яроша бывали романы, после окончания этих романов никогда не возвращали ему одолженных книг. Правда, те книги, которые он давал им займы, не представляли большой ценности, это была какая-нибудь беллетристика, так что особо жалеть было не о чем, а вот Данка относилась к совсем иному типу барышень – она интересовалась наукой и книгами, которые представляли интерес для считанных людей на этой планете. Было и еще одно существенное обстоятельство – у Яроша с Данкой не было романа. Поэтому одну книгу девушке удалось выудить, но Ярош на этот раз почувствовал, что должен сдаться, вырастить талантливую ученицу – это тоже дело ответственное, к тому же его покорило признание, что

именно благодаря ему она приобщилась к изучению арканумского языка.



В отличие от моих друзей, у меня не было ни малейшего желания учиться, точнее не так, я не хотел учиться в учебных заведениях, а предпочитал учиться сам, преимущественно на своих же ошибках, я двигался на ощупь, но уверенно, я любил углубляться в себя и если и видел для себя какое-то место работы, то это был маленький железнодорожный полустанок, где я мог бы жить и работать стрелочником, встречая поезда, которые никогда там не остановятся, но для которых время от времени нужно перевести стрелки, и были бы у меня кошечка и собачка, и одна курочка, которая каждый день несла бы мне яичко, и одна коза, вот и все, больше никого, и даже бумаги не нужно, я бы записывал свои мысли на песке, а зимой на снегу... Но Йоська учился в консерватории, играл на скрипке и бандуре. Странно, правда же? Жид, играющий на бандуре, все равно, что гуцул, который бренчит на балалайке. Но Йоськин отец, пан аптекарь, сказал, что его сын будет играть на бандуре, ну, и мама должна была выполнить его завещание, а пан аптекарь любил бандуру, так сильно любил, что из-за той бандуры и сам бы бандуристом стал, и хотя эта его мечта не сбылась, зато он погиб за Украину, что так на так и вышло. Сестре Йоськи Лии не так повезло, потому что она родилась, когда отца уже не было и он не мог оставить каких-либо распоряжений о ее будущей судьбе, но пани Голда решила, что девочка тоже будет учиться музыке, а когда у нее проявились еще и вокальные способности, отвела ее на прослушивание к профессору консерватории Яну Распу, и тот пообещал, что обязательно ею займется, когда она окончит школу. С тех пор пани Голда регулярно покупала для дочурки сырые яйца и каждое утро заставляла ее натошак выпивать яйцо, после этого Лия, прежде чем отправиться в школу, должна была распеваться, заливаясь соловьем на весь двор, в будние дни это никому не мешало, но по воскресеньям, когда многим хотелось поспать подольше, это пение действовало на нервы, и тогда из окон неслись брань и проклятия, но пани Голде на это было наплевать.

Однажды в пятницу я застал Йоську за тем, что он, сидя на полу, резал ножницами бумагу на одинаковые квадратики, я удивился, а он объяснил, что завтра суббота, и им не разрешается ничего в этот день делать, разве что загасить огонь, если в доме случится пожар, вот он и готовит бумагу для клозета.

– Йося, ты что, собираешься целый день срать? Зачем тебе столько бумаги? – удивился я.

– Так я ж не только для себя, но и для мамы, и для сестры, а завтра к нам еще придут две тетки и два дядьки, и дедушка Абелес.

Ну что тут скажешь – я сел рядом с Йоськой и помог ему резать бумагу для клозета. А скоро притащился дедушка Абелес с живой курицей под мышкой, снял сюртук и шляпу и вышел с курицей во двор, и тогда я впервые увидел, как курица становится кошерной:

дедушка взял ее обеими руками и начал резко болтать ею так, чтобы голова крутилась и крутилась, наливаясь кровью, а когда она стала уже красной, как помидор, дедушка вынул из кармана тесак, одним махом отсек курице голову и подождал, пока стечет вся кровь.

– Нам запрещено употреблять в пищу кровь, – пояснил Йоська, а я лишь сочувственно покачал головой, понимая, что Йоська вовек не полакомится такой вкуснятиной, как кишка, начиненная кровью и гречкой, не говоря уже о ветчине или сальтисоне.

Тут как раз пришла Лия и, увидев, чем мы занимаемся, рассмеялась:

– Что, Йосик? Нанял себе шабесгоя? Может, пусть он нам еще и клецки приготовит на завтра?

– Что такое шабесгой? – спросил я.

– Когда жид не может выполнить какую-то работу в субботу, он зовет на помощь не-жида, и такой помощник называется шабесгоем, – пояснила Лия. – Когда закончишь эту свою мудреную работу, поможешь мне лепить клецки?

– Я, кроме снеговика и хлебных шариков, еще ничего не лепил.

– Ничего, я тебя научу. Когда-нибудь еще спасибо мне скажешь.

Ну, и мы с Лией потом лепили клецки из картофеля и сыра, дед Абелес ошипывал курицу, а Йоськина мама месила тесто для сладкого пирога, в то время как бедный Йоська потел над наукой. Потому что Голда наняла для Йоськи учителя иврита, пана Каценеленбогена, который всегда, даже в разгар жаркого лета, носил черный сюртук и черную широкополую шляпу, из-под нее во все стороны свисали пейсы, а так как бедный Йоська, обучаясь ивриту, должен был иметь покрытую голову, пан Каценеленбоген приносил и для него шляпу, которая была явно великовата, поэтому из-под нее торчали не пейсы, которых у Йоськи не было, а папильотки мамы Голды, пот стекал по его лицу ручьями, и сам он к концу урока чуть не плакал, а мы заглядывали в окна и ждали, когда закончатся его мучения и мы пойдем играть в футбол. Иврит Йосе давался с трудом, да и вообще он не мог понять, зачем ему это нужно, если он хочет быть музыкантом, а не раввином, но мама Голда была непреклонна, полагая, что именно иврит является признаком интеллигентности, и кто знает, может, когда-нибудь ее сынок поедет-таки на землю предков. Вот мы и стали думать да гадать, как бы нам помочь нашему горемычному Йосе. И тут Вольфу пришло в голову проследить весь маршрут пана Каценеленбогена от его дома к Йоське, так мы и сделали, но ничего полезного для себя не заметили, разве что привычку учителя останавливаться перед будкой на Легионов и выпивать стакан лимонной газировки, но Яся это обстоятельство весьма заинтересовало, и, воскликнув: «Эврика!», он напомнил нам, что в той будке торгует пан Рубцак, которого он хорошо знает, ведь он живет с ним по соседству и не раз помогал ему после школы, и было бы просто замечательно навестить его именно тогда, когда там будет проходить Йоськин мучитель, и подсыпать ему в газировку пургена.

Можете даже не сомневаться, что эта идея нам ужасно понравилась, мы купили в аптеке порошки, и Ясь отправился в будку к пану Рубцаку, а мы наблюдали издали. И вот показался пан Каценеленбоген в черной шляпе и со второй такой же под мышкой, да еще опираясь на зонтик, с которым никогда не расставался, какая бы жара не стояла, и остановился по привычке возле будки, шляпу положил на прилавок, зонт нацепил себе на локоть и попросил стакан шипучки с лимонным сиропом, тут же подбежали и мы и наперебой затараторили пану Рубцаку, чтобы он дал нам по мороженому, да поскорее, а то мы в школу опоздаем, и пан Рубцак кивнул Ясю, чтобы тот налил воду, и стал накладывать для нас в бумажные стаканчики мороженое, а я сказал пану учителю, что у него сзади на сюртуке белое перышко,

пошутив, что за паном учителем, наверное, бегают какая-то блондинка, а так как блондинки среди жидовок большая редкость, пан учитель переполошился, стал обследовать свой сюртук и, ухватив пальцами несчастную блондинку, то есть перышко, скомкал его и с отвращением бросил себе под ноги да еще и растоптал, между тем ему уже налили лимонную шипучку, поверх которой прыгали желтые брызги, играя радугой на солнце, и пан Каценеленбоген с наслаждением смаковал шипучку, любуясь солнечным днем, потом вытащил из кармана цветастый платок размером со скатерть, второй конец которого, пока он вытирал губы, все еще оставался в кармане сюртука, взял под мышку шляпу и пошагал дальше, помахивая зонтиком. Мы шли поодаль, слизывая мороженое, скоро и Ясь к нам присоединился, а потом мы притаились на галерее за окнами Йоськи и видели, как пан Каценеленбоген напялил на голову Йоськи шляпу, в которой голова его тут же утонула вместе с ушами, но мама Голда подперла шляпу папильотками, и мы снова увидели печальные Йоськины глаза, губы его скривились, будто он собирался заплакать. Пан Каценеленбоген зачитывал из учебника какие-то таинственные слова, а Йоська повторял, так продолжалось, может, минут десять, как вдруг учитель выпрямился в кресле, завертел головой по сторонам, как петух на болотной кочке, потом снял шляпу, затем сорвал с себя сюртук и вылетел из комнаты в коридор, где был общий на несколько квартир клозет. Но попасть ему внутрь не удалось, потому что клозет был занят, там сидел Вольф и на отчаянные вопли пана учителя отвечал красноречивым стоном, издавая при этом еще и соответствующие звуки, для исполнения которых с большим искусством он тренировался чуть ли не полдня. Пан Каценеленбоген уже держался за живот, отплясывая «тумбалалайку», а из губ его вырывалось шипение, когда в коридор выбежала мама Голда и поинтересовалась, что же произошло с паном учителем, а когда узнала, какая неприятность с ним случилась, постучала в дверь клозета, но услышала лишь тот же стон и неприличное *perdissimo*, тогда она бросилась назад в дом, вынесла горшок и предложила пану учителю справить нужду в горшок, пан учитель замахал руками и прошипел, что в коридоре делать такие вещи неприлично, но пани Голда обещала, что постоит на лестнице, чтобы пана учителя никто не застал в такой неприятной ситуации, тогда пан Каценеленбоген быстренько снял с плеч ляжки и стал расстегивать пуговицу за пуговицей, петельку за петелькой, но не так быстро, как хотелось бы, и через мгновение мы услышали громкий грохот, напоминающий обвал в горах, а вместе с грохотом раздался крик отчаяния и одновременно облегчения, на этот грохот пани Голда вынырнула с лестницы и быстренько закрыла нос, а пан учитель стоял со штанами в руках и плакал, то ли от счастья, то ли от горя, когда же дверь клозета открылась и оттуда выскочил Вольф, задыхаясь от смеха и запаха, пани Голда разразилась такой отборной бранью на идише, что даже мы поняли ее и дали деру.

О том, что происходило дальше, поведал нам Йоська. Так вот, пани Голда вынуждена была раздеть учителя, нагреть выварку воды и выкупать его в лоханке, а потом еще и постирать его штаны и подштанники вместе с двумя сорочками, не говоря уже о чулках с подвязками, и даже туфли. Пан учитель был убит морально, догадавшись, какую свинью подложили ему чертовы детишки, он сидел на диване, завернувшись в простыню, и бормотал себе под нос какие-то мудрености, слезы текли по его лицу и печаль грызла душу, а пани Голда проклинала нас на чем свет стоит, и пуще всех Вольфа, а особенно когда заметила, что мы подглядываем за тем, как она развешивает на веревке подштанники пана учителя, который теперь уже будто воды в рот набрал, а на все реплики хозяйки отвечал лишь «угу» или «у-у». А потом пани Голда схватила веник и стала гонять Йоську по дому, хотя тот ни

сном ни духом не ведал и даже не догадывался о нашей операции, и мамаша, увидев, что он прячется от нее и отбивается изо всех сил, в то время как во всех других случаях, когда был виноват, покорно принимал наказание, в конце концов поверила в его непричастность и отправила встретить Лию из музыкальной школы, чтобы та переждала до вечера у тетки, пока сорочки и подштанники пана учителя высохнут и он сможет избавиться от постылой простыни.

С тех пор Йоська больше иврит не учил, пан Каценеленбоген десятой дорогой обходил будку пана Рубцака, а пан Рубцак диву давался, отчего это пан учитель внезапно разлюбил лимонную шипучку. После того случая Йоська долго не виделся с паном Каценеленбогеном, а когда встретил его в 1940-м уже при советах, то вежливо поздоровался и попытался извиниться за тот досадный случай, но пан Каценеленбоген похлопал его по плечу и сказал с грустью в глазах:

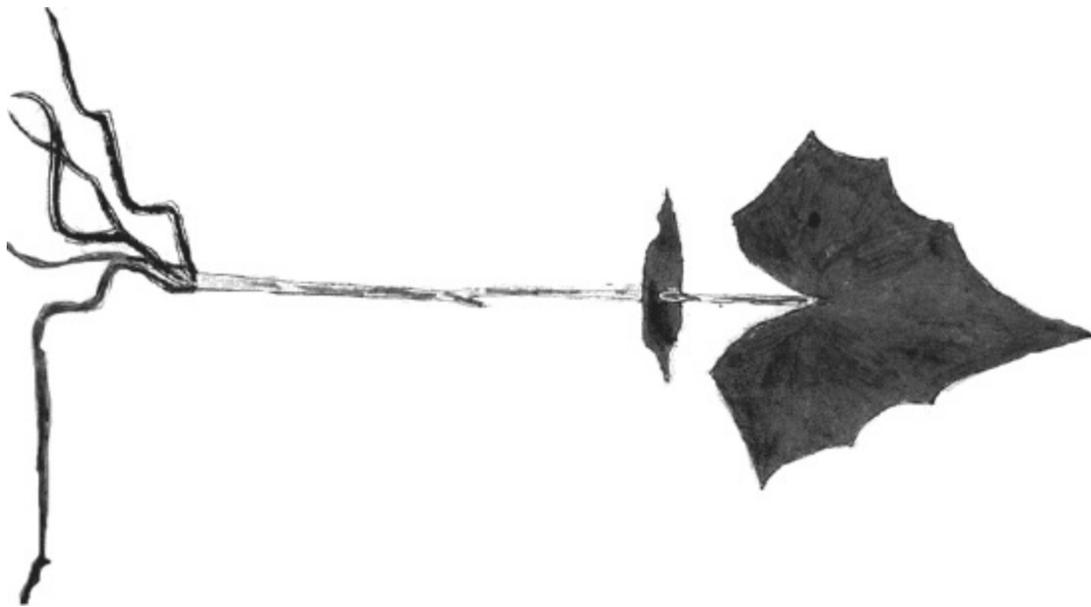
– Ничего, ничего, скоро наступит такое время, что ты будешь завидовать тем, кто умер, а еще больше тем, кто не родился.

И когда Йоська рассказал нам это, мы никак не могли понять, что имел в виду пан учитель, и только в начале июля 1941-го открылись у нас глаза, потому что мы увидели пана учителя среди тех жидов, которые выносили трупы из тюрьмы на Лонцкого, трупы, которые уже смердели и зловоние било в ноздри, трупы людей, которых советы расстреляли во всех тюрьмах Украины, отступая перед немцами, и были трупы молодых девушек, изнасилованных и истерзанных, и были там трупы молодых семинаристов в жутких синяках, и жида плакали, неся их, и не воротили нос, как все те люди, которые стояли в сторонке и прижимали к носам платки, чтобы не вдыхать смрад, а позже пан Каценеленбоген ползал по тротуару перед оперным театром и драил его зубной щеткой, и рядом с ним ползали другие жида и тоже чистили тротуар, и были там учитель математики Лео Фельд, и музыкант Гершель Штраусс, и хозяин мануфактурной лавки Якуб Икер, и даже заядлый картежник Ицик Кон, который не вписывался в такую уважаемую компанию, а неподалеку стояли эсэсовцы и смеялись, и смеялась толпа, поглядывая на немцев, чтобы не пропустить очередного взрыва смеха и вовремя подхватить его, потому что смех этот сближал их, возвышал их над этим жидовским отродьем, над этой сволочью, которая когда-то была такой гонористой, а теперь ползает по земле в своих костюмах, в рубашках и галстуках, этот смех делал их равными с храбрыми готами и давал индульгенцию на выживание, потому что если ты не смеялся, то сразу оказывался по ту сторону, среди этих черных клопов с пейсами и без, и не место тебе было среди представителей цивилизованной Европы. И я увидел, как у пана Каценеленбогена катятся слезы по впалым щекам, а он макает в них щеточку и моет ими тротуар, плитку за плиткой, и манжеты у него уже испачкались, и колени, а кто-то из толпы пнул его сзади, и пан учитель упал на тротуар животом, очки у него слетели, и он пытался нащупать их, и тут мне стало так противно на душе, так больно от того, что мы ему подстроили когда-то такую пакость, несчастному одинокому человеку, который не делал ничего плохого, лишь выполнял свой учительский долг, я не удержался, наклонился и подал ему очки, а толпа возмущенно заулюлюкала, кто-то меня толкнул, и я отлетел к стене, а эсэсовец поманил меня к себе пальцем и поинтересовался, не жид ли я, сразу нашлись советчики, которые готовы были стянуть с меня штаны и убедиться, что я не жид, но тут выскочила из толпы наша сторожиха и завопила:

– Да уймись вы уже! Это ж Леся Барбарыки сын! Та шо ж вы за люди! Я его с малых лет знаю!

Кто-то перевел эсэсовцу слова сторожихи, тот улыбнулся, кивнул и махнул мне рукой, мол, ты свободен, и я пошел, с образом бедного учителя перед глазами и всех остальных, что ползали, и даже картежника Ицика. А в последний раз я видел пана Каценеленбогена в аптеке, жидам лекарства продавать запретили, но учитель этого распоряжения еще не слышал и просил сердечные капли, аптекарь не знал, что же ответить, чтобы не обидеть учителя, в конце концов сказал, что капель в этот раз не завезли, и учитель вышел и направился в другую аптеку, я догнал его и объяснил, что он уже нигде не сможет купить лекарств и что я ему охотно их куплю, он удивился, но согласился, и когда я ему протянул эти лекарства и отказался брать у него деньги, он спросил, кто я, но я не признался, что у меня на душе грех за него, и не признался, что дружу с Йоськой, потому что тогда он догадался бы, с кем имеет дело, я только улыбнулся и пошутил:

– Добрый самаритянин.



Выйдя от отца, Марко обнял Данку за талию и спросил:

– Ну, как тебе мой старик?

– Не такой уж он и старик. Между прочим, я заметила, что ты ни разу не обратился к нему «папа».

– Я рос без него. Это понятно.

– Ты на него в обиде?

– Нет. Я ведь знаю, как это все произошло... Его постоянно долбали, моя мама и бабушка... Они не видели никакого смысла в его интересе к науке и требовали заняться репетиторством, которое приносило бы реальные заработки. В конце концов это его достало, и он ушел.

– Ты так и не назовешь его папой?

– Не знаю. Мне с трудом дается обращаться к нему на «ты».

Они сели в машину, и Марко нажал на газ.

– Может, еще в центр заедем, выпьем шампанского?

– С меня хватит. Я уже выпила вина. Отвези меня домой, – сказала она сухо, наблюдая, как сизая поволока вечера начинает опускаться на улицу.

– Да ведь рано еще.

– Ну и что?

– Ничего. Тогда, может, остановимся где-нибудь в укромном местечке.

– Зачем? – сказала она таким холодным тоном, что он удивленно посмотрел на нее, а потом положил руку на ее бедро и засмеялся:

– За тем самым.

Но Данка сбросила его руку:

– Ты бы лучше руль держал, а не мою ногу.

– Что с тобой? Неужели тебе не хочется?

– В машине не хочется.

– А мы что, впервые делаем это в машине?

Она не ответила, смотрела перед собой и что-то обдумывала, а когда они проезжали

мимо церкви Петра и Павла, перекрестилась, и губы ее шевельнулись.

– Ты что-то сказала?

– Нет.

– Ты разговариваешь сама с собой?

– Я часто это делаю. Странно, что ты заметил это только сейчас, – сказала она, а через мгновение уже была мыслями где-то совсем далеко. Возле Кукольного театра едва сдержала себя, чтобы не попросить остановить машину и не выйти, чтобы пойти куда-нибудь в тихие узкие улочки, продолжая разговаривать сама с собой, но вспомнила, что у нее в сумке слишком большая ценность – книга, в которую она погрузится с головой уже этим вечером, о которой мечтала, и ее рука невольно ощупала сумку, будто проверяя, на месте ли книга.



Вольф учился на медицинском у самого профессора Вайгля^[51], Ясь – изучал в университете философию. Ну, а я был как в той сказке: три брата умные, а четвертый так себе. Хотя мои друзья меня за дурака не держали, моя мама постоянно мучилась этой проблемой, никак не могла для себя решить: то ли сын у нее тупица и больной на голову, то ли гений, ведь гении, как известно, тоже большей частью слегка пришибленные, я лично склонялся к тому, что я все же гений, ибо ничто так меня не распирало, как гениальные идеи, которые просто так требовали, чтобы я записал их для вечности, чтобы грядущие поколения, благодаря мне, могли совершенствоваться. А так как моя мама уже прочно заняла свое место в литературном мире, то и я решил не отставать и, купив большую толстую тетрадь, разлинованную для расчетов, написал на ее обложке «Размышления и фантазии. Том первый», такие тетради я видел на прилавках магазинов, и лавочники вписывали в них всякую всячину, типа «Пан Дупик взял в долг кильомняса» или «Смельницы скниловской – чтыри мешка муки ржаной», лет через пятьсот такие тетради стали бы бесценным сокровищем, жаль, что глупые лавочники этого не понимают, так разве можно усомниться в бесценности моих «Размышлений и фантазий»? Хотя, если честно, я завел эту тетрадь не столько для себя, сколько для мамы, чтобы она не пыталась запихнуть меня куда-нибудь на работу, тетрадь была замечательной отмазкой, она всегда лежала передо мной на столе, а ручкой я ковырял в ухе, чесал лоб и пытался разродиться каким-нибудь размышлением или дохленькой фантазией, в особые минуты вдохновения мне удавалось нацарапать даже целую страницу. Я никогда не сомневался, что когда-нибудь это станет эпохальным произведением, потому что эпохальное произведение – это то, которое возвышается над эпохой, а точнее – вообще кладет на эпоху, она ему до задницы, срать оно на нее хотело, вот что такое эпохальное произведение, и поэтому я всегда носил при себе блокнот и записывал в него свои эпохальные мысли, которые пенились и вырывались из меня, как топленое молоко, и когда уже невозможно было сдержать их никакой крышкой, я записывал их на скорую руку, чтобы потом в сакральной домашней тишине, обмусолив каждую такую мысль, как конфету на языке, вписать в тетрадь и таким образом запечатлеть на веки вечные. Поэтому и не удивительно, что я страх как не любил, когда моя матушка выводила меня из трансцендентного состояния, она не раз, бывало, пыталась вывести, что же я там такого пописываю в сакральной тишине, и тихонько, на цыпочках подкрадывалась сзади, чтобы заглянуть через плечо и познать непознанное, постичь непостижимое, понять непонятое, а так как ее при этом всегда выдавало тяжелое посапывание, я гасил ее порывы взрывом праведного возмущения, она терялась в своей простоте и вообще забывала, зачем подкрадывалась.

– Мама, – говорил я, – неужели вам больше делать нечего? Вы что, уже вымели пыль из-под буфета? Мне кажется, что там уже формируется пылевой шар, готовый взорваться в любой момент. Или вы уже испекли ореховый пляцек с пряностями, который мне обещали еще на прошлой неделе? Или уже перебросились парой слов с соседкой, у которой дохлая кошка ожила и, выбравшись из могилы, как Лазарь, вернулась домой? А может, вы уже завершили работу над стишком на могиле пана Цуцыкевича? И нашли челюсть нашего дедушки, которую он забыл в кафе пана Дзембы? У вас должна голова раскалываться от ваших проблем, а вы подкрадываетесь ко мне, как лисица в курятник!

– Это я лисица? – возмутилась мама. – Это я – в курятник? Я тебе варю, пеку, стираю, глажу, а ты! Дармоед! Какое счастье, что твой отец не видит этого позора! А он так хотел, чтобы сын его стал че-ло-ве-ком!

С тех пор я стал запираюсь в своей комнате и часто лежал на кровати, погружаясь в размышления и фантазии, по крайней мере, потолок я изучил досконально, чего не скажешь об учебниках, которые валялись у меня под кроватью. Потом я записал: «Даже гений нуждается в обществе. Даже гений может изменять своей жене. Даже гений сам стирает свои носки». Упоминание о носках, которые всегда стирала моя мама, вызвало ассоциации с другими деталями гардероба, и следующая моя мысль была такой: «То, что кто-то носит трусы, не означает, что он попадет в рай раньше того, кто их не носит». Думаю, каждый в своей жизни мог назвать кого-то, кто не носил трусов, я знал, по крайней мере, четырех таких. Это была старая пришибленная пани Скоробецкая, которая еще в 1894 году прославилась тем, что задрала юбку и показала голую задницу первому львовскому трамваю, который трюхал на Лычаков. С тех пор мало что изменилось, потому что пани Скоробецкая, хоть и сгорбилась и усохла вся, но голая ее задница продолжала оставаться последним аргументом в любом споре. Второй и третьей особами без трусов были две торговки на Рынке, которые продемонстрировали свои голые задницы друг дружке, как последний весомый аргумент в затянувшемся споре, свидетелем этой исторической сцены был не только я, а еще целая куча народа, так что это знаменательное событие не преминуло даже в газеты попасть, а четвертой особой без трусов была Лия, она с детства не носила трусиков, хотя и была ужасной чистюлей и, направляясь в клозет, всегда прихватывала с собой тазик с теплой водой, чтобы сразу и помыться. Об этом мы знали от Йоськи, но я и сам когда-то в этом убедился, когда мы играли в прятки, Лии было тогда одиннадцать лет, а мне четырнадцать, глаза у нее были, как два уголька, полные вишневые губы имели такой вид, словно она только что выпила кварту крови, и вот в густых кустах бузины, где мы с ней спрятались, Лия села на траву, согнув перед собой колени и обхватив их руками, а я лег на живот, мы оба притаились и не разговаривали, и тут я увидел между опущенным краем ее платица и травой голую попку с укромной щелочкой, которая напоминала улыбку и которой до сих пор мне видеть не приходилось, маленькие реденькие волоски едва только начинали курчавиться вокруг лона, я не мог отвести глаз и замер, затаив дыхание, и тут край платя подтянулся вверх, обнажив еще больше тот удивительной красоты пейзаж, к которому невольно потянулась моя рука и накрыла его ладонью, словно оберегая от всех несчастий мира, и ладонь чувствовала все нарастающее тепло, которым горело лоно, и это тепло двигалось по руке вверх, перешло на мою грудь, и я почувствовал уже такой адский жар за грудиной, что даже отшатнулся, а Лия, как ни в чем не бывало, опустила край платя и сказала: «Пора вылезать. Они нас тут никогда не найдут». С тех пор нас стала объединять какая-то невидимая тоненькая ниточка чувств, еще не сформировавшихся и до конца не

осознанных, но когда я, так же как и все мои ровесники, время от времени погружался в детский грех, то вызывал в своем воображении именно лоно Лии, и тогда тепло снова проникало в мою руку и поднималось к груди, да и было от чего, потому что с годами Лия становилась все краше и краше, уже подростком она была хорошенькая, как куколка, черные кудри обрамляли ее головку, а в глазах появился манящий блеск и на щеках румянец, к тому же у нее налились груди, каждая из которых уже не поместилась бы в ладони, а потом округлились бедра, и попка стала такой выпуклой, что я вынужден был отводить глаза в сторону. Довольно долго мы не имели возможности уединиться, но всегда, когда мы оказывались рядом, я касался мизинцем ее ладони, и она отвечала таким же едва заметным прикосновением, от которого меня пронизывал теплый ток, заставляя сердце биться быстрее, иногда удавалось поймать ее мизинец и подержать несколько минут под столом, чувствуя, как на мое поглаживание она всякий раз отвечает своими тоненькими пальчиками, ни единым движением головы или голосом не выдавая себя, и такая сокровенность влекла меня еще сильнее, заставляла лишь тем и заниматься, что искать случая для прикосновений. Но когда ей исполнилось шестнадцать, нам уже не нужно было прятаться, я встречал ее из гимназии и провожал до дома, а по дороге мы прогуливались в Иезуитском парке или на Высоком Замке, держась за руки, и я долго еще, долго не мог осмелиться поцеловать ее, очевидно, когда я был младше, я был смелее, кто знает, как долго бы это продолжалось, если бы однажды, когда мы сидели на лавочке на Высоком Замке, а вокруг не было живой души, кроме белок, Лия не привлекла мою голову к себе и не поцеловала, тогда уж и я припал губами к ее губам, и хотя делали мы это впервые и сильно облизывали друг друга, нам обоим понравилось, и я даже расхрабрился и положил руку на ее колено, а она накрыла ее своей рукой, и мы сидели так, прижавшись друг к другу, и молчали, я не знал, что сказать, у меня будто язык отнялся.

К Ясю и Вольфу девчонки слетались как мухи на мед, да такие красотки – глаз не отвести, я же не мог отвести глаз от Лии, а вот у Йоськи на любовном фронте были проблемы – маленький, худенький, лопоухий очкарик, ему нравилась Рута, которая училась с ним в консерватории, но это была девушка с гонором, выше Йоськи, я даже не могу сказать, чего ей нужно было, может, рыцаря на белом коне, но окружали ее обычные ребята, а она обычного не хотела. Рута была выкрещенной, даже украинизированной жидовкой, а ее отец работал в украинском журнале и писал статьи на исторические темы, в которых искренне переживал за наш бедный, несчастный, задрипанный народ. Мы решили помочь своему товарищу, собрались как-то в кнайпе, и я сказал:

– Йоська, ты же знаешь, мы твои друзья до гроба и мы готовы ради тебя на любые жертвы. – Йоська грустно кивнул. – Тогда делаем вот что. Подойдешь завтра к Руте, скажешь, что должен сообщить ей кое-что важное, и пригласишь ее в Иезуитский парк. Пойдете на шпацирбанг^[52]. По дороге мели языком о чем угодно, а когда окажетесь в парке, к вам пристанут трое батяров. Руту попытаются обнять, а тебя будут держать за руки. Но ты вырвешься и раскидаешь их, как пушинки.

Йоська от удивления заморгал глазами и разинул рот, да так с раскрытым ртом и обвел нас взглядом.

– Я? Вот этими руками? – Он выставил вперед свои худые бледные ладони с длинными пальцами.

– Не бойся. Теми батярами будем мы.

– Вы? – не верил он своим ушам.

– Да, мы. Чего ты удивляешься? Только нужно пару раз отрепетировать, чтобы все прошло гладко.

– Но... но... – потер лоб Йоська. – Разве это будет по-рыцарски?

– Йося, – положил ему руку на плечо Вольф. – Раскрой глаза! При встрече со львом лучше всего и самому быть львом. Но с женщиной всегда нужно быть лисом.

Нам в конце концов удалось его убедить, после нескольких проб и попыток Йоська вполне неплохо справлялся, а один раз так вошел в роль, что разбил мне губу. Когда я посмотрел в зеркало, расквашенная губа, на которой блестела капелька крови, подбросила мне очень удачную идею.

– Йоська, – сказал я, – ты должен прихватить с собой спелую вишенку, и когда будешь с нами мутузиться, бросишь ее незаметно себе в рот и раскусишь так, чтобы сок у тебя изо рта вытек, а косточку выплюнешь.

– А это зачем? – не понял Йоська.

– Ну ты и умный! Как Берковы штаны навыворот. Да чтоб на кровь было похоже. Рута, как увидит это, сразу вынет платок и станет тебя вытирать. Представляешь, какой у тебя будет героический вид?

– Сила! – обрадовался Йоська. – А чего ж только одну вишню? Я целую горсть возьму!

– Сдурел? – воскликнул Вольф. – Если выпустишь из себя столько вишневого сока, она может догадаться, что это не кровь.

– И где гарантия, что вместе с соком не вылезет у тебя изо рта вишневая кожура? – справедливо заметил Ясь. – Она еще подумает, что ты себе кусок языка откусил. Это должна быть тоненькая красная ниточка.

На следующий день мы притаились в кустах жасмина, был полдень, солнце припекало, и в парке, где в утренние часы бывало полно няnek с колясками и пенсионеров, сейчас было безлюдно. Ждать пришлось недолго, когда мы увидели Йоську с Рутой, он оживленно тараторил, размахивая руками, как ветряная мельница, но Рута слушала его невнимательно, озираясь по сторонам и любуясь птичками и цветочками, потому что это была девушка, знающая цену словам и цену красотам природы. Мы надвинули низко на лоб фуражки, а лица повязали платками и неожиданно выскочили на дорожку.

– Стоять! – рявкнул Ясь и – Руте: – А ну, гони сумочку!

Мы тем временем подскочили к Йоське и схватили его за руки, но он ловко вывернулся и пнул меня в колено. А чтоб тебе пес яйца лизал! Мы так не договаривались! Я просто зашипел от боли и увидел, как Рута хряснула Яся сумочкой по голове, а в сумочке были, видимо, очень умные книги, потому что Ясь тоже скрутился от боли. Йоська с Вольфом повалились в кусты, как и было спланировано, там Вольф громко заойкал и, делая вид, что с трудом вырвался от Йоськи, взял ноги в руки и бросился наутек, мы за ним, я прихрамывая, а Ясь держась за голову, из уха у него сочилась кровь. Когда мы отбежали на приличное расстояние и изучили свои раны, то оказалось, что нам здорово досталось, Рута ударила Яся так ловко, что надорвала ему ухо, у меня было рассечено колено, а у Вольфа из носу ручьем текло.

– А чтоб тебе пусто было! – вздыхал Ясь, к – – Да эта девка сама кому хочешь наkostenяляет.

– Ну, Йоська! Ну, свинтус! – качал я головой. – Вместо летних туфель надел ботинки. Ты представляешь? Ботинки надел! На толстой подошве! Как заехал мне по шарам, у меня просто искры из глаз посыпались. Разве ж мы так договаривались?

– А мы с ним должны были только в кустах побарахтаться и баста, – ворчал Вольф. – А он меня какого-то лешего как врежет кулаком в нос! А потом как даст по хребту! Этим своим кулачишкой! Этими своими тонюсенькими пальчонками! И кто бы мог подумать, что он на такое способен? Вот это кампа^[53]!

Вечером мы ждали Йоську в условленном месте в кнайпе Циммермана на углу Яневской и Клепаровской, на столе перед нами стояли полные кружки пива, кваргли^[54], соленые огурцы, хлеб и мисочка со шкварками. Йоська явился цветущий, сияющий и был очень удивлен, увидев наши мрачные мины. Когда же мы ему высказали свои претензии относительно его недостойного поведения, он стал оправдываться тем, что слишком вошел в роль, увлекся, а кроме того, все должно было выглядеть как можно правдоподобнее, вот он и старался как мог, и старания его окупились сторицей, потому что Рута не только утерла ему губ «кровь», но и чмокнула. Йоська был на седьмом небе от счастья, а когда он сказал, чтобы мы себе заказывали все, что нам захочется, а он оплатит, мы, в конце концов, оттаяли, хотя и пожалели, что выбрали такую дешевую кнайпу, а не пошли в «Рому».

Теперь у каждого была своя девушка, и мы уже четырьмя парами отправлялись на прогулки, часто забирались на Кортумову гору и устраивали там пикники, любуясь городом с высоты, а там, в долине, на жаровнях лета наливались соками сады.

– Смотри, – говорил я Лии, – вон твой дом.

– Ага, и пани Гея выбивает ковер, – улыбалась она.

– Да ладно! Ты не можешь этого наблюдать, ведь отсюда не видно.

– Слепушка! Я даже слышу, как эхо раздается от этих хлопков. Вот! Послушай!

Я прислушался, но различил только пение птиц и шелест листвы.

– А вон там в саду загорает Анелька, – подхватывал Ясь.

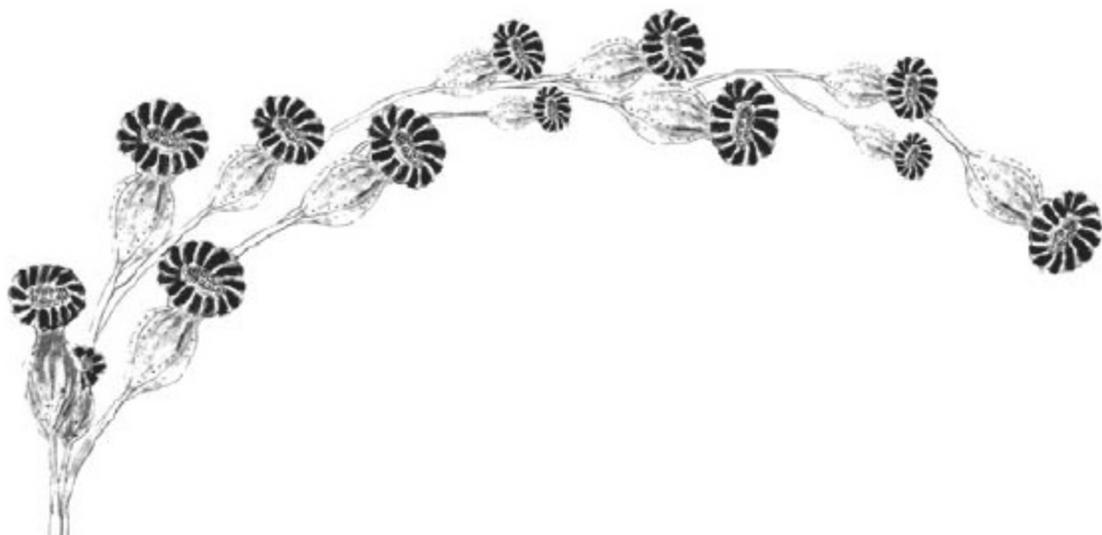
– Где? – не верил я, но пытался разглядеть.

– Совсем голая.

– Да где же?

– У себя в саду... – говорил Вольф и прикладывал руку козырьком ко лбу. – Видишь – вон там... под вишнями... Вон ей на попку села бабочка.

– Ага, – кивала Лия. – Красная.



Старый трехэтажный дом на Клепаровской еще хранил свои довоенные запахи, крепко въевшиеся в облупленную штукатурку, в растрескавшиеся подоконники и рамы, скрипучие ступени, которые на каждый шаг отзывались жалобным стоном, – о, они столько видели на своем веку, их топтали немецкие солдаты, охотясь за евреями, их топтали чекисты, выслеживая подполье, а потом под дулами автоматов и те и другие выводили кого-нибудь на казнь, и ступени сочувственно стонали, и всхлипывали, и кашляли, а оконные стекла еще долго хранили в себе расплывчатые отражения пропавших людей, их напуганные лица, их полные ужаса глаза, все их отчаяние, и страх, и гнев, и непримиримость, а на стенах еще долго выцветали отпечатки пальцев.

Ярош поднимался на самый верх, на третий этаж, где было две квартирных двери, а вверху – металлические двери на чердак. В дверях имелись узкие прорезы, прикрытые медными пластинами с надписью «Listy», в которые когда-то легко просовывались газеты и письма, чтобы через миг шлепнуться на пол. И только на одной двери на правом косяке наискосок был прибит медный футлярчик величиной с мизинец, это была мезуза, в которую вкладывали свернутый в трубочку стих Священного Писания, выведенный каллиграфическим почерком на пергаменте, выходя из дома или возвращаясь домой, каждый набожный еврей прикладывал два пальца к губам, а потом к мезузе. На уровне глаз виднелся круглый глазок, а под ним – продолговатая рамка, в которую вставляли карточку с фамилией жильца, сейчас она пустовала. Массивный звонок на косяке двери напоминал грудь с торчащим соском, призывно манящим к себе указательный палец. Ярош нажал кнопку звонка, послышалось какое-то утробное урчание, а вслед за ним – неспешное шарканье шлепанцев, глазок блеснул, чей-то глаз внимательно изучил гостя, а потом хриплый голос спросил: «Кто?» – «Ярош. Я вам звонил». – «А-а, да-да...» Скрежет ключа, звон цепочки, дверь открылась, и в полумраке появилась сгорбленная худая и высокая фигура.

– Заходите, заходите... Можете не разуваться, ведь на улице грязи нет...

Голос напоминал скрип лестничных ступеней, специфическое галицкое произношение и картавое рокошущее «р» были похожи на звуки, издаваемые каким-то доисторическим существом, да это и неудивительно, ведь старый галицкий еврей – это такая же диковинка, как и динозавр, его уже нельзя увидеть живьем, его можно только откопать. Раскопки Яроша

увенчались успехом – ему удалось извлечь из небытия старого Йосифа Милькера, телефон которого раздобыла для него Данка.

– Прошу, прошу. – Старик повел его по длинному коридору в просторный светлый кабинет, доверху заставленный стеллажами с книгами, которым хозяин явно не позволял погрузиться в приятную дремоту, то и дело приводя в движение – беря в руки, перелистывая и переставляя с места на место. Глаза Яроша скользнули по старым переплетам, узнавая надписи на идише, иврите, немецком, польском и украинском языках. Немало книг выставяло напоказ свои белые закладки, как научные регалии – нас читают и изучают! Еще одна вещь, которая поразила гостя, – цветочные горшки с маками. Ему впервые довелось увидеть такое разнообразие маков в домашних условиях, к тому же эти маки были необычными – не только красные и лиловые, но и белые, розовые, желтые, бордовые, а еще они были значительно выше тех, что росли в поле или на огороде, некоторые из них достигали потолка и были величиной с человеческую голову, одни уже отцветали, другие только выпускали бутоны.

Старик предложил ему присесть в кресло, сам тоже устроился в кресле напротив, положил сухую сморщенную правую руку на худые колени, вместо левой – пустой рукав, заправленный за ремень.

– Маки – это моя слабость, – улыбнулся он гостю. – Я давно занимаюсь их селекцией.

– Никогда не видел таких крупных и высоких маков.

– Маки очень чувствительны. Я с ними разговариваю, включаю им музыку, читаю вслух... Одинокие мужчины, знаете ли, иногда имеют свои причуды. Но это мое чудачество принесло свои плоды. Так что же именно о Яновском лагере вас интересует?

– «Танго смерти». Текст, музыка и авторы. Насколько мне известно, вы были одним из музыкантов.

– Да. Я играл на скрипке. Странно, что это еще кому-то интересно.

– Все остальные погибли?

– Можно и так сказать.

– Что вы имеете в виду?

– Смерть – не всегда является смертью. Иногда это лишь удивительная инсценировка, перформанс. «Танго смерти» на первый взгляд – меланхолическая, исполненная ностальгии мелодия. Кажется, ничего особенного. Вы же ее слышали?

– Конечно. Это та же самая мелодия, что и у танго «Мелонга»?

– Нечто похожее, но на самом деле наиболее близким по звучанию к «Танго смерти» было «Макабрическое танго», под которое стрелялись влюбленные. Представьте себе – заходит такой отчаявшийся молодой человек в ресторан, платит оркестру, заказывает танго, а потом на глазах у всех стреляется за столом, осушив перед этим пару бокалов. Поэтому и прозвали это танго «Танго-макабра», но на самом деле называлось оно вполне мирно – «Последнее воскресенье». Но должен вам сказать, что и тут сходство только кажущееся. Для неспециалиста. Музыкант сразу уловит разницу. Партитуру этой мелодии написали мы втроем с профессором консерватории Штриксом и дирижером Львовской оперы Кубой Мундом. До войны я играл со Штриксом в ресторане «Бристоль», где он руководил оркестром. Когда мы оказались в гетто, я показал им удивительные ноты... Точнее, всего двенадцать нот... Они взяты из старого манускрипта... Автором этого манускрипта был львовский аптекарь Иоганн Калькбреннер... В 1640 году он вывез из Кракова, откуда бежал во Львов, латинский перевод старинной рукописи, написанной на неизвестном до сих пор

языке...

– На арканумском?

– Да. Как вы догадались? – В глазах хозяина появился блеск. – Вам что-то известно об Аркануме?

– Если честно, мне следовало с самого начала обо всем вам рассказать. Я занимаюсь древней культурой Ближнего Востока и в частности Арканумом. Написал учебник по арканумскому языку, составил словарь, сейчас работаю над переводами литературных произведений.

Потом он рассказал об арканумской «Книге Смерти» и танце смерти «dan-go mrah».

– Это в самом деле очень интересно, – покачал задумчиво головой пан Иосиф. – Тогда для вас будет нелишним узнать кое-что еще. Итак, тот латинский перевод арканумской рукописи подготовил в начале XVI столетия краковский раввин Натан Шпиро, каббалист и талмудист. Аптекарь написал книгу, которая целиком не сохранилась, часть этой книги составляли переводы древних текстов, в том числе и перевод Натана Шпиро, а остальное было его комментариями. И вот отдельные карточки из этого манускрипта нашел мой друг детства в библиотеке Оссолинеум^[55]. И когда мы начали его читать, то открыли для себя удивительную теорию. Человеческая душа, покинув тело, через некоторое время – а это может быть и через год, и через двадцать или сорок лет – рождается вновь в новом теле, но она о своей предыдущей жизни ничего не помнит. Люди, которые пережили большую любовь, встречаются в новой жизни и переживают ее снова, закадычные друзья очень естественно, ненавязчиво знакомятся в новой жизни и дружат до гробовой доски, родители встречаются со своими детьми... Но никто из них ничегошеньки не может вспомнить и даже не догадывается, что можно что-то вспомнить... Правда, иногда бывают случаи, когда после стресса в человеке пробуждаются усыпленные знания и он начинает, к примеру, говорить на неизвестном ему ранее языке или описывать в деталях то, что происходило когда-то давно. В любом случае, можете себе представить, насколько легче было бы людям умирать, если бы они знали, что их душа, воплотившись в другую личность, не потеряла ничего из своих предыдущих знаний и чувств. Но на самом деле мы уже ничего не помним. И вот аптекарь раскрывает в этой рукописи тайну, с помощью которой можно разбудить в себе те предыдущие знания и будто продолжить свою предыдущую жизнь. Для этого перед смертью нужно вобрать в себя особую мелодию...

– Вобрать особую мелодию? – переспросил Ярош.

– Боюсь, что очень примитивно объясняю... Да-да, я не ошибся – не прослушать, а все же вобрать. Всем телом, всем существом. Дело в том, что тональность звучания любой ноты соответствует тональности звучания соответствующего органа или части тела. Иными словами, наша душа – это музыкальное произведение, которое исполняет слаженный оркестр внутренних органов. Понимаете? – и, заметив удивление в глазах Яроша, продолжил: – Иоганн Калькбреннер обнаружил, что человеческая душа – отдельная симфония, период звучания которой длится не только от рождения до смерти, но и дольше, возможно, даже вечно, нужно лишь менять состав оркестра. В том манускрипте содержался и его трактат о том, каким образом можно создать партитуру такой жизненной симфонии для любого человека, чтобы он, строго придерживаясь расписанных нот, мог жить как можно дольше, видеть, где его подстерегают опасности, и уметь вовремя их избежать. Каждый человек – это отдельный камертон, который очень чувствителен, и когда специально подобранные звуки пройдут через человека, то откроется особое видение, нужно только позволить звукам

наполнить себя.

– И какая тут связь с «Танго смерти»?

Старик встал:

– Простите, должен принять таблетки. Мой оркестр уже барахлит. – Он вынул из ящика лекарства, запил их минералкой и спросил: – Может, вас угостить чаем или кофе?

Но Ярош отказался, ему не хотелось отвлекаться от увлекательной беседы.

– Связь с «Танго смерти» та, что танго и стало той мелодией, которая играла роль тоннеля для нового перевоплощения души. Обреченные на смерть в Яновском лагере умирали именно под эту мелодию... Точнее, почти под эту мелодию, ибо то, что играли мы, имело некие едва уловимые нюансы, без которых трансформация души не произойдет. Мы играли известное всем танго, в которое были вставлены всего лишь двенадцать нот из манускрипта. Без этих нот танго теряло свою силу. Ноты, которые были у нас перед глазами, имели определенные знаки, понятные лишь нам, это могли быть какие-то точки, кляксы или подчеркивания. Музыкант, не посвященный в их значение, сыграл бы эту мелодию без каких-либо последствий. Итак, новое рождение души происходило только с теми, кто перед смертью слышал наш оркестр. А потом они воскресали и жили, и, возможно, до сих пор живут... Только они этого не осознают, а те, кто их знал при жизни, узнать их не могут. Хотя я еще до сих пор не утратил надежды встретиться с ними.

– Тогда я не вижу смысла в таком перевоплощении. Ну и что из того, что моя душа будет жить в другом теле, если МЕНЯ уже не будет? Это уже будет другой человек, с другими интересами и увлечениями. Это буду не Я.

– И все же в человеке можно разбудить воспоминания о прошлой жизни при одном условии: если этот человек перед смертью слышал мелодию из трактата Калькбреннера. И сделать это можно только одним-единственным способом: человек должен услышать эту мелодию снова.

– То есть он вспомнит лишь ту жизнь, из которой ушел, слыша эту мелодию? И это не касается всех предыдущих жизней?

– Именно так.

– Я где-то читал у Оскара Уайльда, что музыка дарит нам наше собственное прошлое, о котором мы до этой минуты не подозревали, заставляя сожалеть о потерях, которых не было, и о поступках, за которые мы не в ответе.

– Наверное, и у вас иногда возникали такие ощущения, что вот то-то и то-то уже с вами происходило, или какой-то человек, которого вы видите впервые, напоминает вам кого-то, кого вы знали, но когда это было – вы не в силах вспомнить. Иногда во снах вы видите улочки, которых не существует, но сон возвращает вас туда снова и снова... вы уже изучили эти улочки и дома наизусть, у вас даже возникает желание отыскать их... Хотя вы понимаете, что это лишь сон. Сны вышелушивают из нас утраченную память, но мы мало что помним из своих снов. Если бы мы попытались проанализировать свои сны, углубиться в них, отправиться на поиски призрачных улочек и людей, которые нам снятся... Конечно, требуются определенные усилия... Какой-то толчок. Люди, с которыми вы контактировали в предыдущей жизни, могут быть совсем рядом, потому что бывшие друзья привлекают бывших друзей, а бывшие возлюбленные привлекают бывших возлюбленных. Другое дело, что они об этом даже не подозревают. Но люди, которые перед смертью слышали мелодию «Танго смерти», носят ее в себе и в следующей жизни.

– Откуда же должен прийти этот толчок?

– Возможно, они получают его, услышав снова мелодию «Танго смерти», а возможно, так, как это разъяснил рабби Шпиро.

– К сожалению, я не знаком с его трудами.

– Тогда я должен вам кое-что рассказать. Потому что аптекарь в своих комментариях основывался именно на теории рабби Шпиро, который на весь мир смотрел, как на кисею, окутывающую многообразную в своих проявлениях мистическую субстанцию. Не только Тора – вся вселенная в его глазах была одним большим таинством. Все материальное – человек и животное, огонь и вода, кусты, деревья, камни – было для него полно глубокой символики. Видимый мир – это лишь оболочка витающих душ, ищущих осуществления высшей цели. Шпиро и его учитель Ицхак Лурия знали тайну этих душ, их путь в мир, их начало и стадии прошлых и будущих перевоплощений. Им достаточно было лишь взглянуть человеку в лицо, чтобы определить, чья душа в нем перевоплотилась. Они были наделены способностью раскрывать источник душ всех библейских, талмудических и постталмудических праведников. Бродя ли со своими учениками за городом, по лугам и лесам, плывя ли по морю, – везде и во всем: в плеске волн, шелесте деревьев, в трепетании крыльев, в стрекоте кузнечиков, в кваканье лягушек, в качании ветвей, в движении воздуха и в пении птиц – всюду они видели сонмы душ, которые искали совершенства и искупления, слышали их голоса, их шепот...

Ицхак Лурия назвал это учение, которое стало центром всей его каббалистической системы, «Ойлом а-тикун», что означает «Мир усовершенствования» или «Мир очищения». Рабби Шпиро это учение развил. Все души, учил он, во всех своих видах были первоначально сосредоточены в прародителе Адаме при его появлении на свет: одни из них гнездились в его голове, другие – в его глазах, во всех порах и членах его тела. В этих первобытных душах господствовало начало добра, но после грехопадения «добро и зло смешались», и ныне мир полон чистыми душами, перемешанными с искрами зла, и душами нечистыми, злыми, перемешанными с искрами добра и святости. Душа, закованная в телесной оболочке, пропитывает своими божественными соками и нечистую оболочку, так ствол дерева передает живительные соки плодам, листьям и коре. От этого процесса пропитывания тела душой и зависит пришествие Мессии, которое наступит только тогда, когда процесс очищения душ, разграничения добра и зла окончательно завершится.

Пан Иосиф поднялся с кресла, подошел к стеллажу и, взяв в руки какую-то старую книгу, раскрыл ее на закладке.

– Должен заглянуть в трактат рабби Шпиро. Память уже подводит. Итак, к дифференциации добра и зла ведут два пути: «гилгул» (переселение душ) и «ибур» (прививки души). «Гилгул» – это переселение уже бывшей на земле души в тело новорожденного ребенка, от рождения до смерти душа обречена делить с телом все мытарства и превратности его судьбы. «Ибур» – это внедрение добавочной души в уже живущего, и даже зрелого человека, подобно как в беременной женщине зарождается новая жизнь. Таким образом, в человеке заключены две души: одна – с момента рождения, вторая – в зрелом возрасте. Бывают два типа «ибур». Первый – душа, которая зародилась во взрослом человеке и находится в ней ради себя самой, движимая потребностью выполнить заповедь – мицву, которую она не выполнила на пути ее прошлых перевоплощений. И второй тип – душа вселяется в человека ради спасения этого человека, чтобы поддержать его и направить на истинный путь. Первая душа заполняет все существо человека в качестве ее основной духовной субстанции и остается в нем до тех пор, пока не удастся удовлетворить свою

потребность и выполнить искомую мицву, и только выполнив ее, она может покинуть тело человека. Вторая душа свободна от обязательного участия в страданиях и невзгодах тела, не имея определенного срока пребывания в этом теле, остается лишь до тех пор, пока человек идет праведным путем добра, и чем праведнее человек, тем теснее связывается с ним эта душа. Но стоит человеку свернуть на путь греха, душа покидает его и уходит. Таким образом, этими двумя путями – «гилгул» и «ибур» – происходит выделение добра из зла и фильтрация самого добра. Поэтому, когда скорлупа зла отпадет от ядра добра, и наступит пришествие Мессии.

– Это очень похоже на то, что я открыл в арканумской «Книге Смерти». Тацит писал, что «великие души не разлагаются вместе с телом». Буддисты верят, что каждый из нас прожил бесконечное число жизней, но они никогда не пытались найти способ, как опыт и знания предыдущей жизни вселить в новую. Арканумцы попытались это сделать, и их «Книга Смерти» тому подтверждение.

– Как и «Танго смерти».

– Но вы еще не нашли окончательного подтверждения. Вы ведь не встретили ни одного из тех, кому играли свое танго.

– Не встретил, но все еще жду. И не умру, пока не дождусь. – Улыбка его была печальной, а глаза, смотревшие на Яроша, шурились, веки дрожали, словно прогоняя непрошеную слезу. Через минуту он продолжил: – Нас было четверо неразлучных друзей. Украинец, поляк, немец и я, жид. – Заметив удивление Яроша, повторил: – Да-да, жид. Мы здесь в Галичине иначе себя и не называли, это в 1939-м, когда пришли освободители, они приказали нам называть себя евреями. Но «еврей» было обидным словом для любого жида. Это было трешное слово. Назвать кого-то евреем – это было все равно, что назвать бродягой, подонком, ничтожеством. Но после того, как немцы истребили жидов, во Львове поселились одни лишь евреи. Так вот, хочу вам дать одну рукопись, которая чудом сохранилась. Написал ее один из трех моих самых близких друзей Орест Барбарыка. Там описаны все наши приключения, и что для вас главное – там есть и о том, как были найдены страницы манускрипта Иоганна Калькбренера.

Старик встал, прошаркал к письменному столу, выдвинул ящик, достал папку и вручил ее Ярошу.

– Я хранил ее долгое время в подвале в стеклянной бутылке, чтобы мыши не поточили. А для маскировки засыпал пшеницей. Как видите, сохранилась она хорошо, хоть и написана от руки, но почерк каллиграфический. Орест имел страсть к письму. К сожалению, остальные его записи пропали.

– А какова судьба ваших друзей?

– Мы подорвали себя гранатой в схроне, когда нас окружили энкаведисты. Они все погибли, а меня контузило, и мне оторвало руку, но я выжил. Возможно, потому, что не сидел вместе с ними, а стоял рядом и играл на скрипке. Играл «Танго смерти».



Моя мама очень не хотела, чтобы я вырос бестолочью, и меня это не удивляло, ведь чего можно ожидать от рядовой мамыши-литераторши, если не попыток вывести своего сыночка в люди, вот она и выводила, как могла, пытаюсь меня трудоустроить, чтобы я был как все, забывая, что гениальные дети никогда не могут быть такими, как все. В пример мне она всегда ставила моих друзей, они вот – учатся, людьми станут, а я – олух этакий, учиться не хочу. Я терпеливо выслушивал ее эмоциональные речи и оправдывал себя только тем, что она меня не знает, не имеет ни малейшего понятия о том, чем я живу и что из меня вырастет, потому что видит только мою оболочку, которая невероятно обманчива, а внутри я ого-го какой непростой.

Сначала мама пристроила меня в лавку пана Жабского, который торговал колониальными товарами, там на вывеске так и было написано «Колониальные товары», а в витрине сидел шоколадный мавр, и вокруг него лежали коробки с чаем, кофе, какао, корицей, гвоздикой и всевозможными заморскими специями, а между ними красовались вырезанные из дерева и раскрашенные бананы, ананасы, папайи, кокосы и прочие фиги с маком. На полках за спиной у мавра красовались экзотические напитки: ликеры гданьской фабрики «Marachino di Zara», «Girolamo Luxardo», «Guille Goldwasser», «Persico», «Curasao», «Grand Chartreuse», мандариновый ликер аббатства Фекам во Франции, голландский ликер «Wymand Focking», а еще – какао Бендсдорпа из Амстердама, цикориевые кофейные напитки в пестрых металлических коробках «Франка», «Росманита», «Инжирный султанский» и «Инжирный королевский». Детвора, возвращаясь из школы, всегда толпилась у этой витрины и с нетерпением ждала, когда мавр им подмигнет, или улыбнется, или хотя бы пальцем поманит, а потом детишки приводили в магазин своих родителей и покупали халву, шербет, козинаки, финики, изюм. Не знаю, догадались ли вы уже, что этим шоколадным мавром был я, ведь что-что, а так вот сидеть без дела я любил больше всего. Сидеть мне нужно было утром, когда дети шли в школу, и после полудня, когда они возвращались, а еще в воскресенье, когда люди шли из церкви, растирая на языке сладкий вкус греко-католического или пресный католического причастия.

Хуже всего было, когда к витрине подходили мои приятели и корчили смешные рожицы, чтобы вывести меня из равновесия: Йоська оттопыривал языком нижнюю губу и со своими лопухими ушами был похож на обезьяну, Вольф засовывал большие пальцы обеих рук в рот, растягивая его как можно шире, а указательными оттягивал веки вниз, Ясь прижимал свою физиономию к витрине и демонстрировал свой расплющенный нос. Я терпел, отводя взгляд в сторону, и думал о высоком. Продержался я на этой работе месяц, потому что когда какой-то озорник влез на витрину и пытался откусить мне ухо, думая, что оно шоколадное, я

взорвался праведным гневом и высыпал ему на голову целый мешочек какао. Пан Жабский не смирился с таким безобразием и поручил мне другое дело – лепить наклейки на всякие пачечки с продуктами, а мое место занял другой мавр. Я не знаю, почему лавочник решил, что за час я должен наклеить не менее сотни наклеек, сразу видно было, что он лишен творческого подхода, тогда как я имел философское видение этой задачи. Каждую наклейку я не просто смазывал клеем, но еще и вкладывал в нее душу, процесс вложения души продолжался не менее четверти часа, поэтому за час я мог приклеить не более четырех наклеек, да и то я считал, что такая спешка только вредит эстетической направленности дела, и будь моя воля, я бы в час налепливал не более одной наклейки, зато такая коробочка излучала бы всю любовь моего сердца и тепло моей души, но пан Жабский был другого мнения, поэтому он попросил мою маму забрать меня от него, точнее «от греха подальше», намекая, очевидно, на тихое желание убить меня, порезать на кусочки и продать в виде сушеных фиников.

«Размышления и фантазии»: «Никогда не покупайте сушеных фиников у пана Жабского – это могут быть части растерзанных тел его бывших работников».

Не вышел из меня и продавец мороженого, хоть я и очень старался, потому что в первый же день, когда я выехал в город с тележкой, в которой между кусков льда, присыпанных опилками, было ведерко с мороженым, меня тут же обступили мои приятели, и не только Вольф, Яська и Иосиф, а еще с десяток подростков нашей парафии, и стали помогать толкать тележку, хоть это было совершенно излишне, потому что тележка и так катилась себе, подпрыгивая на мостовой, но они не отставали, а потом стали требовать, чтобы я угостил их мороженым: «Мы что – зря толкали?» Я пытался объяснить, что не нуждался в их помощи, но они меня и слушать не хотели, подняли крышку, и каждый наложил себе в бумажные стаканчики мороженого сколько хотел, а потом они ели это мороженое маленькими деревянными лопатками, а после первой порции им захотелось еще и вторую и третью, а я даже и не сопротивлялся, помня заповедь «сгорел сарай – гори и хата», после этого торговать уже не было смысла, и я притащил тележку, которую мне уже никто не помогал катить, к пану Цапу, тот очень удивился, что нет никакой выручки, но я не мог рассказать правду и поэтому объяснил, что на меня напали бандиты, приставили пистолет и забрали мороженое. Он долго смотрел на меня круглыми от удивления глазами, а потом сказал, что никогда ничего подобного не слышал, и переспросил:

– Приставили пистолет?

– Вот сюда – ко лбу, – ткнул я пальцем.

– Хорошо, но как они могли в руках перенести столько мороженого?

– У них было с собой ведро.

– А деньги не забрали?

– Какие деньги? Я ж ничего не успел выручить.

Он заглянул – там, на дне, белело немного мороженого.

– И это все, что осталось? – спросил он таким тоном, будто я предлагал ему доест за мной миску вареников.

– Да, и то только благодаря моему мужеству, ведь я набросился на них, как лев, – гордо сказал я. – На самом деле я чуть не погиб, меня могли убить.

Пан Цап взял меня под руку, вывел на улицу и указал рукой куда-то вдаль:

– Иди, парень, и не возвращайся. А вернешься – убью. Или ты что-то имеешь против?

Я, улыбаясь, посмотрел на его правый ботинок, потом перевел взгляд на носок,

видневшийся из-под штанины, потом на протертое колено, поднимаясь выше и выше, по пути как бы пересчитывая все пуговицы на его жилете, и, добравшись до носа, увидел на его кончике красный прыщик. Мой взгляд остановился на прыщике, и я сказал ему: «Нет».

Если кто-то думает, что я очень переживал, то он ошибается, я снова получил возможность сидеть над своей тетрадкой, хотя и ненадолго, потому что дело взяла в свои руки бабушка и повела меня к пану Иржи Кнофлику, который имел похоронную контору на Лычакове и вдохновенно спроваживал своих клиентов в лучшие миры, а называлась она вычурно «Харон» и конкурировала с соответствующим заведением пана Антония Курковского под названием «Конкордия», хотя конкурировать с Курковским было невероятно трудно, ведь у него было несколько великолепных застекленных катафалков с четырьмя фонарями, а на катафалке, предназначенном для офицеров, возвышалась фигура рыцаря в латах и шлеме с опущенным забралом и черными перьями, катафалки для девушек и детей были в белом, голубом и желтом тонах и запряжены белыми лошадьми со страусиными перьями, но это было еще не все, потому что пан Курковский содержал еще и целую армию плакальщиц и плакальщиков, которые были одеты попеременно то в костюмы испанских грандов, то в мундиры венгерских гайдуков, а во главе траурной процессии шел церемониймейстер в наполеоновской шляпе, каждый свой шаг отмечая взмахом маршальского жезла, по обе стороны катафалка шла его челядь, по четыре человека с каждой стороны, с мрачными каменными лицами, с зажженными фонарями в руках. Сам пан Курковский выглядел довольно жизнерадостно, его розовое лицо, украшенное тоненькими усиками, напоминало пасхального поросенка, при формировании траурной процессии он всегда лишь присматривал со стороны своим зорким оком, чтобы все проходило согласно установленным предписаниям. А когда траурная процессия выдвигалась в направлении кладбища, такое величественное театрализованное зрелище уже никто не мог прозевать, и процессия обрастала случайными прохожими и разрасталась, как снежный ком.

Наверное, вы уже заметили, что вся моя семья была так или иначе связана с миром иным, даже гостиная наша напоминала покойницу – на стенах висели фотографии множества усопших теток, дядьев, прадедов и прабабушек вместе с их покойными друзьями и подругами, и кто знает, может, даже с любовницами и любовниками. Поэтому вполне естественно, что я оказался именно в конторе пана Кнофлика, где можно было купить не только замечательные удобные гробы, в которых и живому было бы приятно вздремнуть, что частенько и делал глуховатый плотник Боучек, перебрав пива в кнайпе Кучко, но и венки, ленты, статуи рыдающих муз, высеченные сердца матерей и большие, в человеческий рост, подсвечники. А еще у пана Кнофлика был черный катафалк, который он запрягал четверкой вороных лошадей и сам ими правил, сидя на козлах в черном фраке и черном цилиндре. Оба – и хозяин, и плотник – были чехами и разговаривали очень громко, потому что плотник плохо слышал, но, видимо, этого не осознавал, будучи уверенным, что все вокруг глухие, кроме него, поэтому и вопил, как гуцул на пастбище. Завидев мою бабушку, пан Кнофлик обрадовался так, будто она привела ему не меня, а свежего клиента, которого он должен был со всеми почестями похоронить.

– Прокристепа^[56]! Кого я вижу! Сирена Полтвы! Золотой голос потустороннего мира! Прошу, прошу, смотрите под ноги. – А потом крикнул в глубь конторы: – Боучек, перестань шуршать рубанком, ничего ж не слышно! – Но Боучек продолжал шуршать, мурлыча себе под нос какую-то песенку, а пан Кнофлик усадил нас рядом с дубовым гробом, украшенным бумажными цветами и устланным белым бархатом, и сказал: – Здесь нынче будет лежать

пани адвокатша. Видите, какая мягкая постелька? Сомневаюсь, что у нее при жизни мягче была. Пойдете завтра ее оплакивать?

– Ой, пойду, пойду, – вздохнула бабушка, – у меня завтра трое похорон.

– Ого! – всплеснул руками пан Кнофлик. – Целых трое! Какое счастье! А у меня только одни. А те двое, это, наверное, пан Апельцинер и пан Струсь? Ай-я-яй! Перехватили их у меня братья Пацюрки. И где же тут справедливость, а? Они ж им подсунут сосновые гробы, раскрашенные под дуб, а я даю настоящие дубовые. Вот, послушайте?! – Он постучал костяшками пальцев по гробу. – Слышите, какой звук? Из такого гроба можно скрипки делать, бандуры, трембиты и контрабасы. Вы, когда там будете, подскажите им, кто настоящий гробовщик. Может, еще кто умирать будет, так пусть идут ко мне. Даю скидку десять процентов и подсвечники даром. Я вам даже подскажу, как это сделать, чтобы было деликатно. Когда будете голосить, то будет достаточно, если вы вставите такие слова: «Ой, в какой же тебя гроб положили-и-и? Это ж гроб не дубовы-ый, а сосновы-ый!» Ну как? Но я вас перебил. Вы ко мне по делу?

И бабушка поведала о своем любимом внуке, который только о том и мечтает, что о похоронной конторе, и с малых лет мастерил из спичечных коробков гробы, в которых прятал всяких жучков, закапывал их с почестями в землю и ставил кресты с веночками, которые сам же из травинки и плел, а пан Кнофлик сразу стал обдумывать, куда меня пристроить, потому что даже речи быть не могло, чтобы он посмел отказать бабушке, которая не раз ему клиентов поставляла, а теперь просто обязана будет помогать ему в его гешефте.

– О, знаю, – щелкнул пальцами пан Кнофлик, – он будет нести перед катафалком крест. Дам ему черный фрак, черный цилиндр и черные туфли. А в свободное от похоронных процессий время будет помогать Боучеку украшать гробы. Думаю, он, как представитель такой высокохудожественной семьи, должен обладать большим эстетическим вкусом.

– И не сомневайтесь, – заверила его бабушка, – он даже когда накладывает себе на тарелку картошку, формует из нее очень красивые кучки, сверху украшает укропчиком, а сосиски никогда не разрезает поперек, а только вдоль, режет их соломкой. Эстет до мозга костей.

– Тем более, что я у вас в долгу, ведь вы не изменяете мне с этим мерзким Курковским. Вы видели его процессию? Целая орда этих его плакальчиков, которые топчутся рядом с катафалком, носы у них свекольные, а когда я вижу их залитые слезами глаза, то меня не покидает мысль, что он им туда какую-то хреновину закапывает. И не какой-нибудь дух у них изо рта веет, а чистый spiritus!

Вот так я и приступил к работе у пана Кнофлика. Больше всего мне нравилось идти в черном фраке и в цилиндре медленным шагом впереди катафалка с крестом в руках, ловя на себе восхищенные взгляды прохожих. Правда, и здесь мои приятели давали о себе знать и во что бы то ни стало пытались меня рассмешить, показывая разные глупости, но я шел, стиснув зубы, как ожившая мумия, и смотрел только прямо перед собой, точнее на крест, который держал в руках, а чтобы лучше сосредотачиваться, я даже нарисовал на кресте маленькую точку и не сводил с нее глаз.

К эстетическому оформлению гробов я относился с творческим вдохновением. Гроб, в котором должны были похоронить пана Адама Цегельского, ветерана и кутилу, отпетого пьянчужку, который ежедневно выдувал по шестнадцать кружек пива, при этом внимательно их считал, расстегивая поочередно после каждой кружки одну пуговицу на жилетке, а так как было их восемь, то поочередно после выпитой кружки и застегивал, и лишь тогда

покидал кнайпу, поклонившись корчмарю, я оплел колючими побегами ежевики и терновника, а когда семья выразила свое удивление, объяснил, что эти колючки символизируют страдания покойного, его готовность ради Отчизны преодолевать любые преграды, и они согласились, что я прав, а сын покойного даже вручил мне злотый.

– А ну-ка, пани, вы только посмотрите, – говорил я вдове, – разве ваш муж при жизни лучше выглядел? Обратите внимание на это свежее выражение лица, на эти добрые улыбочивые и радостные губы, с которых, конечно же, не могло сорваться ни одно дурное слово! Память об этой счастливой улыбке вы пронесете через всю свою жизнь!

И растроганная пани Цегельская тоже мне сунула злотый, а в другой раз, когда пани Дупская-Коципинская стала крутить носом из-за слишком дорогой отделки гроба, тыча пальцами в живые цветы и допытываясь, почему я не использовал искусственных, я объяснил:

– Неужели вы не понимаете, что искусственные цветы – это символ смерти, но смерти неотвратимой, смерти смертельной, символ упадка и разложения, они никогда не воскреснут для новой жизни, не к ним обратится Господь: «Встаньте и идите!» в День Суда Божьего! – Тут я поднял вверх указательный палец, и пани Дупская-Коципинская задрожала всем телом, а пан Боучек перестал шуршать рубанком и разинул рот. – Искусственные цветы неестественные, уродливые и непристойные. Эта яркая краска, которая линяет на солнце, а после первого же дождя превратит их в пугало и испортит вам настроение. А запах – этот мерзкий запах мокрой тряпки! Фу! Меня уже от одной мысли выворачивает! Зато живые цветы, даже увядшие, даже засохшие, никогда не потеряют своего достоинства, сохранят ваш контакт с покойным, передадут ваш последний привет на тот свет своим благоуханием... А в День Воскресения Мертвых эти цветы оживут вместе с вашим мужем, и вы только представьте себе эту огромную толпу воскресших людей... Эти миллионы миллионов... Как вы думаете – каким образом удастся вам среди этого бесчисленного множества отыскать своего мужа? А я скажу: по запаху! По запаху этих самых цветов! Вот примюхайтесь – это маттиола! – она способна мертвого пробудить ото сна! И не одного уже, между прочим, пробудила. Да-да, не удивляйтесь. В случае летаргии маттиола дарит нам шанс избежать ошибки. – Безутешная вдова при этих словах с опаской посмотрела на пана Дупского-Коципинского, не собирается ли он и впрямь пробудиться от летаргии, но слащаво-приторный запах трупа, вызванный летней жарой, успокоил ее изболевшуюся душеньку, и она, облегченно вздохнув, кивнула:

– Ладно уж, пусть так и будет... Но... но почему вы его правую руку не положили, как и левую, вдоль тела, а засунули за обшлаг пиджака?

– Ведь это же банально! Руки по швам! Что может быть нелепее? Он должен предстать перед Господом, а не перед судом присяжных, ведь так? Рука за обшлагом свидетельствует о его деловитости, целеустремленности и непреклонности. Ведь таким же он был? Правда? То-то же!

А пан Торба, хозяин парикмахерской, выразил свое глубокое удивление тем, что его покойная жена, еще не старая женщина, – представьте себе только – лежала в гробу, заложив руки за голову. Ну, как с такими клиентами работать? У них напрочь отсутствует фантазия, творческая жилка.

– Пан Торба, – сказал я, беря пана Торбу под руку, – ваша жена была веселой и жизнерадостной, разве вы когда-нибудь видели, чтобы она, так вот, опустив руки, лежала перед вами? Не было этого, потому что такого и быть не могло. Она даже ночью так не

спала.

– Но ведь так принято... – робко бормотал пан Торба.

– И вы правы, – согласился я, потому что никогда с клиентами не спорил. – Так принято. Но по отношению к кому? К старым замшелым бабкам и дедам! Ваша жена отошла в лучшие миры полная сил и энергии, ее тело, несмотря на болезнь, пыхало здоровьем! Да-да, я не побоюсь этого слова – пыхало здоровьем! Она не умерла! Это мираж! И сейчас, чтобы вы знали, она рядом с нами! – Пан Торба испуганно огляделся. – Она здесь, я чувствую ее дыхание, ее радостный шепот. – Пан Торба насторожился и прислушался. – Посмотрите на нее – она отдыхает, как привыкла отдыхать в полдень в вашем саду, когда так приятно улечься в тени яблонь и вишен, заложив за голову эти лебединые руки. Она лежит, как живая. Видите эти ямочки на ее щеках? А этот румянец? Я постарался. Даже губы ее очерчены помадой таким образом, чтобы они нам демонстрировали чуть заметную улыбку довольного жизнью человека.

– Жи... жи... – захлебнулся воздухом пан Торба. – Какой жи... жизнью?

Ну, да, иногда меня заносит.

– Пан Торба, вы не верите в вечную жизнь? – сразил я его наповал, и он, утирая слезы, пожал мне руку. Это я называю «волшебной силой искусства».

Пан Кнофлик довольно мурлыкал в усы, ему нравился мой подход и то, как я быстро нахожу общий язык с клиентами, хотя однажды он сделал мне замечание, когда я слишком уж сокрушенно причитал над роскошным телом прекрасной девицы, которая отравилась от отчаяния, потому что ее бросил любимый на третьем месяце беременности, а я вздыхал и говорил, что лучше бы она себя выскребла, а то и родила бы, чем так вот умереть в расцвете сил и зарыть в землю такую красоту, такие полные груди, такой гладенький безупречный живот, такие крутые покатые бедра, а между ними – эта фантастичная клумба, этот чудесный цветник, который она, очевидно, заботливо лелеяла, над которым колдовала и медитировала, лаская игривые кудряшки и обстригая непослушные вихорки вокруг этих полных набухших губ, что замерли в своей серьезности, как уста Джоконды. Пан Кнофлик взял меня пальцами за пуговицу и сказал:

– Наше первое правило звучит так: мы клиентов хороним, а не обсуждаем. Наше второе правило звучит так: мы всех хороним по высшему разряду – хоть убийцу, хоть невинную девицу, да хоть лярву из-под левандовского моста^[57]. Каждый у нас обретет уютное дубовое или сосновое прибежище, устланное белым кружевом с бахромой, и букет цветов.

Тут он, правда, не был до конца искренним, потому что все же похоронная церемония отличалась в зависимости от пожеланий клиента, обычно постоянной плакальщицей была моя бабушка, но были и такие клиенты, которым мало было одной плакальщицы, и они заказывали себе целый хор, и мало им было одного меня в черном фраке и в черном цилиндре впереди катафалка, заказывали себе еще восемь мрачных мужчин в таком же черном одеянии, все они были похожи на воронов со своими острыми кривыми носами, узким продолговатым лицом, темными тенями под глазами и тонкими, почти синими губами. Один лишь вид их вселял страх смерти.

У пана Кнофлика была красавица жена, намного моложе него, она напоминала мне Венеру Милосскую, только с руками, когда она шла, то казалось, что это идет не жена директора похоронной конторы, а сама императрица, поскольку она не шла, а несла себя, соблазнительно покачивая бедрами, будто ехала верхом, и невозможно было от нее глаз отвести, но, к сожалению, она в основном пребывала в Кракове в санатории, излечивая

какие-то таинственные женские болезни, но пан Штроуба был другого мнения.

– Может, она лечится, а может, и нет, – говорил он, покачивая головой, – но точно не у врачей, не-а... Такая пышная дама? Точно должна иметь какого-то хахалю. А Кнофлик – мужик порядочный, но в женщинах не разбирается.

Пан Штроуба был хозяином лесопилки в Брюховичах, и пан Кнофлик покупал у него доски для гробов, водились они много лет, так почему бы мне ему не верить? Тем более что пан Штроуба никогда не менял своих взглядов, когда кто-то обратил его внимание на то, что при входе на лесопилку висит надпись с ошибкой «Гробы на доски», а следовало бы написать «Доски на гробы», он сказал, что так даже лучше, потому что это привлекает внимание, и каждый, кто заметил ошибку, сразу спешит заявить о ней, а для этого, по меньшей мере, придется зайти на лесопилку и поговорить с паном Штроубой. И вот я думал, почему же такая несправедливость? Пан Кнофлик всегда мне так хорошо говорит о своей жене, тоскует по ней, даже портрет ее повесил у себя над письменным столом, а она, шлюха, таскается неизвестно где. В конце июня 1937-го она приехала снова, загоревшая и сияющая, и была как кукла, а может, как Дева Мария, и такая же печальная, хоть и улыбалась, потому что улыбка та была не слишком радостная, скорее отчаянная, очевидно, она душой была еще там, откуда приехала, а тут попробуй-ка быть веселым, когда твой муж занимается таким невеселым делом, так ведь? Но пан Кнофлик был очень рад, и работа горела в его руках, а когда он правил катафалком, держа в одной руке вожжи, а в другой кнут, то видом своим напоминал египетского фараона на колеснице, казалось, вот-вот прозвучит его приказ идти в наступление, в последний решающий бой против римских легионов, а я размеренным шагом нес впереди крест, как флаг, следя за тем, чтобы быть в четырех шагах от конских голов, научившись уже по их фырканию определять расстояние. Иногда пани Власта Кнофликова выныривала где-то в толпе и приветливо махала нам рукой, и тогда пан Кнофлик радостно щелкал кнутом и чмокал лошадям, а лошади трясли черными гривами. Мне всегда было приятно смотреть на Власту, такая она вся была просветленная и солнечная, и голос у нее был медовый, глубокий, и когда она появлялась в нашей конторе, то казалось, что количество окон мгновенно увеличивается, потому что становилось светлее и свежее, а когда она угощала нас кофе, у пана Боучека всегда дрожали руки, и он с грохотом ронял на пол рубанок, брал у нее кофе, и слышно было, как позвякивает ложечка, а я любовался ее тоненькими пальчиками с розовыми лепестками ногтей, казалось, эти ногти только что вспорхнули с цветка, и мне хотелось коснуться ее пальцев, взять их в свою руку и почувствовать их упругость, а потом прижаться губами и вдохнуть их запах, иногда действительно удавалось их коснуться, когда я брал из ее рук чашку, и тогда по телу у меня пробегала какая-то непостижимая дрожь, как электрический разряд, но не сильный, во всяком случае я ничем себя не выдавал, по крайней мере так мне казалось, но всякий раз в такие моменты Власта заглядывала мне в глаза, и уголки губ ее трепетали то ли от желания улыбнуться, то ли что-то сказать, но мне этот трепет губ не говорил ни о чем, а вот пан Штроуба имел свое мнение.

– Шлюха – она и есть шлюха, – вздыхал он над кружкой пива, когда мы сидели в шинке, который из-за своего соседства с кладбищем назывался «Под трупом», и ели фляки. – О-о, чего я только о ней не слышал! Лучше промолчать. Такая сумеет какие хочешь деньги профукать... лечится она... знаю я эти лечения... Еще две кружки!.. А Кнофлик – мужик порядочный, за что ни возьмется, везде ему везет... Только с женой не повезло...

И тут пришел пан Кнофлик, сел рядом с нами и заказал себе пива.

– Завтра у нас люксовые похороны, умер великий поэт, Богдан-Игорь Антоныч. Прожил

всего двадцать восемь лет... Сколько еще мог человек хорошего создать, так вот же... не судилось...

– У меня есть его книги, – сказал я. – Завтра, наверное, будет толпа людей, так же?

– Еще какая! Такого человека хоронят! Мне уже заказали три десятка венков, было бы еще больше, но с некоторых пор у украинцев пошла такая мода, вместо того, чтобы тратить деньги на венок, дают деньги на журнал или на какой-то фонд и завещают: «Вместо венка на могилу столько-то, а столько-то даем на то-то и то-то». Боже сохрани, чтобы я это осуждал, но как я должен в такой ситуации выживать? Мало того, что братья Пацюрки у меня клиентов отбивают, так среди украинцев еще одна мода пошла: «Свой к своему за своим». И теперь патриоты, если есть выбор, так идут только в украинские лавки. Но при чем тут гробы и катафалки? За чем за своим? За гробом? Что я, чех, похороню кого-то хуже, чем украинец? На войне я был санитаром, и тоже приходилось хоронить. Иногда по двадцать-тридцать трупов за день. Пан поручик мне говорит: «Ох, Иржик, еще не раз они к тебе во снах придут». Но нет, никто не пришел. Все они чин чинном умерли, а я их чин чинном похоронил. Чего бы им приходиться?

– Э-э, не говорите, всякое бывает, – вздохнул пан Штроуба. – Два года тому назад похоронили торговку с Лычаковской. Баба была – гром, здоровая, как бычара. Видели б вы, какие она мешки на себе таскала! А бывало и пьяного мужа из кнайпы. Еще и не такая уж старая была. Но как-то раз легла спать и больше не встала. А где-то через полгода и муж ее откинулся. Некому было его среди зимы из кнайпы домой донести, вот он и замерз. Ну, и хоронили его рядом с ней. Раскопали могилу, и что же видят? Крышка гроба сдвинута, а она лежит на боку, и все ногти у нее обгрызаны!

– Свят-свят! – оторопел шинкарь пан Соломон, который как раз принес нам пиво. – Бедняжка с голоду пообгрызала!

– С какого там голоду! От потрясения! Представьте себе, просыпаетесь вы в гробу! А над вами куча земли! А? Кто бы умом не рехнулся?

– Слышал я, слышал об этом, – сказал пан Кнофлик. – Она даже поседела в том гробу.

– Правду сказать, это вообще-то неплохо, шо людишки мрут потихоньку, не? – спросил шинкарь. – А то шо бы было, если бы так вот вдруг взяли и сошлись все ко мне? Пусть даже только те, кого я помню. Так я б не знал, ни где их посадить, ни как их обслужить... Один только пан Кутернога чего стоил!

– А как же, – сказал пан Кнофлик, – метр восемьдесят в длину и восемьдесят сантиметров в ширину. Дородный был мужик! Мы его вчетвером еле-еле в гроб запихали.

– Да, да, – качал головой пан Штроуба. – Всех нас это ждет. Четыре доски и земли немножко...

– Ай, где там четыре! – замахал руками пан Кнофлик. – Пошло целых шесть! Чистый бук! Ну, давайте, рассказывайте дальше... – кивнул он шинкарю.

– Пан Кутернога, – продолжил шинкарь, – мог за ужином выпить две дюжины кружек пива и закусить целым запеченным гусем. А до этого мог уплести тареляку тушеной капусты с колбасками и с десяток больших кныдлей с подливкой.

– А с какой, простите, подливкой? – поинтересовался пан Штроуба.

– Сливочно-томатно-луковой, – продекламировал трактирщик и облизнулся.

Пан Штроуба с паном Кнофликом тоже жадно облизнулись и почти хором произнесли:

– А не могли б вы нам...

– Мог бы! – обрадовался пан Соломон. – Вот что значат клиенты, которые держат фасон!

Уже несу!

Пока шинкарь готовил кныдли, я смотрел на его хорошенькую дочку за стойкой и вспоминал, как еще недавно мы с Яськой, Йоськой и Вольфом подбивали к ней клинья, а папаша очень злился и не позволял Ребекке нас обслуживать, загонял ее за стойку мыть стаканы. Не найдя другого способа отомстить, мы срывали злость на самом шинкаре. Однажды я позвонил ему:

– Пан Соломон, я хочу спросить, какой длины у вас телефонный провод.

– Довольно длинный.

– Только подробнее, в метрах, это нужно для статистики.

– Около трех метров.

– Ну, так можете на нем повеситься!

В другой раз позвонил Вольф и поинтересовался, есть ли у пана Соломона теплая вода.

– Сейчас проверю, – сказал шинкарь, а через минуту вернулся и сообщил, что есть.

– Тогда мойте ноги и ложитесь спать.

Так мы подшучивали, может, с неделю, пока нам не надоело и мы не утратили интереса к Ребекке. Пан Соломон, конечно, не догадывался, кто над ним издевался, но догадывалась его дочь и всегда поглядывала на меня исподлобья, словно ожидая очередной выходки. Но вот нам уже принесли кныдли с подливкой, и мы, вдохнув их пьянящий аромат, сначала опорожнили кружки, а потом приступили к еде. Пан Соломон горой нависал над нами, сложив свои короткие толстые руки на животе, и с довольным видом кивал головой, любясь, как мы уплетаем его вкуснятину, а мы кивали ему и пальцами показывали, мол, люкс, первый класс. Пан Штроуба, довольно улыбаясь, причмокивал:

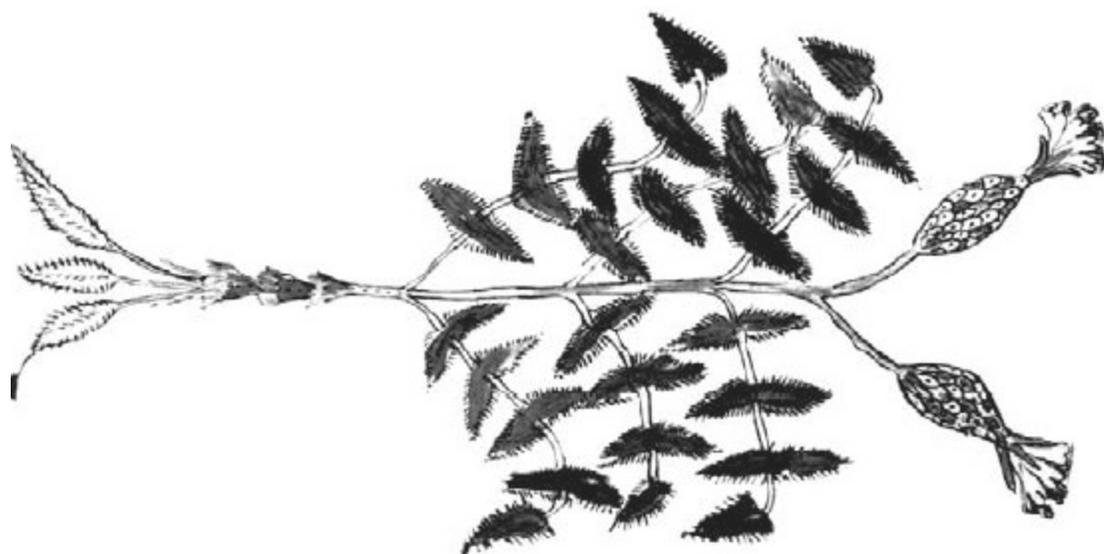
– Как здорово так вот засесть иногда в кнайпе, пить пиво или водочку, есть кваргли, шкварки, кныдли и совсем ни о чем не думать. Не думать о том, часто ли мы будем иметь такое счастье.

– Это, знаете, – поднял глаза к потолку Соломон, – если будете жить долго, так нечасто, а если недолго, то часто.

Но не успели мы понять всей глубины этой Соломоновой премудрости и доесть кныдли, как вдруг в кнайпу влетел конюх и принялся шевелить губами, как рыба, беззвучно, словно задыхаясь, но по движению его губ можно было догадаться, что повторяет он два слова «пани Власта», и пан Кнофлик сорвался с места: «Что? Что случилось?», но конюх только руками махал, и тогда мы все бросились бежать к похоронной конторе, а пан Кнофлик бежал так, что мы с паном Штроубой едва за ним поспевали, и уже издалека увидели, что там собралась куча народу, и когда они расступились, а мы влетели внутрь, то увидели Власту, она висела на шнурке, перекинутом через балку, а на столике лежали какие-то бумаги, как потом мы узнали, это была выписка из больницы, где она лечилась с диагнозом «рак легких». И я видел, как пан Штроуба хлюпал носом и утирал глаза, и ему было стыдно за то, что он раньше о ней говорил, а пан Кнофлик рвал на себе волосы и кричал: «Я вас всех похороню! Всех!»

Со смертью Власты похоронная контора чуть не лопнула, потому что пан Кнофлик, который видел тысячи смертей, похоронил тысячи людей и мог говорить о смерти, как о чем-то совершенно обыденном, как, скажем, о погоде или о лошадиных скачках, смерти самого близкого человека пережить не смог и запил, а мы с паном Боучеком с трудом справлялись, пока не прошел месяц и пан Кнофлик пришел таки в себя и приступил к работе, правда, потерял при этом не только свое хорошее настроение, но и ухоженный элегантный вид, он

уже не брился ежедневно, как раньше, зарос и опустился, стал молчаливым и замкнутым, часто мог ни с того ни с сего разораться и устроить скандал, взрываясь гневом и безудержным потоком слов, глухому Боучеку это было по барабану, он только согласно тряс головой, а мне в конце концов это надоело, и я бросил работу, которую уже успел даже полюбить.



Читая рукопись, Ярош не раз ловил себя на странном и неосознанном до конца ощущении, в его воображении внезапно возникали вполне зримые образы, яркие видения от прочитанного, семья Барбарык становилась ему все ближе, и его начинал манить тот удивительный мир, который пропал без вести вместе с людьми, его населявшими, провалился в глубь времен, как Атлантида, а когда вынырнул снова, то уже выглядел иначе, утратив все те краски, звуки и запахи, которые царили тут когда-то, никто их уже не возродит, как бы ни старался. Его стали преследовать фантастические видения, иногда слышались голоса, пробивались сквозь него, как ветер сквозь листву, может, они и не к нему были обращены, но из глубины ночи те голоса словно звали кого-то по имени – чье же это имя, если не его? – далеко-далеко на фоне ясной луны виднелась молчаливая фигура женщины, которая двигалась медленно, и шорох ее шелкового платья доносился до его ушей, это ее имя произносили таинственные голоса сквозь него, сквозь листву, траву и песок, ее имя, влажное и теплое, растекалось молоком по устам травы, поскрипывало на зубах песка, растворялось в теплой воде ночи, черные бабочки рассвета порывисто трепетали крыльшками, и черная пыльца осыпалась на ее следы, но прежде чем она приблизилась настолько, чтобы можно было ее разглядеть или узнать, тело ее растворилось в предрассветной мгле.

По вечерам он читал рукопись, а весь следующий день ходил под впечатлением от прочитанного. Львов представал перед ним в новом свете, неизвестном и сказочном, теперь, гуляя по тем улицами, о которых шла речь в рукописи, он останавливался и внимательно всматривался, пытаясь отыскать что-нибудь из того, о чем узнал. Иногда до его ушей доносилось звучание львовского говора, он сразу останавливался и искал глазами, кто бы это мог быть, но это было всего несколько слов или одна-единственная фраза, брошенная в разговоре, и он разочарованно продолжал свой путь, выхватывая глазами все новые и новые объекты. С особым наслаждением он нырял в улочки, мимо которых раньше просто проходил, не останавливая на них взгляда, рассматривал дома, каждый двор, смотрел на окна и на цветочные горшки на подоконниках, будто пытаясь отыскать хоть какой-то след старого Львова, того исчезнувшего мира, который уже никогда не вернется, потому что не вернуться и те, кто его оставил. Львов – это мой Арканум, подумалось ему, остались только камни, а все

остальное – люди, язык, культура – все это исчезло и стало сном. Однажды он решил отправиться на Кортумову гору, туда, куда любили ходить четверо друзей. Он уже вышел на Городецкую, как вдруг нос к носу столкнулся с Данкой, они едва не сшиблись лбами, потому что пребывали в каких-то своих грезах, но оба невероятно обрадовались встрече, хотя и старались не выдать себя, путались в словах, болтали какую-то чепуху, лишь бы продолжить этот случайный разговор, который в любой момент мог прерваться фразой «ну, мне пора, чао», но все же не прерывался, а продолжался, подпитываемый еще какими-то идеями, которые молнией проносились в голове, наконец Ярош собрался с духом и сказал:

– Хочу вас поблагодарить за то, что вывели меня на пана Иосифа. Он мне передал очень интересную рукопись о старом Львове. И теперь не могу себе отказать в удовольствии ходить по тем местам, о которых прочел. Вот решил отправиться на Кортумову гору. Представьте себе, я, львовянин, никогда там не был.

– Я тоже, – сказала она со всей своей наивностью и непосредственностью, оставив присущие барышням вспомогательные фразы, призванные продемонстрировать ее безразличие, независимость от всего, что может преподнести ей судьба, и, оставляя ему прекрасную возможность для вполне логичного приглашения пойти с ним, в противном случае вместо такой простой и незатейливой подсказки она могла бы сказать «Правда?», однако тогда был бы риск, что разговор все-таки прервется, а она чувствовала, что не хочет этого, ей вдруг тоже захотелось прогуляться на эту Кортумову гору, и она готова была уже сама сказать «Я бы тоже пошла с вами», но Ярош, преодолевая смущение, выпалил:

– Отлично! Пойдем вместе. Там должны быть замечательные места. Устроим пикник. Как герои той повести.

И она, со вздохом облегчения, кивнула, слегка зарумянившись. Они вышли на Клепаровскую, а оттуда заскочили на Краковский рынок, там была палатка, в которой торговали итальянскими продуктами и куда Ярош давно уже заглядывал за покупками, он купил там две бутылки сицилийского вина, кусок пармиджано, горгонзолу и банку зеленых оливок. Возле церкви Святой Анны они сели на трамвай и сошли у Яновского кладбища, а там двинулись вверх, миновав кладбище, и, когда оказались на Кортумовой горе, перед их глазами раскинулась совершенно дикая местность, поросшая густыми зарослями, где еще не так давно были выстроены рахитичные дачные домики из фанеры и досок, но теперь они стояли заброшенные, зияли дырами, и когда в них врвался ветер, они стонали и поскрипывали. Одичавшие яблони, груши, сливы и вишни, источенные лишаем, обросшие ведьмовской омелой, увитые таким же одичавшим виноградом с мелкими черными гроздьями, который, будто спрут связал их по ногам и рукам, доживали свои последние дни, всюду виднелось лишь одно – неукротимое угасание, но это угасание было особым, необычным, осень сделала все, чтобы скрасить его и превратить эти усыхающие закоченевшие деревья в разноцветные картины, которые приковывали взгляд и манили к себе. Ноги путались во взъерошенной траве, порой скользили на гниющих яблоках и грушах, но Данке и Ярошу это не мешало, они озирались по сторонам, показывали друг другу какие-то интересные вещи, и было видно, что оба увлечены этой удивительной выставкой пейзажей в бесплатной галерее осени. Погода была теплая, издалека доносился запах сожженной картофельной ботвы, который для Яроша всегда ассоциировался с детством, печеной картошкой, сизыми туманами и унылой ностальгией по давно минувшим дням.

Потом они расположились на бетонном фундаменте какой-то недостроенной дачи и разложили свою снедь.

– Боже, я никогда не думала, что во Львове еще можно найти такое глухое место.

– Я тоже. А между прочим, здесь был концлагерь. Знаменитый Яновский концлагерь.

– Правда? Почему же вы мне сразу не сказали? Это здесь они играли «Танго смерти»...

Данка обвела вокруг взглядом и сказала:

– Честно говоря, я сразу почувствовала какую-то тревогу... Такое впечатление, что...

Она умолкла и задумалась, тогда Ярош спросил:

– Что?

– Нет, это я так... – стряхнула она свои мысли, как капли дождя. – Странно... здесь, где все это происходило, люди сажали картошку, помидоры, огурцы, потом собирали... и ели... А мертвые... мертвые служили им удобрением?

– Не преувеличивайте... Эти люди не имели ни малейшего понятия о концлагере. Тут, чуть дальше, где склон, была Долина Смерти. Там расстреливали. Когда после войны стали раскапывать валы, которые образовались после захоронения заключенных, обнаружили только пепел. Это была чистая работа. Когда же начали раздавать трудящимся землю под сады и огороды, то обратили внимание и на этот пустырь. Валы вместе с пеплом распахали и сровняли с землей, а потом разбили на участки и раздали. Дачниками обычно были не местные, а государственные служащие, военные, ветераны... У нас почти все дачники разговаривали и разговаривают на русском. Это потому, что у галичан есть родня в селах, им ни к чему какие-то дачи. Поэтому Львов за все это ответственности не несет. Мы были частью колонии. Колонизаторы решали все. В дождливые дни из Долины Смерти стекали ручьи, они были серые от пепла. А потом Долину Смерти застроили гаражами. Экскаваторы, выравнивая площадку под застройку гаражей, время от времени натыкались на кости, но на это уже никто не обращал внимания.

– То есть здесь, где мы сейчас сидим, под нами, мертвых нет? – спросила она таким тоном, будто должна была уточнить у врача, не нашли ли у нее язву желудка.

– Нет, – успокоил ее Ярош. – Здесь всего лишь стояли деревянные бараки.

– Ну, что ж, – вздохнула, смирившись, Данка, – тогда... Тогда можем и выпить.

Ярош разлил вино, нарезал сыр и открыл банку с оливками. Вино было белое и слегка газированное. В траве что-то зашуршало, они увидели полевую мышь, которая подбирала крошки, и замерли, заговорщицки переглянувшись и взглядами будто уговорившись, что не спугнут ее, в этот момент между ними пробежала какая-то искра, которая их сблизила, но они продолжали общаться, соблюдая определенную дистанцию, и делать вид, что этой искры не было.

– А знаете, кто меня подвиг заняться мертвыми языками и литературой? Хорхе Луис Борхес.

– Правда? – Данка даже рот раскрыла и театрально захлопала глазами, всплеснув руками. – Борхес? Фантастика!

– Почему вы так удивились? – не понял Ярош. – У Борхеса столько разных зацепок на эту тему...

– Да нет, я не поэтому... Просто и меня тоже! Понимаете? Меня тоже!

– Вас тоже подвиг Борхес?

– Ну да! – Она была несказанно рада этому открытию и не скрывала своего восторга, казалось, вот-вот бросится профессору в объятия, чтобы уже дуэтом произносить это магическое слово «Борхес». – Мы должны за это выпить. Я прочитала все, что у нас издавали. Некоторые рассказы и эссе перечитывала по нескольку раз и продолжаю читать.

Ярош разлил вино и заметил, как у него дрожит рука, что-то вдруг стало закрадываться в его подсознание, нечто смутное, но захватывающее, он почувствовал скрытую радость от того, что сейчас произошло, потому что теперь та искра, которая пробежала между ними раньше, уже стала выразительной и засияла кометой.

– А я читал Борхеса сначала на польском и чешском... а потом уже на русском и украинском. Я зачитывался им и очень обрадовался, когда представился случай побывать в Буэнос-Айресе. Там проходила научная конференция, посвященная древней литературе, в свободное время я гулял по городу, пытался самостоятельно отыскать следы Борхеса. – Тут он заметил, как Данка просто-таки пожирает его глазами, и продолжил: – Буэнос-Айрес, очевидно, строился по образу идеальной шахматной доски, но со временем боковые улочки стали жить своей отдельной жизнью и бросились врассыпную, запутываясь и теряясь в хитросплетениях паутины, или наоборот, ударяясь лбом в глухую стену, и такие тупиковые улочки стали настоящим наказанием для путешественника, решившего прогуляться в одиночку. Именно это подстергало и меня, когда я попытался сам отыскать с картой в руках дом № 994 на улице Майпу, где Борхес прожил сорок лет в почти монашеской келье...

–...которая была отгорожена от спальни его матери деревянной перегородкой, – перебила Данка, демонстрируя свои познания в биографии Борхеса. – В этой его келье едва хватило места для кровати и письменного стола.

– Да, но это помещение не сохранилось, зато сохранился книжный магазин напротив, куда Борхес ходил каждое утро надиктовывать свои произведения, когда ослеп. Сохранилась и Национальная библиотека на улице Мехико, где он работал скромным библиотекарем...

–...настолько скромным, – снова подхватила Данка, – что сотрудники библиотеки даже не подозревали, что это и есть тот самый Борхес, чьи книги они выдавали читателям...

– «Улицы Буэнос-Айреса, – продекламировал Ярош, – улицы с тонким и сладким привкусом воспоминаний, улицы, где бродит память о будущем по имени надежда, неразлучные, невытравимые из памяти улицы моей любви. Улицы, которые без лишних слов справляются с нашей высокой грустью – родиться здесь. Улицы и дома моего города, да не покинет меня вовеки их широта и сердечность». Но неумолимое время вносило свои коррективы, меняло, путало все, где ступала нога гения. На улице Тукуман, 840, где родился Борхес, – «Литературное кафе» с книгами писателя. Единственное, что сохранилось нетронутым, – это калитка, ведущая в патио – внутренний двор, – и еще само патио со столиками под зонтиками. Но улица медленно и неуклонно год за годом сползает вниз к реке, кто знает, сколько пройдет лет, может, сто, а может, и двести, пока она полностью не очутится в реке вместе с «Литературным кафе». А в кафе на углу улиц Чили и Такуари Борхес писал любовные письма даме, которая неизменно отвергала все его ухаживания и предложения руки и сердца, не помогло даже посвящение ей книги «Алеф».

– Я знаю... Сесилия Инхеньерос... Она была дочерью философа и публициста Хосе Инхеньероса.

– Она и сама что-то писала, но вошла в историю литературы лишь потому, что ее любил Борхес. Так же, как и Ликера, которую любил Шевченко. Женщин, готовых принести себя в жертву художнику или ученому, очень немного, но обычно это не те женщины, ради которых великий человек способен на какой-то безумный поступок, на взрыв страстей, не те, которых он добивается, перед которыми забывает о своем самолюбии, это скорее женщины, которых любят так же, как мать или сестру, без безумства, без избытка чувств. Как Винниченко свою Розалию.

– Но ведь вы имеете в виду женщин, которые не разделяют с мужем его увлечений и занятий и сами не являются художниками и учеными, так?

– Конечно. Женщинам, имеющим те же интересы и увлечения, не приходится жертвовать собой. Они лишь дополняют друг друга.

– И что было дальше? Борхес, помнится, все же нашел готовую на жертвы... – сказала она, глядя вдаль, туда, где открывалась панорама города, сказала тоном, в котором Ярош почувствовал грусть, хотя, возможно, это ему лишь показалось.

– Нашел. Одна молодая японка сопровождала его в старости. Он всюду появлялся только с ней. Но была ли между ними страсть? Неизвестно.

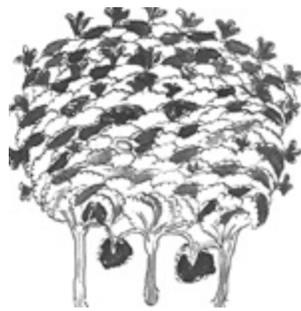
– А вы бы хотели, чтобы кто-то принес себя вам в жертву?

– В идеале хочется другого... Во всяком случае, не жертвы...

– А если нет того другого? Тогда что? Тогда – жертва?

Теперь она смотрела ему прямо в глаза, а на губах ее играла улыбка. Ярош пожал плечами и сказал:

– Тогда – жертва. Но и тут можно ошибиться. Я, по крайней мере, уже пережил это.



Но мама не дала мне пропасть и потащила к пану Цапскому – директору знаменитого Оссолинеума, его матушку вдохновенно отплакала наша бабушка, а мама гомеровским стилем (не путать с гомерическим) воспела в некрологе. Пан Цапский очень обрадовался, завидев мою маму в светло-зеленом жакетике до колен и красном берете, который кокетливо прикрывал левый мамин глаз, он долго рассыпался в комплиментах в адрес ее литературного таланта, так что я подумал, что умерла у него не мать, а жена, и теперь, овдовев, он подкатывается к моей мамочке, а когда он к тому же стал целовать ей руки, я даже закашлялся, хоть мне и не было жалко, пусть слюнявит, да и не только руки, но не на моих же глазах, потому что я мальчик воспитанный и лишенный извращенческих фантазий, эдипова комплекса и этих, как его... Но мои глубокие обобщения прервал пан Цапский:

– А-а-а! Так это ваш сыночек!

Сыночек! Ничего себе! Мне уже девятнадцать, а я все еще сыночек? Я хотел объяснить пану директору, что я не просто сыночек, а философ с острым видением окружающего мира, и первое, что я заметил, – это идеальный порядок на столе у пана директора, где все папочки лежали стопочкой, а отточенные цветные карандаши аккуратно торчали из деревянного приспособления, и когда мама, рассказывая о всех моих скрытых талантах, взяла такой вот синий карандашик, покрутила его в руках и положила на стол, пан директор мигом подхватил его и положил на прежнее место между красным и зеленым, чтобы они снова торчали ровно, как штакетины в заборе, а следовательно, вывод, который можно из этого сделать, неутешительный: пан директор Цапский – чертовски скверный человек, относящийся к породе педантов прибацанных, придирчивых и занудных, и если у него есть жена, то она давно уже волком воет или подметает листья в парке Кульпарковской лечебницы для умалишенных, поэтому первым моим порывом было ухватить мамочку за руку и с криком «Караул!» драпать отсюда как можно дальше, но тут пан Цапский встал и, потирая руки, как мясник в предчувствии веселого общения с упитанным кабанчиком, приблизился ко мне и, задрав вверх голову, украшенную тридцатью двумя волосинами, улыбаясь на уровне моей груди, потому что был он коротышкой, промямлил: «Очень приятно! Имею честь пригласить вас работать в нашем замечательном учреждении», потом взял меня под руку и повел показывать место новой работы, а мама шагала позади и не могла нарадоваться тому, с каким уважением отнесся пан директор к ее сыночку.

– Вы же его там на первых порах не сильно нагружайте, – квохтала она, утирая платочком слезы, – он у меня мечтатель с философским складом ума, это у нас семейное, его отец погиб за лучшее будущее, а он сиротинушка. Везде, где он раньше работал, его до сих пор вспоминают с нежностью и теплотой.

К счастью, она при этом не уточнила, где именно меня вспоминают с нежностью и

теплотой, потому что я слишком уж выразительно чихнул. Библиотека оказалась неким лабиринтом высоченных стеллажей, между которыми запросто можно было заблудиться, и это мне поначалу даже понравилось, я заранее предвидел потребность, которая у меня периодически возникала и состояла в том, чтобы уединиться, забиться в какой-нибудь укромный уголок и погрузиться в размышления и фантазии. Пан директор подвел меня к высохшей, как щепка, старушечки и сказал:

– Вот, пани Конопелька, наш новый сотрудник, то бишь библиотекарь – Орик Барбарыка. У него золотая матушка, золотая бабушка и золотое сердце. А матушка – вот она, перед вами. – А потом, обращаясь к нам: – Пани Конопелька – главный библиотекарь, недавно ей исполнилось сто лет, но она еще полна сил и при своем уме, мы ее ни за что не хотим отправлять на пенсию, ведь у нее в голове хранится весь каталог нашей библиотеки, голова пани Конопельки – общенародное сокровище.

Голова пани Конопельки при этом покачивалась, как у фарфорового китайца, и мне было трудно представить себе, в каком порядке может храниться там весь этот каталог, если ею так вот постоянно трясут. В этот момент приоткрылась дверь, и сквозняк, подхватив сухонькое тельце пани Конопельки, поднял его в воздух и, слегка качнув над столами, мягко опустил снова на кресло, а сама она при этом не выпускала из рук папки с документами и продолжала листать костлявым пальчиком страницы.

– Несмотря на свой почтенный возраст, – продолжил пан директор, – у нашей пани Конопельки соколиное зрение, и, выйдя на крыльцо, она видит, как на Высоком Замке пьют на террасе кофе, и что вверху на Лычаковской сошел с рельсов трамвай. Не сомневаюсь, что пани Барбарыка увековечит пани Конопельку в своих глубоко талантливых стихах. Тем более, что пани Конопелька была лично знакома с императором Францем-Иосифом Вторым и носила на руках цесаревичей Вильгельма и Рудольфа, напевая им колыбельную. Сам Адам Мицкевич просил ее руки, а получив отказ, умер на месте. А Циприан-Камиль Норвид? На коленях молил о поцелуе!

– О-ой, Ципрусик! Ну, этот был разбойник, – кивала пани Конопелька, не поднимая головы от бумаг.

– А Теофиль Ленартович^[58]? – не унимался директор и подмигивал маме.

– О-ой, Тео! Я его называла Филюсик. Лез ко мне в окно и чуть не сорвался.

– А Корнель Уейский^[59]? – веселился пан директор и толкал локтем маму.

– Нелька? Я ему сразу указала на дверь. Бедный как церковная мышь!

– А Адам Асник^[60], с которым она ходила в школу? Мария Конопницкая^[61] из-за Асника ей даже пощечину отвесила! Правда, пани Конопелька? – Тут уж пан директор просто задохнулся от смеха, а мама слушала, разинув рот, и не знала, верить всему этому или нет.

– Ох уж эта Марыська! – покачала головой пани Конопелька, не поднимая головы от бумаг. – Ну и вредная баба была! Глаза готова была выцарапать мне за Адасика, а я только смеялась. Ведь все думали, что я роковая женщина, и никто не знал моей величайшей тайны.

– Какой же тайны? – переспросил директор. – До сих пор я считал, что самая большая ваша тайна та, что Юрий Федькович, выпрыгивая из окна вашей спальни, чуть не свалился на Михаила Драгоманова, который как раз прибыл во Львов, чтобы с вами повидаться. В результате Драгоманов вызвал Федьковича на дуэль и прострелил ему ухо. А вы в это время уже тряслись в поезде на курорт в Аббации^[62] в обществе графа Тышкевича^[63].

– Конечно! – загадочно улыбнулась пани Конопелька. – Я была молодая и безрассудная.

Но моя самая большая тайна не известна никому.

Директор притворно вздохнул и наконец, вволю поразвлекавшись, взял маму под руку и сказал:

– Ну, не будем их больше отвлекать, пойдем, пани Влодзя. А вы, пани Конопелька, ознакомьте Орика с его новыми обязанностями.

Когда их шаги за дверью стихли, старушка подняла голову, огляделась и заговорщицки поинтересовалась:

– А кто это был?

– Директор и моя мама.

– Правда? Директор? А я думала, он давно умер, – потом посмотрела на меня внимательно и добавила: – Здесь иногда происходят очень странные вещи. Появляются какие-то люди, потом исчезают и снова появляются. Чтобы вы знали, – перешла она на шепот, – тут не один уже заблудился в этих бумажных дебрях, поэтому вы должны быть внимательным и перемещаться строго по стрелкам, никогда не сворачивая с маршрута, иначе можете попасть туда, откуда уже возврата нет. Где-то там, – она взмахнула рукой, – заблудился и мой муж, точнее не муж, а жених, исчез, как снег на Пасху, а я его до сих пор жду, оттого и умереть не могу. Если он вам где-то попадется на глаза, приведите его сюда, потому что он уже, наверное, сам и не дойдет, немощный и слепенький, а к тому же и глуховатый. Хотя вы меня можете спросить, зачем он мне такой сдался, но я вам скажу – и это и есть моя самая большая тайна, – такова уж моя судьба, я хранила свою девственность для него и таки сохранила, это уже другое дело, сможет ли он меня ее лишить, но убедиться в том, что она сохранена, сможет. И это будет для меня наивысшим счастьем. Я тогда, наконец, вышвырну из своей головы все эти бумаги и папки, которые мне все баки забили, проветрю свою голову и тихонько отдам концы. Но нет, не так, как большинство людей, в постели или в лечебнице, нет, я уйду в дальние коридоры, в самые дальние закоулки и заблужусь там, исчезну, растворюсь среди этих стеллажей, а когда лет через сто или двести на меня наткнутся, я буду такая высушенная и плоская, что меня примут за старый манускрипт, пронумеруют и поставят на полку. И это уже будет вершиной моего счастья, понимаете?

– Как же тогда понимать все ваши любовные приключения? – спросил я робко, но старушка на удивление спокойно сообщила:

– А вы, молодой человек, уже знаете, сколько дырочек есть у женщины? – Я кивнул, хотя и не был уверен, что знаю, а она продолжила: – То-то и оно. Но одну я хранила, как драгоценную жемчужину.

А я подумал: вот мне уже девятнадцать, и я знаю, как выглядит эта драгоценная жемчужина, но все еще ее не изведаль.

Всем работникам библиотеки выдали карту, согласно которой нужно было перемещаться между стеллажами, а красными крестиками были отмечены особо опасные места. Пани Конопелька мне даже поведала, что в библиотеке живет дух, который по ночам пугает, а днем выкидывает всякие шуточки, и он не раз задирает ей юбку, поэтому она носит длинные до пола и узкие юбки. Каждое утро, придя на работу, я получал от пани Конопельки, с которой мне пришлось работать в одном кабинете, задание: отыскать такую-то книгу, которая невесть куда подевалась, а на ее месте очутилась другая книга с таким же шифром, на эти поиски мне выделялся весь день, потому что нужно было обшарить несколько стеллажей, взбираясь по лестницам и чихая от пыли, а после того, как книга была найдена, нужно было выписать для нее новый шифр и каллиграфическим почерком

заполнить карточку для генерального каталога. Однажды я и правда заметил за стеллажами какое-то движение, что-то прощмыгнуло, завидев меня, я не решился его преследовать, но с тех пор, отправляясь на поиски какой-нибудь книжки, брал с собой дубинку, хоть и не был уверен: имею я дело с духом или с женихом пани Конопельки.

Пан директор навещался редко, но каждый раз пани Конопелька реагировала одинаково:

– Вы его видели? В самом деле видели? – и удовлетворенно кивала головой. – Слава Тебе, Господи, я еще не сошла с ума, думая, что это его дух. Он ведь давно умер.

– Наш директор?

– Да... Еще при Австрии. Я ему на гроб еще цветочек примулы положила. Он долго не появлялся, а вот недавно снова принялся за свое. И за что мне такая напасть? Говорите, вы его видели? Это хорошо. Но хочу вас попросить, это очень личная просьба, понимаете, хочу вас попросить, чтобы вы никогда ничем не выдавали, что догадываетесь, что он покойник, и общались с ним, как с живым человеком. Хорошо? Я так делаю уже многие годы, и, как видите, никакого вреда он мне не причинил. Однажды сквозняк сорвал лист бумаги с моего стола, швырнул ее в пана директора, и этот лист пролетел сквозь него, точно пронзил, а он будто ничего и не заметил, я тоже сделала вид, что ничего не заметила, и с тех пор он меня не слишком загружает работой. Если мой жених умер, пан директор окажется единственным посредником между нами. Поэтому я очень ценю его благосклонность. Поверьте, и к вам будет такое же доброжелательное отношение, если вы будете придерживаться определенных правил.

– А остальные как же? Остальные сотрудники библиотеки?

– А вы разве кого-то еще, кроме меня, видели?

– Нет.

– Ну, вот. Они сидят в своих кабинетах, а некоторые и ночуют там и питаются, потому что иногда до меня доносятся запахи горохового супа, квашеной капусты и колбасы с чесноком, но я, честно говоря, сомневаюсь, что все они живые люди, а не привидения. В любом случае наше общение происходит своеобразно, я каждое утро там, в коридоре на столике с телефоном, оставляю им задания, которые они должны выполнить в течение дня. Они их забирают, а ближе к вечеру аккуратно складывают проработанные карточки для генерального каталога на тот же столик. Библиотека – это потусторонний мир, Аид, и вы, как юный Орфей, спустились в эту бездну за Эвридикой, а Эвридики-то и нет, я не могу быть вашей Эвридикой. И в этом наша трагедия.

Долгое время я не видел никого из персонала библиотеки, кроме самой пани Конопельки, хотя иногда до меня доносились голоса и запахи, о которых она говорила, пахло преимущественно колбасой с чесноком, солеными огурцами и жареным луком, а однажды я даже уловил запах драников, и у меня слюнки потекли, я не мог себе представить, чтобы в библиотеке, в этом храме знаний, была кухня, где бы жарили пляцки, но отыскать кухню мне не удалось даже по запаху. Так бы все это и продолжалось, если бы не одно событие, благодаря которому я смог лицезреть весь штат библиотеки, а именно – изнасилование. В тот день пан директор созвал экстренное собрание, и я увидел целую толпу людей разного возраста и разного пола, которых все же объединяла одна деталь – одеты они были так, будто всплыли из прошлого века времен старушки Австрии, – черные потертые сюртуки, диковинные манжеты, галстуки и букетики флердоранжа в петлицах у мужчин, длинные черные платья с белыми кружевами на груди у пожилых дам и светлые с пуговицами на

спине у молодых – казалось, стоит вдохнуть воздух глубже, и запах нафталина тут же ударит тебе в голову. Директор постучал палочкой по полу и произнес:

– Вы, наверное, еще не знаете, какое печальное событие произошло у нас сегодня утром. Сотрудницу отдела каталогизации по пути в женскую уборную изнасиловал мужчина, которого она разглядеть не могла. На голове у него были женские розовые трусы, в которых он сделал прорезы для глаз. Он заволок ее между стеллажей, приставив к горлу деревянный резной нож, которым мы обычно разрезаем страницы журналов и книг, но об этом она узнала уже потом, а в первый момент подумала, что нож стальной. Поэтому она не издала ни звука. Но самое возмутительное во всем этом то, что по причине небольшого роста своей жертвы он заставил несчастную стать ногами на бессмертное произведение Адама Мицкевича, а именно на толстенное издание «Пана Тадеуша», которое вышло в Париже, – большой раритет! – потом приказал ей нагнуться, но и тут у него ничего не вышло, потому что теперь она уже была слишком высоко, тогда этот изувер схватил «Энеиду» Котляревского, изданную в Петербурге, и, забравшись на нее, пристроился удобнее и совершил-таки этот достойный удивления акт насилия над несчастной девицей, которая до сих пор хранила свою девственность, как золотую инкунабулу. Вследствие этого две капельки крови даже упали на лицо нашего пророка Адама, отпечатанное на обложке его бессмертного произведения, которая до сих пор гордилась девичьей невинностью и чистотой, а бедная «Энеида» была запятнана белым веществом известного происхождения, о котором я не считаю нужным тут распространяться. Мы, конечно, могли бы вызвать полицию и доверить ей расследование этого позорного преступления, этого кощунства по отношению к нашим классикам, но я считаю, что мы справимся и своими силами. Панна Миля согласилась помочь нам в этом, она, хоть и не видела лица негодяя, но прекрасно рассмотрела орудие преступления... я бы даже сказал, инструмент... который в процессе насилия несколько раз бессильно опадал из-за слишком большого нервного возбуждения насильника и по требованию последнего был стимулирован рукой жертвы. Таким образом, рука очень хорошо запомнила все особенности этого... э-э-хм... этого... орудия преступления... Итак, теперь нас ждет следственный эксперимент. Панна Миля сядет вон там за ширмой, а все мужчины, и я в том числе, будут подходить к ней и, расстегнув штаны, демонстрировать свое... э-э-э... свой... словом, всем известно, что...

– Прошу прощения, пан директор, – сказал старый, как мир, Дундякевич, – должен ли я пройти эту вот экзекуцию? Видите ли, в мои девяносто лет все это немного смешно. Я бы и курицу не изнасиловал, не то что панну Милю, – и он смущенно хихикнул в кулак, а вслед за ним и все остальные.

– Конечно, пан Дундякевич, вы можете идти, – кивнул директор. – Да и вы, пан Телепинский, тоже идите, потому что вы ростом даже ниже панны Мили, вам и «Энеида» не помогла бы.

– А я? – робко поинтересовался пан Цундел.

– О, да вы и подавно! Панна Миля сообщила, что это ни в коем случае не мог быть жид. Идите с Богом.

Не скажу, что ощупывание члена было для меня неприятной процедурой, панна Миля делала это деликатно, хотя и без видимого знания дела, потом подняла свои глазки, в которых выразилась вселенская скорбь, и спросила:

– Ведь это были не вы, правда?

– Я бы вас сначала поцеловал, – сказал я, – вот так, – я наклонился и поцеловал ее в

губы, которые раскрылись мне навстречу, а она продолжала тем временем держать мой член и не отпустила даже тогда, когда я выпрямился и уже собрался уйти.

– То насилие, – прошептала она, – не было таким уж неприятным... Он это делал деликатно...

– А нож? – спросил я.

– Какой нож?

– Нож, который он вам приставил к горлу...

– Это был не нож, а дверная ручка... обычная дверная ручка... медная... он ее выдернул из дверей, чтобы нас никто не застукал... он так волновался... никак не мог кончить... я ему помогала... про нож я выдумала... если это были вы... я никому не скажу...

И продолжала держать мой член. Я все же освободил его из ее рук, застегнулся и сказал:

– «Пан Тадеуш» и «Энеида» – вершины литературы. Я бы никогда не посмел их осквернить.

В общем, вся эта процедура закончилась ничем, потому что панна Миля так никого и не опознала, последним выполнил свой гражданский долг директор, который задержался там еще дольше, чем я, и вышел весь покрытый красными пятнами. Пани Конопелька прошептала мне на ухо:

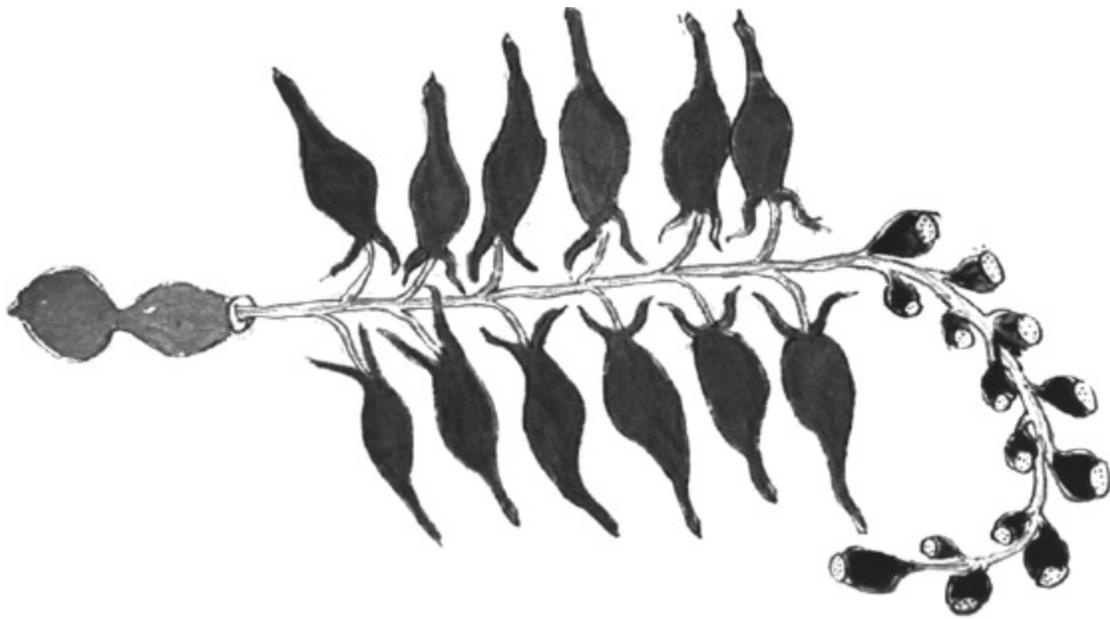
– Смотрите, какой упырь! Уже напился ее крови. Я бы тоже не прочь так вот после смерти жировать.

Потом все разбрелись по своим кабинетам и книгохранилищам, а директор повел панну Милю к себе, чтобы еще раз во всех деталях выслушать рассказ о преступлении.

– Какая же хрупкая и ранимая наша женская доля, – вздохнула пани Конопелька, когда мы оказались в нашем кабинете, – особенно здесь, в библиотеке, где нет проторенных дорог. Я бы на отдельных стеллажах повесила предостережение: «Сюда заходить опасно. Можете не вернуться». Тот, кто ее изнасиловал, затерялся среди книг, его никогда не найдут. Я уже говорила, что здесь происходят странные вещи, в отделе старых изданий я не раз слышала шепот, тревожный шепот, который то нарастал, то стихал... Тот шепот не принадлежал человеческому существу, хотя можно было различить отдельные слова, но я их не понимала, кто-то шептал на неизвестном языке, но почему-то я уверена, что это был не человек... А однажды я поскользнулась и чуть не упала, когда же нагнулась поднять то, что попало мне под ноги, то с ужасом обнаружила, что это пучок морских водорослей, они были свежие и пахли морем... а мокрые следы вели вглубь и исчезали там, вдали, куда я не решилась сунуться... Вы понимаете? В молодости я бывала в Аббации и видела море, запах его до сих пор живет во мне... До моря в Хорватии или Славонии ехать нужно добрых двое суток... Может, их везли в ведерке с морской водой... Но зачем? Чтобы бросить на пол? Но это еще не все. Года четыре назад я полезла на стеллаж 188, где у нас стояли еще не описанные манускрипты, туда никто не заглядывал уже много лет, и вдруг я почувствовала, как что-то мокрое хлестнуло меня по лицу, один раз, другой, я чуть с лестницы не свалилась, но успела крепко вцепиться в нее, а на третий раз я даже поймала рукой... представьте себе... рыбий хвост! Скользкий холодный рыбий хвост! Он, ясное дело, тут же выскользнул из моей руки и исчез между книгами, а я с мокрым лицом спустилась, зашла в клозет и взглянула в зеркало: на моих щеках остался красный след и три маленькие чешуйки... Позже я показала их одному профессору, и он определил, что это чешуя морской рыбы. Ну, она и пахла морем!

Она наклонилась, выдвинула из стола нижний ящик и, достав оттуда маленькую коробочку, раскрыла ее:

– Вот, взгляните... Это те вот засушенные водоросли и чешуя... Я храню их на всякий случай. Мало ли что... Не надо только из меня делать старую идиотку. Как это иногда позволяет себе наш покойник-директор. Я все это для того вам рассказываю, чтобы вы были бдительны, на днях я вас отправлю на стеллаж номер 188. И тогда вы должны будете вспомнить мою историю.



Иногда по вечерам Милькер выбирался в центр города и прогуливался там, но доходил лишь до Рынка и, обойдя вокруг ратуши, никогда не шел дальше, туда, где когда-то шумела безудержная река корзо, ему казалось, что, оказавшись там, он непременно встретит уйму призраков того старого несуществующего уже Львова, услышит их голоса: «Как поживаете, пан адвокат?» – «Целую ручки, пани инженерша!»... Не забредал он и в бывшую жидовскую часть города, потому что подозревал, что не выйдет оттуда живым, не выдержит того наплыва чувств, которыми захлебнется, когда из окон высунутся те, кого он знал и любил, и начнут звать на все голоса: «Ай, Йосель! Йосель! Да куда же ты? Иди к нам!.. Йосель, передай маме, что Ида замуж выходит! Пусть придет к нам, поможет готовить!.. Йосель! Ну какой же ты уже большой! Небось, за девчонками бегаешь?» – одна лишь попытка представить себе эту картину трогала его до глубины души, и он стряхивал с себя эти видения, как цвет с вишни. На Рынке всегда крутилось немало туристов, завидев их, старик замедлял шаг, а то и вовсе останавливался и некоторое время внимательно вглядывался, будто выискивал кого-то. У него не было ни одного знакомого, с которым он мог бы пойти на чашечку кофе и посидеть за столиком теплым вечером, поэтому обычно он пил кофе в одиночестве, пока кто-нибудь не подсаживался к нему, но он никогда ни с кем не вступал в разговор, хоть и прислушивался с равнодушным видом к чужой беседе. Мог сидеть так час и два за одной чашкой кофе, заказывая разве что еще кусочек струделя или маковника. Теплые, шелковые осенние вечера он любил больше всего, они укутывали его в сизые воспоминания, он купался в них, как в теплой купели.

– Пан Милькер, можно к вам присесть? – вырвал его из задумчивости девичий голос, старик поднял голову и увидел девушку с пышными курчавыми волосами и жгучими глазами. Крупные, будто вывернутые наружу губы улыбались, демонстрируя белые низки зубов. Он кивнул и удивленно наблюдал за тем, как девушка садится к столу, кивает официанту и заказывает кофе, вишневым ликер и яблочный пирог. Милькер хранил молчание, ожидая, когда девушка что-то объяснит, а когда она заговорила, почувствовал, как его пальцы задрожали и все тело напряглось.

– Простите, маэстро, что я вас побеспокоила. Я давно уже хотела с вами встретиться.

Маэстро? Милькер давно уже не слышал этого слова, казалось, оно донеслось до его ушей из глубины лет, он заглотнул воздух, но не произнес ни слова.

– Моя мама училась у вас... много мне о вас рассказывала. Я тоже играю на скрипке, но мама говорила, что ваши уроки были неповторимыми. Но когда я начала наводить о вас справки, оказалось, что вы уже не даете уроков.

Милькер кивнул.

– Это правда. Не даю. Я учил, пока имел надежду воспитать настоящего виртуоза, великого скрипача. Но мне попадались неучи или студенты, для которых музыка не была чем-то главным... чем-то таким, ради чего они могли бы принести в жертву свою личную жизнь, потому что искусство, как языческий бог, всегда требует жертв. И кто этих жертв не приносит – растворяется в пространстве. Таков закон. Как зовут вашу мать?

– Орыслава Горницкая. А меня зовут Ярка.

– Орыслава... Орыся... – задумался Милькер. – Да... одна из тех, кто не решился пойти на жертву. Выбрала тихое семейное счастье взамен музыке. Чтобы позже играть только своему мужу. Преимущественно на нервах. Музыка таких не прощает. Вы будете такой же?

– Нет. Никогда. Я сделала свой выбор. Я сказала маме, что для меня главное – музыка и чтобы она прекратила устраивать мою жизнь. И тогда она рассказала о вас. Она сказала, что только вы можете сделать из меня виртуоза. Что вам известны какие-то особые секреты скрипки, которые вы не торопитесь раскрывать, пока не убедитесь, что встретили именно того, кому их стоит раскрыть.

– Если вы пришли только для того, чтобы выведать мои секреты, то напрасно.

– Нет, я хочу усовершенствовать свою игру. И получить какие-то бóльшие знания только тогда, когда вы уверитесь во мне.

Милькер отпил кофе и задумался. Что-то в этой девушке подкупало его, он видел в ее глазах страсть, слышал в ее голосе жажду знаний, но чего-то ему все же не хватало, веры в нее, что ли?

– Когда-то все искусство принадлежало богам, – произнес он, – это для богов строили храмы, писали музыку, писали иконы, для богов танцевали и пели. А для кого хотите играть вы?

Девушка не колеблясь ответила:

– Для ангелов. Только не для тех, что изображены в церквях или на открытках, а для ангелов, которых мы носим в себе. Потому что человек носит в себе ангела, не ангела-хранителя, а ангела, который стонет, заключенный в сумерках души каждого из нас, и которого редко, очень редко нам удается высвободить из оков и дать ему свободу, чтобы он взлетел, вознесся, и тогда... тогда...

–...Тогда вместе с ним очищается и возвышающаяся душа наша, душа каждого из нас, – продолжил Милькер и добавил: – Вы цитируете Мирчу Элиаде...

– Это и мои слова. То есть они стали моими. Стали моим кредо. Ни за какие деньги я не предаю этого ангела.

– Если вы это говорите искренне... – опустил глаза старик. – К тому же особа, которая читает Элиаде, не может пройти мимо моего внимания.

– Ох, поверьте мне, – Ярка положила свою ладонь на его – свою тонкую нежную ладонь с узкими розовыми ноготками на его сухую и сморщенную, на его костлявые пальцы с продолговатыми, аккуратно подстриженными ногтями, положила и ощутила холод его руки, пульсацию синей жилки и надежду на то, что он начинает ей доверять.

– Я уже все решила для себя. Вы не пожалеете, что взяли меня в свои ученицы.



Работа в библиотеке мне нравилась, у меня было достаточно свободного времени, и я мог рыться в старых книгах и манускриптах, или, пристроившись на стремянке, записывать какие-то мудрые мысли в свою «Книгу». Как-то мне попал в руки трактат малоизвестного, но выдающегося ученого Де Селби о зеркале. Казалось бы – зеркало... А вот нет никакого другого предмета в нашем быту загадочнее, таинственнее и коварнее, я еще с детства восхищался им и, распластавшись на полу и поставив зеркало напротив себя, медленно опускал его верхнюю часть так, что пол подо мной, казалось, убегает куда-то вниз, и я вот-вот сползу туда – в неизведанную бездну, в нечто ужасное и необратимое, может, даже в самое пекло, меня охватывал страх, я чувствовал, как ноги окутывает тепло, а через мгновение их обожжет жар, и я поспешно поднимал зеркало, тогда пол поднимался вместе со мной, а скоро я уже снова готов был сорваться, но уже вниз головой. Так могло повторяться много раз, но еще интереснее было, когда я выключал свет, зеркало тогда демонстрировало таинственные пропасти, странные крадущиеся тени, а с помощью второго зеркала я уже проникал в бездонные лабиринты, в которые проваливался целиком, раздробливаясь на множество ликов и уменьшаясь до размеров макового зернышка. Мне и сейчас нравится эта игра, особенно после того, как я пришел к выводу, что зеркала демонстрируют внешность человека в более молодом возрасте, чем он есть на самом деле. Ведь свет распространяется с точно определенной скоростью, а отсюда следует, что прежде, чем в зеркале появится отражение какого-то предмета, необходимо, чтобы лучи света сначала упали на этот предмет, затем достигли поверхности зеркала, отразились от него и вернулись к этому предмету, в данном случае к глазам человека, а это значит, что между тем моментом, когда человек бросает взгляд на свое отражение в зеркале, и тем моментом, когда отраженный образ отображается в глазу, проходит вполне конкретный промежуток времени, поддающийся измерению. Конечно, промежуток этот так мал, что едва ли кто-нибудь стал бы рассматривать этот феномен как проблему, достойную серьезного обсуждения, если бы я не нашел подтверждения этой теории именно у Де Селби, который пришел к таким же выводам еще триста лет назад. Так что, заметьте, я докопался до этого самостоятельно, а на трактат Де Селби наткнулся гораздо позже. Ученый предлагал отразить первое отражение во втором зеркале и считал, что в этом втором отражении можно при тщательном изучении выявить различия по сравнению с первым. Де Селби даже соорудил систему параллельных зеркал, каждое из которых отражало в бесконечном ряду его все уменьшающееся и уменьшающееся лицо, заключенное между зеркалами, следовательно Де Селби утверждает, что он очень внимательно «с помощью мощного телескопа» рассмотрел отражение, удаленное невероятно далеко от первоначального в бесконечном ряду параллельных

отражений. Описание того, что он увидел в телескоп, поражает, Де Селби утверждает, что по мере того, как отражения его лица уходили в бесконечность, они становились все моложе и моложе, а последнее отражение, которое ему удалось разглядеть, – увидеть его невооруженным глазом было совершенно невозможно, – было лицом мальчика лет двенадцати «исключительной красоты и благородства». Ему не удалось добраться до отражения, в котором он увидел бы себя в колыбели, – «из-за кривизны поверхности земли и ограниченных возможностей телескопа».

Это открытие меня потрясло до глубины души, я подумал, что забытый трактат Де Селби необходимо немедленно опубликовать и начать промышленное производство телескопов и доступной системы зеркал, чтобы каждый человек мог заглянуть в свою юность, не ограничиваясь одними фотографиями. Более того, развернув зеркала в противоположном направлении, можно было бы заглянуть и в свое будущее, увидеть, как меняется облик того или иного человека, а благодаря этому предвидеть болезни и смерть. Но еще больше меня поразило другое открытие: если я до этой теории додумался сам и если человеческая душа находится все время в перемещении из тела в тело, то нет ничего удивительного, если душа Де Селби вселилась в меня. Когда я дочитал его трактат до конца, то открыл еще одну вещь: Де Селби в своих опытах опирался на выводы персидского средневекового ученого Альмутасима, чье имя переводится то ли как «Ищущий крова», то ли как «Кровоискатель». И что же? Я сразу почувствовал, как моя душа постарела еще на несколько веков, и я уже чуть было не затараторил на фарси, но меня из такого реального приближения к Альмутасиму вывела пани Конопелька, велев немедленно навести порядок на стеллаже № 188. Книжки там лежали как попало, в основном это были изрядно потрепанные издания бог весть каких времен, среди которых я наткнулся на восемь выцветших листов. Просмотрев нумерацию, я увидел, что не хватает еще четырех, было похоже на то, что кто-то их вырвал из неизвестной книги. Листы были исписаны нотами, а между нотами были какие-то странные знаки и рисунки – я узнал корень мандрагоры, виселицу с повешенным, еще там были растения, птицы и звери, но такие, каких в природе никогда не существовало, и различные органы и части человеческого тела, отдельные рисунки и тиснение были настолько микроскопические, что я решил эти листы прихватить с собой и попытаться рассмотреть внимательнее с помощью лупы, а поэтому спрятал их за пазухой и, едва дождавшись конца работы, помчался, но не домой, а к Йоське, он ведь у нас учился в консерватории, он должен был быстрее разобраться, что к чему. У Йоськи просто руки затряслись, когда он увидел эти древние ноты, и он тут же сел за пианино и попытался их наиграть, но вышла какая-то жуткая какофония, и Йоська сказал, что эти ноты, наверное, зашифрованы, то есть расположены в совершенно другом порядке, но в каком – загадка, хотя... Здесь он вооружился лупой и, присмотревшись внимательнее, заметил между нотных строк надпись на латыни.

– Эта музыка каким-то образом связана с медициной. Здесь написано, что тональность звучания любой ноты соответствует тональности звучания соответствующего органа или части тела.

– Тональность звучания органа или части тела? – удивился я. – Ничего более нелепого не приходилось слышать.

Однако Йоська сделал копии и снимки загадочных листов и принялся их расшифровывать. На следующий день я показал листы пани Конопельке, и она очень удивилась:

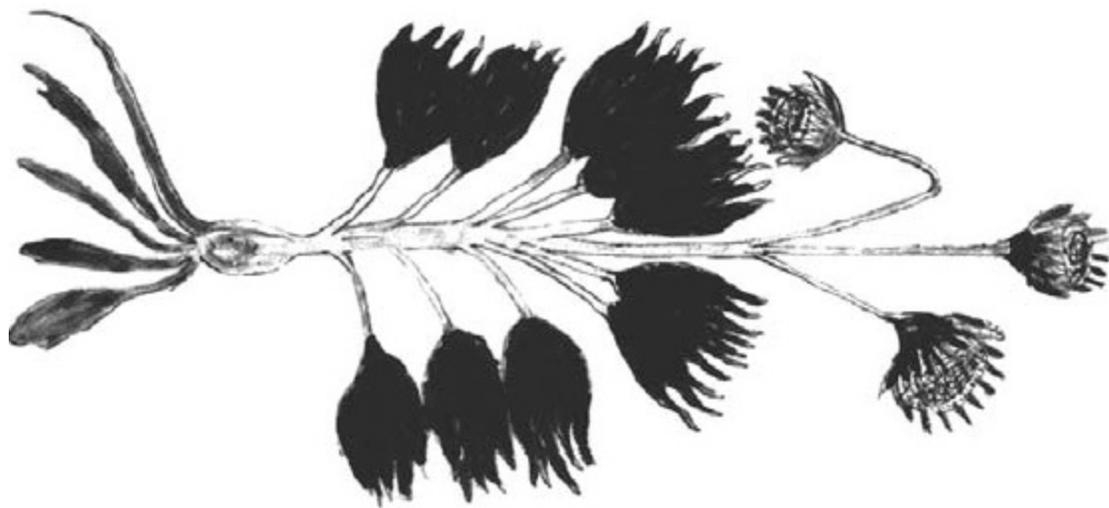
– Не может быть! Ведь это утраченный трактат Калькбреннера, за которым охотится масса людей. В 1640 году львовский аптекарь и медик Иоганн Калькбреннер создал музыку, услышав которую человек может вспомнить все детали своей предыдущей жизни. Правда, при условии, что он слышал эту же музыку перед смертью.

– С каких это пор аптекари пишут музыку? – удивился я.

– Калькбреннер был универсальным человеком. Однако трактат его исчез. Сохранились лишь упоминания о нем в трудах других ученых. И кто знает, не ведут ли эти листы свое происхождение именно из того трактата. Но это только восемь листов, а где остальные? – С этими словами она, поманив меня своей сухой скрюченной ручонкой, увлекла в глубину зала между отвесных скал стеллажей и остановилась возле старых, переплетенных в кожу фолиантов, на корешках которых не было видно ни одной надписи, кроме тисненых букв и цифр. – Вот возьмите в руки эту книгу, – указала она на манускрипт в черном переплете, – и раскройте на семьдесят седьмой странице.

Книга была тяжелая, будто свинцом налитая, на семьдесят седьмой странице мерцал свет, то и дело что-то блистало и слышался шум дождя, свет в книге то угасал, то вспыхивал снова, порывистый ветер сотрясал страницы и веял мне прямо в лицо запахом озона, вороньих гнезд и полыни, молния словно сшивала страницы, не давала им разлететься, я перевернул страницу, шум ветра усилился, на восьмидесятой странице он уже заглушал слова пани Конопельки, которая пыталась мне объяснить, что дальше листать не стоит. Правда, я догадался об этом по выражению ее лица и беспокойным движениям. Поэтому захлопнул книгу и положил ее на место.

– В этой книге идет дождь, гремит гром и сверкает молния, – сказала пани Конопелька, – а вон в той шумит лес, пахнет хвоей и слышны чьи-то шаги, похрустывание сухих веток, вот в этой восходит зимнее солнце, а в той – заходит... Никогда не берите в руки книгу, в которой заходит солнце, ибо это может быть ваше солнце...



Наткнувшись на это место, Ярош с удивлением вспомнил свой перевод произведений арканумского поэта Люцилия, а еще описание его библиотеки, сделанное кем-то из друзей. Среди книг этих были:

Книга советов

Одна странная Книга, которую подарила Люцилию слепая Вивдя, состояла из советов. В предисловии неизвестный обещал тому, кто будет прилежно им следовать, высшее блаженство. Но слепая Вивдя предупредила, что Книгу просто так, забавы ради, читать нельзя, книга все равно будет влиять на читателя и губить его душу. Разве что если будешь перелистывать страницы ножом, освященным двенадцать раз, а перед прочтением посыпать освященным маком.

И вот однажды Люцилий решился прочесть несколько страниц, вооружившись освященным ножом.

«Когда тебе явится Дьявол, попробуй Его убедить, что ты не имеешь в отношении Него никаких враждебных намерений, – писалось в книге. – Но делай это осторожно, без спешки, потому что Дьявол – существо, которое медленно соображает и может неправильно тебя понять.

Лучше всего начать с глаз. Возьми в обе свои руки Его руку, обычно увенчанную огромным черным когтем, и выцарапай себе левый глаз. Правого пока не трогай, чтобы не ошибиться во всех последующих действиях. Итак, затем, не выпуская из рук дьявольской руки, выбей ею себе зубы. На кровь не обращай внимания – рано или поздно все равно перестанет сочиться.

Потом отпусти Его руку и поклонись Ему. Камнем, который ты всегда носил за пазухой, ударь себя в грудь. Если с первого раза сломаешь себе ребро, то считай, что ты удалец-молодец, и можешь гордиться своей ловкостью. Извлеки сломанное ребро и подай Дьяволу. Этот акт особенно важен, и ты должен относиться к нему с наивысшей серьезностью. Ведь впоследствии из твоего ребра Дьявол сотворит Ясную Панну, которая родит тебя. Правда, придешь ты в этот мир не один, а в образе близнецов, из которых один будет левым, а другой

– правым.

Теперь, когда ты обеспечил свое будущее, можешь вести себя смелее. Дьяволу это, безусловно, понравится. Самое важное, делай все со смехом и песнями, чтобы таким образом показать, какой ты сорвиголова.

Бей себя снова камнем в грудь, вытаскивай ребра и швыряй Ему к ногам. Из них вырастут твои дети, которые будут гордиться тобой. Кромсай себя без сожаления.

Дьявол будет очень тронут, если ты предложишь Ему сделать из твоих кишок надувные шары. Он будет надувать их, а ты пробивать колючкой. Вот увидишь, как Он будет радоваться при каждом «Бух!»

Да и ты позабавишься.

Последнюю кишку – самую толстую – приложи Дьяволу к заднице и попроси его перднуть. Когда кишка наполнится газом, вознесись с шаром в голубые небеса и стань ангелом».

Книга «Вентерь»

Эта книга была такая толстая, что ее одной рукой не удержишь. На первой странице был изображен обычный вентерь, который устанавливают в реке на рыб, и больше ничего, но, перевернув эту страницу, ты мог обнаружить текст, который заставлял задуматься над тем, стоит ли продолжать листать книгу.

«Дорогой читатель, – было написано там. – Имей в виду, что если ты отважишься читать книгу «Вентерь», то с каждой прочитанной страницей будешь терять вес, становясь все меньше и меньше, чтобы в самом конце превратиться в такую кроху, которой, возможно, и не под силу уже будет перевернуть последние страницы. Но если ты успел прочитать эту книгу до самого конца, прежде чем исчезнуть, то сразу вернешься к своему первоначальному состоянию, и к тому же обретешь вечную жизнь. Итак, читать следует как можно быстрее, стараясь, однако, не пропустить ни единой страницы, ни единого слова, иначе весь твой труд пойдет насмарку. Если попытаешься заглянуть внутрь, потеряешь зрение. Ты должен листать страницу за страницей, а когда дойдешь до второй половины, то начнешь наткаться на маленькие расплюснутые трупики своих предшественников. Пусть они послужат тебе предостережением и ускорят твое чтение.

Вот и все, что тебе позволено знать об этой книге».

Люцилий решил для себя, что приступит к чтению этой книги только тогда, когда почувствует, что пришла пора умирать, почему-то он был уверен, что может предчувствовать этот момент. Смерть в книге казалась ему невероятно увлекательной, намного интереснее, чем в постели.

Книга «Муравейник»

Эта книга могла разозлить любого, даже такого терпеливого читателя, каким был Люцилий. И только его благоговейное отношение к книгам не позволяло швырнуть ее в огонь.

А дело было в том, что книга имела свой секрет. Итак, если ее просто раскрыть, то

можно увидеть лишь муравейник букв, копошащихся и расползающихся подалее от ваших глаз, бегущих со страницы на страницу, не позволяя вам уловить ни слова. Но если бы кто-то оказался настолько ловким, чтобы суметь раскрыть эту книгу так резко, что буквы не успели бы разбежаться, и уловить таким образом одно-единственное слово, (неважно даже, какое именно), то это сразу укротило бы книгу, и она позволила бы себя прочесть.

Но все попытки Люцилия подстеречь буквы в состоянии порядка, прежде чем они бросятся наутек, оказывались напрасными. Ни разу не смог он их застать врасплох. Буквы как будто постоянно были начеку и ежесекундно готовы были превратить текст в хаос. Вероятно, таков был их способ существования, и это доставляло им удовольствие.

Люцилия очень интересовало, кто был автором книги и как ему удалось написать это. Но и имя автора невозможно было прочитать. Ничего, ни единого слова.

Так заслуживает ли существования такая книга? Но если никто ее не сжег за сотни лет до меня, думал Люцилий, то и я не сожгу. А вдруг кому-то все-таки удастся приручить ее!

Пропавшие слова

Среди книг Люцилия была одна книга с чистыми страницами. Там нельзя было прочесть ничего, кроме одного-единственного Слова. И было то Слово такое могущественное, что часто заставляло Люцилия открывать книгу на любой странице и зачитывать его. Книга эта имела над Люцилием власть, такую власть, которой, возможно, ни один книжник не имеет над книгой, а поэтому выходило, что не Люцилий читает книгу, а она сама вынуждает его к этому. Причем совсем не обязательно, чтобы она попала на глаза, стоило Слову всплыть в памяти, и уже ничем нельзя было сдержать желание взять книгу в руки.

Спрашивается, зачем вообще ее читать, если там на каждой странице написано одно-единственное Слово, да и его Люцилий знал наизусть? Дело в том, что Слово, в зависимости от настроения, каких-то внешних обстоятельств, могло восприниматься по-разному, а кроме того, Люцилию все время казалось, что наступит такой момент, когда он, раскрыв книгу, сможет прочесть еще что-то, кроме того единственного Слова.

Несмотря на свою власть над Люцилием, книга долгое время не проявляла никаких агрессивных намерений и ничем не злоупотребляла. Читая ее, Люцилий всегда чувствовал, как Слово наливается какими-то тайными значениями, но неохотно поддается раскрытию этих значений, Слову будто нравилось находиться именно в этом состоянии многозначности и таинственности. Возможно, Слово боялось, что если его до конца поймут, то оно тут же умрет, превратится в набор звуков, уже непригодных для ежедневного перечитывания и медитаций. Этот страх, очевидно, со временем усиливался, ибо желание быть перечитанной у книги постепенно угасало, и она уже не так часто, как это бывало раньше, манила к себе хозяина.

Но однажды Люцилий раскрыл книгу, которая стояла на полке справа от той, с одним Словом, и – ужаснулся. Книга, в которой были собраны притчи Востока, превратилась тоже в книгу с одним-единственным Словом. Слово было другое, но это все равно не утешало, ведь пропало столько замечательных произведений. Люцилий заглянул в книгу, стоявшую слева, и ужаснулся еще больше – и эта книга превратилась в однословную. Это уже было похоже на эпидемию. Книга заразила болезнью все книжки, которые стояли рядом с ней. Люцилий

принялся их листать и обнаружил, что отдельные страницы тоже заболели однословием.

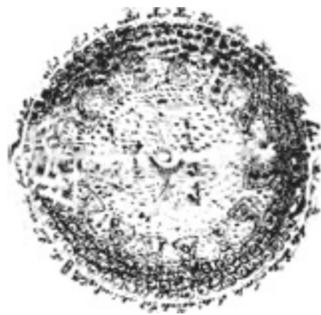
Что было делать? Первая мысль – немедленно сжечь все однословные книги, пока эпидемия не распространилась на всю библиотеку. Но эти слова... они, возможно, мне еще пригодятся, – колебался поэт, но тут же задавал себе вопрос: а что, так трудно их запомнить? И даже если каждое из этих слов может быть квинтэссенцией книги, все же не хотелось бы, чтобы вся библиотека превратилась в сборник квинтэссенций.

В конце концов Люцилий сжег все однословные и частично зараженные книги. И в тот миг, когда они превратились в пепел, он забыл все слова, появившиеся на их отбеленных страницах. Не помнил даже того первого Слова, в которое вчитывался столько лет и от которого эпидемия перекинулась на соседние книги. С тех пор он постоянно жаждал слов, хотел их иметь при себе и теперь с какой-то особой жаждой набрасывался на книги, в надежде встретить и узнать хотя бы одно из тех слов, искал их лихорадочно и в своих рукописях, но к большому своему удивлению ничего даже отдаленно похожего не находил. И все же упрямо верил, что найдет. Для этого исписывал сотни листов бумаги, надеясь, что какое-то из этих слов все-таки всплывет из подсознания.

Не всплывало. Зато количество произведений все росло и росло.

Возможно ли такое, чтобы исписать такую гору бумаги и ни разу не использовать хотя бы одно из этих слов? – удивлялся Люцилий, но тут же вспомнил, что существуют десятки, а то и сотни слов, которые он хотя и знает, никогда не употребит, но все же они существуют: «творческий запал», «воодушевление», «творческое наследие», «в творческом вдохновении»... Эти слова вызвали у него отвращение, а какие эмоции вызывали у него те слова? Он задумался, может, именно это и поможет ему вспомнить их. Бесспорным было лишь одно: те слова вызвали у него желание писать.

Но удивительная вещь – их отсутствие вызвало еще большее желание писать, потому что за это сравнительно недолгое время он создал неизмеримо больше, чем за предыдущие годы. Это можно сравнить, например, с воздухом и свободой. Когда они есть, их не замечаешь. Когда поэту не хватает воздуха, он умирает, а когда не хватает свободы, он превращается в пророка.



– Но я вас привела сюда не для того, чтобы похвастать нашими сокровищами, – продолжила пани Конопелька. – Трактат Калькбренера находился на верхней полке, видите вон там свободное место между книгами? На том месте, где стояла пропавшая книга, была вставлена дощечка, чтобы соседние книги не сдвинулись, поскольку каждая из этих книг имеет свое место и не может его сменить, иначе ее удивительные свойства тоже изменятся. На дощечке указана дата, когда книга исчезла: «Anno Domini 12.12.1812». А теперь ведите меня туда, где вы нашли эти карточки.

Мы продолжили свой путь среди стеллажей, и хотя я шел довольно быстро, старушка семенила за мной, не отставая ни на шаг, а порой неожиданно оказывалась впереди меня, невесть когда обогнав, и пропускала вперед, чтобы я вел ее, пока в конце концов мы не остановились у знакомого уже стеллажа. Она велела мне забраться наверх и внимательно обследовать деревянную полку. Лестница, вибрируя, нещадно скрипела и прогибалась под моим весом, я на всякий случай придерживался руками не за лестницу, а за полки. Хорошо, что я прихватил с собой фонарик, там под самым потолком царил полумрак, я осветил на темную полку, которая хоть и была выстругана рубанком, но с годами сильно потрескалась, и принялся рассматривать ее дюйм за дюймом, пока не увидел трещинки, которые уже больше напоминали не естественные, а искусственные царапины, и когда я сообщил об этом пани Конопельке, она велела мне слезть вниз, взять чистую бумагу и карандаш и, снова поднявшись наверх, приложить бумагу к тем царапинам и затушевать их карандашом. Потом она схватила эту бумагу и поковыляла с такой скоростью, что я с трудом за ней поспевал, буквально порхала между стеллажами, радостно побрякивая и хихикая. Когда я вбежал в кабинет, старушка уже успела положить бумагу на стол, вооружилась лупой и прищурила глаз. То, что я увидел и без лупы, выглядело так: круг, а внутри круга несколько цифр.

– И что вы об этом думаете? – спросила старушка, постучав пальцем по бумаге. – Наконец-то мы попали на след. Но куда он ведет? Это круг... Он на что-то должен указывать. – Потом стала рисовать карандашом круги, один возле другого, казалось, это будет продолжаться до тех пор, пока она не изрисует весь лист, но вдруг она остановилась, подняла голову и улыбнулась мне: – Круг! А по-немецки как?

– Ring!

– Вот именно! Ring! Или же Рынок! А?

Я пожал плечами. Ну, Рынок... Но пани Конопелька уже взяла быка за рога:

– Немедленно мчитесь на Рынок и пройдите по домам с вот этими номерами, – ткнула она пальцем в цифры, – и запишите мне то, что там на этих домах написано.

– Вы имеете в виду вывески?

– Какие вывески, дубина? Нет ничего менее долговечного, чем вывески. Перепишите латинские надписи! И чтобы мне ни одной буквы не пропустили и не напортачили.

Я был огорошен и решил, что пани Конопелька окончательно утратила здравый смысл, но послушно взял карандаш и несколько листов бумаги вместе с тем листом, где были скопированы цифры, и потащился на Рынок. К своей задаче я отнесся с обычной для меня добросовестностью, поэтому вернулся в библиотеку только через три часа, пани Конопелька за это время чуть яйцо не снесла, она набросилась на меня с упреками и бранила, что я такой пан Гуздральский^[64], каких свет не видывал, и что она, если бы не ее плохое зрение, справилась бы с этой задачей за полчаса, но потом схватила дрожащими руками листы и, устроившись в кресле, принялась читать вслух и делать пометки.

– Так, Рынок, 2... Дворец Бандинелли... «A 1739 D: 28 AVG»... Это сокращенно, а полностью должно звучать так: «ANNO 1739 DIEI 28 AVGUSTI». То есть «Года 1739 дня 28 августа». Но нас интересуют только цифры, поэтому выписываем только их. 1739 и 28. Первая – номер стеллажа, вторая – номер полки. Рынок, 4... «MA SR», а ниже – «MD CL».

– Это что за абракадабра?

– «MARTINUS ANCZEWSKI SECRETARIUS REGIS MEDICINAE DOCTOR CONSUL LEOPOLIENSIS». То есть «Мартин Анчевский, секретарь короля, доктор медицины, львовский ратман».

– Но здесь нет цифр.

– Ошибаетесь, есть. Эти буквы – одновременно и римские цифры. С – 100, L – 50, D – 500, M – 1000. В верхнем ряду есть номер стеллажа: M – 1000, в нижнем – номер полки. Поскольку сотой полки у нас нет, а есть пятидесятая, то получаем: 1000 и 50... Дальше – Рынок, 23... Здесь цитата из Библии «TURRIS FORTISSIMA NOMEN DOMINI» и цифра «PROVERBIA 18», то есть «имя Господа – крепкая башня. Притчи, 18», не указана только строка цитаты. Но строку легко найти. Смотрим в Библию... так... вот эта цитата... 10-я строка. Записываем: 18 и 10. Видите, как просто и как хитро? Дальше. Рынок, 36. «HIS DIE 1 MA IULY» и «MARIA ANNO DOMINI 1730». То есть «Иисус дня 1 июля» и «Мария года Божьего 1730». Выписываем 1730 и 1.

– А месяцы? – поинтересовался я. – Они ведь тоже имеют свои цифровые соответствия.

– Имеют. Но они нам не нужны. Везде должно быть по два числа, то из них, что больше, означает номер стеллажа, а что меньше – полку. Или я последняя дура, если это не так. Вы же не считаете меня душой?

– Боже упаси. Я просто потрясен вашими глубокими познаниями.

– Э, когда-то учили... не то что сейчас...

– Но почему вы так уверены, что большее число – это номер именно стеллажа?

– А вы можете себе представить полку № 1730? Нет? И я не могу, потому что наша библиотека не небоскреб. Зато стеллажей у нас – о-го-го! Итак, что мы имеем? Стеллаж № 1739, полка 28. Стеллаж № 1000, полка 50. Стеллаж № 18, полка 10. И стеллаж № 1730, полка 1.

Она старательно выписала все цифры на бумажку и, вручив ее мне, сказала:

– А теперь отправляйтесь в увлекательное путешествие по неведомым тропам нашей библиотеки. Но только не в то крыло, куда вы до сих пор ходили, а в противоположное.

– Это какое же?

– А то, где на дверях красуется череп с костями.

– Господи! Там же написано «Вход строго воспрещен»!

– Так оно и есть. Там находятся закрытые фонды. Туда можно заходить только со специальным пропуском, который могут выдать исключительно пан директор, к сожалению, уже покойный, и я. Ведь это святая святых, заповедная зона, несусветные края... Не один уже ушел и не вернулся... Но только не вы. Я верю в вас. Вы вернетесь с победой.

– Над кем?

– Над собой. Над своими страхами, – она говорила так, словно провожала меня в бой, и я чем дальше, тем все меньше испытывал желание идти в те неизведанные края.

– И что я там должен искать? – спросил я.

– Не знаю. Просмотрите всю полку, книгу за книгой, пролистаете каждую страницу... Хотя постойте... Мы выпустили из внимания номера домов на Рынке – 2, 4, 23 и 36. Возможно, они нам точнее подскажут местоположение того, что мы ищем.

– А что мы ищем?

– Еще раз меня об этом спросите, и я превращу вас в куст герани. Не имею ни малейшего понятия. Возможно, это какая-то надпись – в книге или на самой полке, а возможно, лист бумаги, вложенный в книгу. Так вот – на 28-й полке стеллажа № 1739 сначала осматриваете вторую книгу с левого края. Если там ничего нет, тогда вторую книгу с правого края. Если и это тупик, тогда осматриваете все книги на этой полке. Что-нибудь вы все же должны найти. И так путешествуете себе от стеллажа к стеллажу. Номер дома на Рынке должен соответствовать положению книги с того или другого края. Ферштейн^[65]?

– Вроде бы да. Именно в таком порядке, как вы написали?

– А как бы вы хотели?

– Ну, видите ли, мне сначала придется прошагать до стеллажа № 1739, потом вернуться к № 1000, потом идти назад к № 18 и снова тащиться аж до 1730. Не проще ли было бы, чтобы я начал с № 18 и так далее?

Пани Конопелька поправила очки и посмотрела на меня так пристально, как никогда до сих пор не смотрела.

– Молодой человек, – сказала она, – вы меня уже заморочили. Идите себе, как вам в голову взбредет, только принесите мне что-нибудь. Ага... вот вам документ. Держите его при себе. Это пропуск в закрытые фонды. А еще возьмите вот это... – Она порылась в ящике, достала какой-то сложенный вчетверо лист бумаги и протянула мне: – Это если захотите есть или пить... Тогда и развернете. Сейчас не рассматривайте, но берегите его, потому что если потеряете... не знаю, кто вам и поможет...

– Есть и пить? Но ведь я не иду так уж надолго, – удивился я.

– Что? Ненадолго? А как вы себе представляете – где этот 1730-й стеллаж? Если вы думаете, что быстро с этим справитесь, то очень ошибаетесь. В закрытых фондах стеллажи нумеруются не только цифрами, но и буквами, то есть после № 1 идет № 1a, № 1b, № 1c, № 1d и так черт знает до каких пор. Но вы обращаете внимание только на стеллажи без букв. Поняли? Ой, чуть не забыла – матрасы и постельное белье лежат через каждые сто стеллажей. Как видите, администрация обо всем позаботилась.

– А если мне, извините, захочется в клозет?

– Там вдоль стен полно цветочных горшков... всякие фикусы, шмикусы, рододендроны, шмародендроны... Давненько их не поливали...

– А если я захочу...

– Да и не удобряли их давно... Так что с Богом...

– Тогда очень прошу вас сообщить моей маме...

– Хорошо-хорошо, не переживайте. Сейчас отправлю к ней кого-нибудь.

Так вот я и отправился в неизведанное, но перед этим, подойдя, не без волнения, к двери с черепом, костями и надписью «Wejście zabronione^[66]», к двери, на которую я не раз обращал внимание, но приблизиться не решался, робко постучал, открылось окошко, и какая-то бородатая физиономия, сверкнув одним глазом, внимательно меня изучила, бурча себе под нос что-то невнятное, я протянул документ, физиономия прокашляла что-то, крикнула, вздохнула и открыла дверь. Я увидел небольшого горбатого человечка на худеньких ножках с большой лохматой головой, чтобы достать до окошка, ему пришлось подставить под ноги скамеечку, он махнул рукой, давая понять, что я могу идти, куда мне вздумается, и захлопнул дверь, не сказав ни слова, только кряхтя и постанывая, будто бы передвигал невесть какой тяжеленный груз, потом уселся в старое скрипучее кресло, накрылся клетчатый пледом по самую шею и задремал, с шумом втягивая воздух.

В ноздри мне ударил запах не только старых фолиантов, плесени и кожи, деревянных стеллажей, изъеденных шашелем, но и какой-то странный и невозможный в таком месте, фантастический запах копченостей, запах этот был настолько выразительным и недвусмысленным, что я поначалу растерялся, куда же это я попал, и начал озираться по сторонам и искать источник этого запаха, наконец, пришел к выводу, что шел он откуда-то сверху, но стеллажи высились, как отвесные скалы, верхние полки терялись в тумане, настоящем сизом тумане, пахнущем колбасами и ветчиной, за окнами моросил дождь, было пасмурно и холодно, в библиотеку проникало очень мало света, в целях безопасности здесь не было ни электричества и лампочек, ни свечей, оставалось только одно – дать возможность глазам привыкнуть к этому. Стеллаж № 18 я нашел, как и предполагал, быстро, приставил лесенку и, добравшись до десятой полки, взял двадцать третью с левого края книгу. Это была «De historia plantarum» Теофраста, изданная в 1620 году, – книга довольно объемная и тяжелая, листать ее на лестнице было неудобно, я спустился и, усевшись на подоконник, стал просматривать страницу за страницей, скоро я закончил эту чрезвычайно важную работу, но не нашел ни вложенного листа бумаги, ни надписи и уже собрался было лезть за книгой с правого края полки, как тут внимание мое привлекла задняя сторона переплета – она была несколько толще передней, я вынул из кармана нож, с которым никогда не расставался, и осторожно приподнял бумагу, которой переплет был оклеен изнутри. Я не ошибся, там был сложенный вдвое лист, вытащив его, я увидел латинский текст и изображения растений с пометками и латинскими подписями, спрятал лист в карман, положил книгу на место и отправился к одностычному стеллажу. Дождь за окнами перешел в ливень, с особым рвением дождь колотил по жестяной крыше, просто в ушах стучало, а грохот и шум заглушали мои шаги, сумерки медленно сгущались, и туман с верхушек стеллажей опускался все ниже, я шел, поглядывая на номера стеллажей, и чувствовал, как мое хорошее настроение улетучивается, потому что стеллажи и в самом деле множились на глазах, иногда я спотыкался о какую-то книгу или стопку книг, поэтому мой первоначальный план не идти, а бежать оказался не таким уж простым, особенно после того, как я несколько раз упал и больно ударился головой, из-за этого я не шел, а плелся, вот и добрался до 1000-го стеллажа только к вечеру. Второй лист был спрятан в «Medicinae herbariae» Агриколы, книга была переплетена в оливкового цвета сафьян с рельефным орнаментом и содержала множество цветных иллюстраций, я не удержался, чтобы не полистать ее, и с сожалением положил обратно на полку, потому что нужно было где-то пристроиться на ночлег, и тут я уловил шорох, было похоже на то, что кто-то листал книгу, листал лихорадочно быстро,

поплеывавая при этом на пальцы, я замер и стал прислушиваться, а потом принялся красться на звук как можно осторожнее, хотя это и было излишним под такой грохот ливня, и вот наконец я наткнулся на девушку и узнал в ней панну Милю, которую на днях изнасиловал неизвестный. От неожиданности она резко захлопнула книжку и спрятала ее у себя за спиной.

– А вы что здесь делаете? – пробормотала она взволнованно.

– Выполняю задание пани Конопельки.

– Можно поинтересоваться какое?

Я заметил, как блеснули ее глазки, и ответил:

– Нет.

– Так я и думала, – вздохнула она. – Вы не голодны?

– Голоден. Хорошо, что вы напомнили. Пани Конопелька дала мне какую-то бумажку, чтобы я раскрыл ее, когда проголодаюсь. Вот она.

– Да, знаю, – сказала девушка, рассматривая лист бумаги, – здесь расписано, где, на каких стеллажах и полках есть фляги с водой и что-нибудь для перекуса. А я знаю, где здесь вино.

– Откуда в библиотеке вино?

– Вина здесь хранятся еще с австрийских времен. Их пан директор перевез сюда из винных подвалов графа Сапеги и разместил на разных полках, а карта этих вин хранится только у него. И не только вин. Под самым потолком кое-где висят ветчины, колбасы, грудинка и вызревают... Вы, наверное, почувствовали запах копченостей, когда сюда вошли?

– Почувствовал... Но как это – вызревают? Копчености должны томиться в дыму.

– Да, они и томятся месяцами, годами... Но не в дыму, а в тумане, в том сизом мареве, которое клубится под потолком, их отсюда не видно, и не старайтесь разглядеть. Но я знаю, где они. Пан директор выдал мне эту тайну в качестве компенсации за утраченную невинность. Которая все еще, хи-хи, при мне.

– Как? – оторопел я. – Так вас не изнасиловали?

– Нет.

– А как же пятна крови на «Пане Тадеуше» и капля спермы на «Энеиде»?

– Кровь была из моего мизинца, а сперма... я смешала немного сметаны с крахмалом и только маленькой капелькой украсила книгу, остальное размазала по полу.

– Зачем же вы устроили этот цирк?

– Это был не цирк. Я действовала по плану. Все было сделано для того, чтобы попасть в закрытые фонды. У вас ведь есть пропуск?

– Да, мне дала его пани Конопелька.

– Ну вот. А я убедила пана директора, что тоже должна его получить, чтобы разыскать своего насильника, который очевидно скрывается в закрытых фондах. Понимаете? А теперь полезайте на этот стеллаж и на 48-й полке за «De occulta philisophia» Корнелия Агриппы возьмите бутылку «Barbera D'Asti» 1889 года. А после поднимитесь еще выше и снимите колечко колбасы.

Я просто оторопел от услышанного, но послушно взобрался по лестнице и действительно нашел бутылку вина, а поднявшись еще на несколько ступенек, задел головой колбасу, которая пахла так опьяняюще, что я едва сдержался, чтобы не надкусить ее. Мы уселись на стопки книг, я откупорил бутылку своим перочинным ножом и уже после первых глотков почувствовал приятное блаженство и благодарность к девушке за то, что она

скрасила мои скитания. Мы пили и закусывали вкуснейшей колбасой, к аромату которой приложились все те мудрецы и философы, еретики и проходимцы, гностики и прогностики, историки и литераторы, поэты и драматурги, которые теснились на полках, даже не подозревая, что когда-нибудь, через сотни лет, их старые фолианты будут источать не только запах старой бумаги, кожи и краски, но и запах жженой древесины, хвои, сухих листьев...

– Итак, до вас дошло, какое я для вас ценное приобретение? – спросила панна Миля, игриво улыбаясь и подталкивая меня локтем. Однако я не понял намека и только кивнул. Вино уже добралось до головы и стало тихонько кружить по закоулкам мозга, мне было хорошо, спешить уже было некуда. – Мы ведь теперь будем странствовать вместе, – добавила она, и только тогда я понял, к чему она ведет, но не выразил своего удивления, а только спросил:

– И далеко вы собрались? Что вы ищете?

– Этого я вам не скажу. Хотя то, что ищу я, может быть вплотную связано с тем, что ищете вы, хотя я и не вполне уверена.

При этом она кокетливо посмотрела на меня, словно ожидая, что я расскажу о цели моих поисков, но я только пожал плечами и сказал:

– Откровенность за откровенность: пока у меня нет оснований думать, что мы путешествуем с одинаковой целью. Но ваши губы... – Она удивленно раскрыла их так, словно собиралась сказать «О!», но не сказала, потому что я накрыл их своими, а рука моя тем временем нащупала книгу, которую она засунула между стопками на полу, я незаметно переложил ее на одну из полок, в то же время ее левая рука нежно гладила мои карманы и пазуху, а когда я пытался опустить ее ниже пояса, она неизменно возвращалась назад и продолжала свои исследования, которые не увенчались успехом, потому что я те листы, которые вынул из фолианта, еще когда забирался вверх за вином и колбасой, спрятал себе в носок. Все это время наши губы не размыкались, но когда я попытался погладить ее грудь, она резко отпрянула.

– Что вы себе позволяете? Я же вам сказала, что еще девственница.

– Но поглаживание груди во время поцелуя – это еще не потеря девственности. Это очень приятно.

– Догадываюсь. Но вы не мой жених, а я для себя решила, что отдамся только жениху.

– Он может оказаться идиотом и возьмет вас, как медведь. Грубо и неделикатно. Никогда не стоит отдавать невинность жениху.

– Откуда вам это известно?

– Из жизни. Лучше перед мужем разыграть акт потери невинности. Тем более что вы это делаете уже профессионально.

– Прошу меня не оскорблять. Я же вам объяснила истинную цель.

Здесь она что-то заподозрила и, проведя рукой позади себя и не нащупав той книги, которую она от меня прятала, наконец перестала прикидываться и стала откровенно искать ее взглядом, пока не заподозрила, что здесь что-то не так, и обратила на меня свой взор:

– Ах вы ж негодяй! Вы воспользовались моей слабостью? Где моя книга? Куда вы ее дели?

Она сорвалась с места и стала шарить по ближайшим полкам, но вокруг нас уже клубился густой туман, на расстоянии вытянутой руки уже ничего не было видно, она была в отчаянии.

– Зачем вы это сделали? Это не то, о чем вы подумали! Где моя книга?

– Я вам ее отдам, если объясните, что вы здесь ищете.

Она села на стопку книг, взяла бутылку и сделала большой глоток, потом вздохнула и сказала:

– У меня задание от представителя Дома Габсбургов. Должна найти один трактат.

– Иоганна Калькбреннера?

Как я и ожидал, она изобразила театральное удивление, которому я ни на грош не поверил.

– Откуда вам это известно? Неужели вы... тоже?

– Что – тоже?

– Нет-нет, это я так... – Она снова приложилась к бутылке и вздохнула. – Возможно, я все испортила. Итак, мы ищем одно и то же.

– Честно говоря, я толком и не знаю, что ищу. До сих пор было найдено восемь разрозненных листов. Недостаёт четырех. Вот за ними меня и послала пани Конопелька.

– Постойте... Вы хотите сказать, что уже найдено восемь листов из трактата Калькбреннера?

Я кивнул и забрал у нее бутылку.

– Неужели вы нас опередили?

– Совершенно случайно. Скажите, вы это делаете за деньги?

– Конечно. Не из романтических же побуждений.

– А я это делаю по долгу службы.

– Только потому, что вам поручила пани Конопелька?

– Да. Хотя мои друзья тоже заинтересовались этим трактатом, и я думаю, что сделаю им приятный сюрприз, если найду остальные страницы.

– Приятный сюрприз! – передразнила она меня. – Вы себе не представляете, какие деньги за это можно получить! Вы станете богачом! Магнатом! Помогите мне и не пожалейте. Где эти восемь листов?

– Оригиналы у пани Конопельки, а у моих друзей – копии.

– А те четыре?

– Собственно их я и ищу. А что в той книге, которую вы нашли и прятали от меня?

Она грустно вздохнула:

– Ну ладно... вы все равно меня опередили. Это «Beschreibung allerfürnemisten Mineralischen Ertzt» Эркера, который, ссылаясь на Калькбреннера, приводит кое-какие сведения. Вот я и думала, что он меня выведет на верный путь.

Я наклонился и вытащил книгу, которую перед этим спрятал, это действительно был труд Эркера, переплетенный в свиную кожу и иллюстрированный великолепными гравюрами. Миля взяла книгу и раскрыла в самом конце.

– Видите? Вот оно – упоминание о Калькбреннере. Но здесь не указано, на какой странице он цитирует трактат. Пришлось листать всю книгу. Вот за этим занятием вы меня и застали. Но уже вечер, дальше идти опасно. Предлагаю заночевать здесь. Вон там, – она указала на противоположную от окон глухую стену, – там есть сундук, достаньте из него матрас и постельное белье.

Я повиновался и вскоре вернулся с матрасом, простыней, большим одеялом и двумя подушками. Миля живо все расстелила и велела отвернуться. Я отошел в сторону и, обнаружив какой-то развилыстый кактус, который явно просто молил о влаге, напоил его вволю и вернулся назад. Девушка уже лежала под одеялом. Я живо разделся и лег рядом, но

когда попытался ее приобнять, она отпрянула:

– Еще чего! Чтобы я в таких вот неэстетичных условиях утратила свой веночек?

– Да ладно... Не волнуйтесь. Я только из вежливости.

– О, да вы еще и наглец!

– Почему вы сказали, что дальше идти опасно? Что может быть опасного в глубинах библиотеки?

Она лениво потянулась, потом закинула обе руки за голову и сказала:

– Вы слышали когда-нибудь о поезде-призраке?

– При чем тут поезд-призрак?

– Чаще всего он появляется на том пути, что ведет в Винники, но бывало и такое, что он ехал по трамвайным рельсам. Поезд натужно выкашливает клубы пара, а в тусклом свете окон видны пассажиры, одетые по австрийской моде. Одни читают газеты, другие играют в карты, третьи ужинают. Лица спокойные, улыбочивые, даже радостные. Но когда поезд на минутку останавливается у бывшей будки железнодорожного сторожа, пассажиры, как по команде, срываются с места, отчаянно кричат и припадают с перекошенными от ужаса лицами к окнам, скребя ногтями стекла, как будто сдирая с них невидимую пленку. Их крика не слышно, но догадаться о нем можно по выражению их лиц, по выпученным глазам и искаженным криком ртам. Двери вагонов во время остановки открываются, и в них появляются кондукторы в черных плащах, а из-под фуражек виднеются только темные провалы без лиц. Слышно, как кто-то рвется к выходу, но все его усилия напрасны. Это длится минуту-две, а потом поезд трогается, пассажиры успокаиваются и снова рассаживаются по местам. Они продолжают заниматься тем же, что и раньше, так, будто этой страшной остановки и не было, так, будто они и не подозревают, что ни их, ни этого поезда, ни путей уже давно не существует. Время для них остановилось. Бывали случаи, что кто-то успевал на остановке вскочить в этот поезд. С тех пор его больше никто не видел.

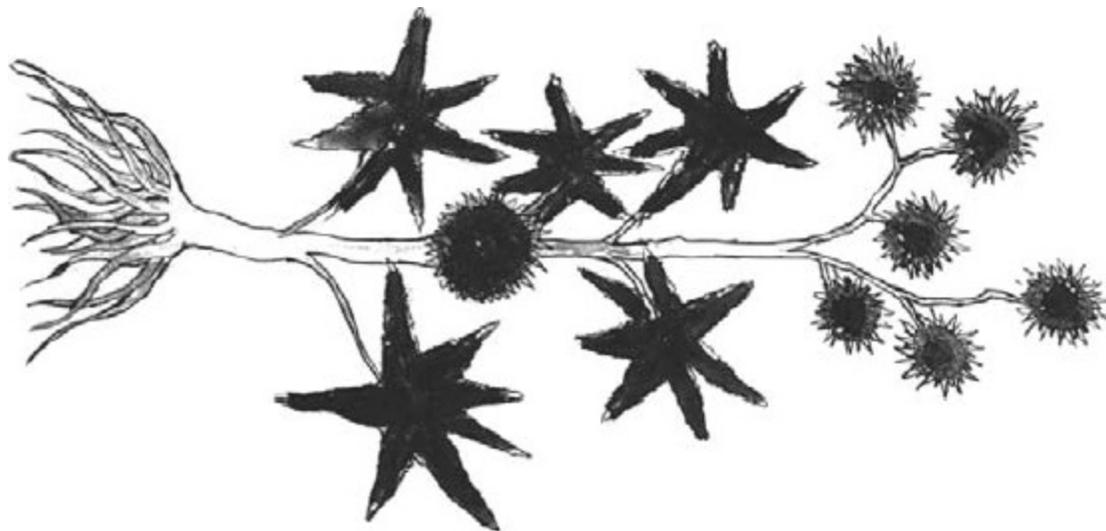
– Зачем вы мне это рассказываете?

– Однажды... Это было на Знесенье... Я возвращалась вечером из больницы, проведывала там больную маму... И услышала грохот, клубы пара окутали меня, я подняла голову и увидела, что прямо возле меня остановился поезд. В окнах были видны люди, они улыбались мне, кто-то даже приветливо кивал, а одна красотка, которая держала на руках белую собачку с розовым бантом, поманила меня пальчиком... Какая-то неумная сила потянула меня туда... я уже взялась рукой за поручни и занесла ногу, как вдруг заметила в окне знакомое лицо – это была моя бабушка... Лицо ее было искажено ужасом, она что-то мне кричала, но я ничего не слышала, однако отпрянула от этого поезда и побежала прочь... За спиной слышался грохот и шипение пара...

– И какая здесь тайная связь с библиотекой?

– Видите ли, моя покойная бабушка как две капли воды похожа на пани Конопельку. Когда я впервые сюда попала и увидела ее, то чуть не бросилась ей на шею, но потом опомнилась, ведь бабушка давно уже умерла. А потом, когда услышала ее голос, у меня просто сердце сжалось. Но я ни разу не выдала себя. И это еще не все. Жених пани Конопельки пропал без вести где-то в этих закрытых фондах. Но мой дедушка тоже исчез. Единственное, что о нем известно, – вроде бы он сел в поезд-призрак. Иногда мне кажется, что поезд-призрак – это и есть наша библиотека, а стеллажи – вагоны, перевозящие множество давно умерших авторов... Они и пронумерованы, как вагоны, а каждая полка – отдельное купе. Поэтому не стоит терять бдительности. Вот – слышите?

Я прислушался, где-то издалека, из самых темных закоулков доносился какой-то тихий плеск, словно волны набегали на берег и откатывались назад, раз за разом, ритмично, усыпляюще, далеко-далеко, чуть слышно... И мы уснули.



На следующее утро Иосиф Милькер, не изменяя своим привычкам, отправился на Краковский базар, отыскивал знакомую хозяйку, которая торговала молочными продуктами, и поздоровался с ней с такой теплотой, словно это была самая близкая ему душа, хотя, если рассудить, то так оно и было, потому что это был человек, с которым он дважды в неделю с неизменной регулярностью общался.

– Как поживаете, пан Иосиф? – улыбнулась ему женщина, которая выглядела так, что хоть сейчас бери ее для рекламы молока: на лице играл румянец, а большие полные груди просто нависали над прилавком.

– Ой, пани Славка, как корова после отела, – пошутил старик. – Но благодаря вам еще ковыляю.

– Ай, и что вы такое говорите? Какое там благодаря мне? Небось какую-то молодуху пригрели возле себя, а?

– Как же, пригрел, да я б ее только заморозить смог.

Тут уж и другие торговки расхохотались, Милькер всегда вызывал у них заряд бодрости, и каждая думала: а неплохо бы так вот в свои девяносто еще по базарам шастать!

– Нет-нет, – качал головой старик, – все-таки благодаря вам. Здоровая еда – это вам не шутки. Сейчас пойду еще помидоров куплю, баклажанов, перца, кабачков и приготовлю блюдо, которое моя мама готовила.

– А ну-ка расскажите, – заинтересовались торговки.

– А это очень просто. Все это тушат в масле с луком и зеленью, и фертик^[67]. Ничего хитрого.

– И с чем вы это едите? – спросила Славка.

– С хлебом.

– Без мяса?

– Мясо ем только зимой, и то не часто. И вам не советую злоупотреблять.

– Ага, – сказала Славка, упаковывая ему творог, масло и сметану. – Теперь мы знаем секрет долголетия. А мой муж, как мяса на столе нет, кричит, что я его голодом морю. Нет, чтоб мне такое сокровище досталось, как пан Иосиф!

Тут соседка со смехом ткнула ее в бок:

– Так, Славка, еще не поздно! Глянь, какой мужик, – как стена! Еще и сам есть готовит.

А что, пан Иосиф, возьмете нашу Славку?

Но старого Милькера не так-то просто можно было подколоть:

– А почему бы и нет? Но сначала нужно, чтобы пани Слав ка на диету села, потому что моя старинная кровать нас не выдержит.

Женщины хохотали, аж за бока хватались, а на Славку к тому же икота напала, так что даже пришлось молоком запивать. Старик любезно со всеми попрощался и ушел в овощные ряды, там у него знакомых не было, поэтому опытным взглядом он внимательно следил, как взвешивают и что взвешивают, и не удержался от реплики:

– Вот вы подбросили мне подгнившие помидоры и думали, что я не замечу. А я вам скажу, что вы не мне, вы себе плохо делаете.

– Как это? – удивилась торговка, послушно заменяя подгнивший помидор.

– А так, – продолжил Милькер, – ведь если покупатель придет домой и обнаружит, что вы ему свинью подложили, то обязательно выскажет в ваш адрес какие-то плохие слова. Может, даже проклятие какое-нибудь. А эти слова и это проклятие, да будет вам известно, вам так просто не пройдут, а отразятся на вашем здоровье.

– Да идите! – не поверила торговка и даже оглянулась на соседок, ища поддержки, но те изумленно молчали, и видно было, что слова Милькера их задели, и каждая уже прокручивает в голове те не вполне порядочные поступки, которые были в их жизни.

– Да-да, – кивал он головой, – слова имеют большую силу. И в Библии написано, что Господь творил мир словом. Слово одних до небес возносит, а других в землю втаптывает. Бойтесь злых слов, сказанных о вас.

Торговка помогла ему упаковать овощи, и он ушел, а женщины еще долго провожали его задумчивыми взглядами, было в этом человеке что-то такое, что заставило их прислушаться, да надолго ли – кто знает.

Уже выйдя на Клепаровскую, старик услышал за спиной: «Пан Милькер!» Оглянулся и увидел какого-то невысокого жилистого человека с прищуренными глазами, этот прищур сразу вызвал ассоциации с послевоенными годами, когда он сидел перед чекистами, которые его допрашивали, и все его ответы на их вопросы они выслушивали, прищурив глаза, словно давая понять, что не верят ни единому его слову.

– Извините, – сказал мужчина, вынимая из кармана удостоверение подполковника СБУ, фамилии Милькер не успел прочесть, но она его и не интересовала, – что я вас задерживаю, но я бы хотел перекинуться с вами парой слов. Не могли бы мы присесть где-нибудь на лавочке?

Милькер был в последнее время настолько ограничен в общении, что даже не возражал. Они отошли в сторону и сели на скамейку. Старик положил возле себя свои покупки и вытянул ноги.

– Возможно, это не лучшее место для разговора, – сказал подполковник, – но, видите ли, мы не хотели вас беспокоить повестками...

– Ага, – засмеялся Милькер, – не хотели беспокоить, чтобы не вызывать неприятные воспоминания? Какими же вы теперь деликатными стали!

– Ну, мы же сейчас заботимся о безопасности Украины. Я читал ваше дело, вам пришлось многое пережить. Но нас сейчас интересует одна вещь... Когда вы находились в концлагере, вы там исполняли «Танго смерти»...



Утро ворвалось в уши громким щебетом птиц, девушки рядом со мной не было. Я приподнялся на локте и осмотрелся, потом потрогал носок – листы были на месте. Тут же появилась Миля:

– Доброе утро, сплюшка! Идите вон туда – там из-под ивы бьет родник.

Я послушался и действительно увидел в большом горшке плакучую иву, из-под которой била и уходила в землю вода, она была прохладная, и я с удовольствием умылся, а потом сделал осторожный глоток – вода была вкусная, хотелось ее пить и пить, хоть она и сводила зубы.

Миля сложила постель, я отнес ее на место, потом мы позавтракали и отправились в путь. Туман рассеялся и клубился только под самым потолком, солнечные лучи сияли и играли на корешках книг, мы шли, весело переговариваясь, как вдруг что-то шмыгнуло за стеллажом и засемило прочь.

– Что бы это могло быть? – удивился я.

– Что-то такое, что нас не ожидало.

– Такое впечатление, что оно было мокрое.

– И противное.

Стеллажи напоминали скалы, на которые можно было взбираться и висеть над пропастью, но мы предпочитали их обходить, хотя иногда это давалось не так уж и легко, потому что чем дальше, тем более неровными рядами они выстраивались, а часто стояли наискось, поперек или вплотную друг к другу, иногда они кренились и напоминали Пизанскую башню, и тогда мы проходили мимо них, задрав головы, опасаясь, что они рухнут на нас и похоронят под завалами мудрости веков, время от времени со стеллажей слетала какая-то книга и, отчаянно затрепетав крыльями страниц, опускалась нам под ноги, словно просясь в руки, но мы лишь пробежали глазами название и шли дальше, хотя и не были уверены, что за нами никто не следит, потому что наши уши улавливали шелест и шорох, тоненькое шипение, попискивание, а порой хлюпанье и всплеск, что было и вовсе невероятным на территории библиотеки. Я уже начал подумывать о том, что мы попали в какие-то неизведанные уголки вселенной, где запахи и звуки не соответствуют тем, к которым мы привыкли, с которыми живем, которые находят отклик в наших душах, мы здесь, очевидно, чужие, и все эти стеллажи, и книги, и цветочные горшки воспринимают нас как пришельцев, посягнувших на их территории, сотни неприязненных взглядов впивались нам в спины, а сверху, когда мы случайно задевали ногами или плечами стеллажи, сыпался мелкий снежок или какие-то пожухлые листья, свернутые и испещренные красными пятнами, а когда я поймал несколько снежинок, то увидел, что они имеют форму не звездочек, а всяких

букв и знаков препинания, и были там не только кириллические и латинские, но и арабские и жидовские, и даже какие-то неизвестно чьи иероглифы, к сожалению, они так быстро таяли, что понять, что за послание сходит мне с библиотечных небес, было невозможно.

Под ногами поскрипывал старый пол, а снизу доносился резкий запах моря и водорослей, он словно поднимался из щелей в полу, я даже не удержался, стал на четвереньки и заглянул в одну такую щель, там было темно, но морем пахло еще отчетливее, в той черной гуще, в мохнатой тишине волны чуть слышно наплывали на берег, неспешно и сонно, словно море еще не проснулось, все еще пребывая в самоуглубленной дремоте и раскачиваясь в медленном ритме, волны ложились мягко и нежно, как одеяльце на младенца. Я ничего не мог разглядеть, лишь кое-где мелькали огоньки, напоминающие свечение планктона, и когда они вспыхивали, можно было различить какие-то черные блестящие холмы, которые появлялись и исчезали в волнах, и разобрать было невозможно – то ли это каменные глыбы, то ли спины каких-то морских чудовищ, которые тоже еще дремали, нежась в теплой постели.

– Мне, наверное, мерещится, – пробормотал я, – но там что-то похожее на море.

– Нет, не мерещится, – сказала Миля, – здесь когда-то было море, потом оно ушло под землю и продолжает жить, время от времени поднимается на поверхность, подходит к подвалам домов, а потом снова опускается, оставляя после себя целые заводи... В этом море живут неведомые существа – не рыбы и не люди, иногда они выходят из глубин, и их можно встретить на улице. Но только поздно ночью. Они одеваются, как и мы, но у них большие зеленые глаза и ходят они босиком, потому что их ластообразные ноги не влезают ни в одни ботинки. Вполне возможно, что они пробираются и в библиотеку.

– Вот чем объясняются те мокрые следы... водоросли и медузы... – сказал я, поднимаясь. – Ну что ж, пойдем дальше.

Неожиданно мы вышли на более открытое место, которое уже не подавляло нас скалами стеллажей, мы увидели перед собой резные и инкрустированные шкафы, буфеты, диваны, столы, конторки, кресла, – и все это в разных старинных стилях, мы просто диву давались. Миля даже руками всплеснула: «Какая красота!» Мы ненадолго задержались, чтобы полюбоваться этими сокровищами, Миля прихорошилась перед зеркалом, я позаглядывал в шкафы и конторки в поисках чего-нибудь интересного, но ничего не обнаружил, и мы продолжили свой путь в глубь библиотеки. Но едва мы оказались между стеллажами, как за нашими спинами громко захлопнулась дверь. Я вздрогнул.

– Я все двери закрывал.

– Может, сквозняк?

– У меня такое чувство, что за нами кто-то следит. Иногда слышны шаги, иногда шепот, какое-то поскребывание.

– Я тоже все это слышала, но в таком огромном помещении – это дело обычное. Холодный и теплый воздух находятся в постоянном движении, а к тому же этот туман... Старая древесина на полу и стеллажах потрескивает, это нормально...

Неожиданно мимо наших глаз что-то пролетело и село на разлапистый рододендрон, с которого свисало множество бурых усиков, это была маленькая тоненькая книжечка с пестрой обложкой, похожая на мотылька, который суетливо переступал с ножки на ножку, и когда я попробовал приблизиться, книжечка вспорхнула и исчезла. Зато другая книга спорхнула со стеллажа и тоже полетела, трепеща страницами, а сделав круг, хлопнулась о стену и будто приклеилась, распластавшись, тут же откуда-то вынырнула третья и, пронесясь

по воздуху, села сверху на ту, вторую, как это делают насекомые, спариваясь. Шорох у наших ног заставил нас отскочить в сторону – из-под стеллажей выползло несколько книг и двинулось вперевалку, как черепахи, куда-то в темноту, при этом они скрипели и скрежетали, будто сердясь на нас. Не успел я выразить свое удивление, как пол под нами зашатался, затрещал, доски расступились и стали подниматься, мы отскочили и с ужасом наблюдали, как между досками начинает проступать чья-то черная блестящая спина, мокрая и скользкая, поросшая ракушками и водорослями, она поднималась очень медленно, все больше и больше раздвигая доски и захватывая все более широкое пространство, еще немного – и стеллажи рухнут, как дома во время землетрясения. Это продолжалось, возможно, несколько секунд, а потом спина враз опала, плюхнувшись в воду, доски снова сошлись, и лишь большое мокрое пятно оставалось немым свидетелем этого странного явления. Мне стало жутко, но я не хотел демонстрировать при Миле своего малодушия, тем более что она была напугана не меньше моего, я приобнял ее и потащил дальше.

– Не думала, что это так страшно, – сказала она, – до сих пор они вели себя вполне мирно, казалось, спят так крепко, что проснутся только через миллион лет, а тут какая-то сила их всколыхнула. Это, наверное, не к добру. Пани Конопелька говорила, что в последний раз такое наблюдалось перед войной. Как вы думаете? Может, будет война?

– Кто-то обязательно начнет. Или Гитлер, или Сталин. А мы снова будем горе мыкать.

– Я устала и проголодалась, а вы как мужчина просто обязаны раздобыть еду. – Она вытащила из сумки карту и объяснила, над каким стеллажом висит мясное и где можно найти головку сыра и вино. И вскоре мы уже удобно расположились под фикусом на стопках книг и обедали. Я посмотрел на стеллажи, до № 1730 было уже недалеко, потому что сидели мы под № 1688 F, буквы редко доходили до K или L, поэтому была надежда, что уже сегодня я добуду остальные страницы.

Когда мы собрались идти дальше, из-за стеллажей вдруг вынырнул маленький сухонький человечек с морщинистым кривоносым лицом и маленькими узкими глазками, одет он был в какие-то старомодные вещички, изрядно обтрепанные и замызганные.

– Так я и знал! Она опять отправила экспедицию на мои поиски! – воскликнул он, а заметив кусок колбасы, схватил его и мигом слопал, потом выхватил у меня вино и одним духом выпил его. – Передайте ей, что я никогда не вернусь в ее мир. Никогда! – Тут он даже ногой топнул.

– Кому передать? – поинтересовался я.

– Только не говорите, что вас послала не Конопелька! Вот ей и передайте.

– Ага, так вы ее жених, которого она уже столько лет понапрасну ждет?

– Я уже давно не ее жених. Я ушел от нее, чтобы посвятить себя изучению морского дна. Я живу там, – он ткнул пальцем в пол. – Там у меня свой мир. Меня обслуживают самые лучшие морские девы. Я сплю на кровати из сухих водорослей, укрываюсь одеялом из пуха чаек, а питаюсь рыбой и моллюсками. – Заметив наши удивленные взгляды, добавил: – Сегодня у меня был творческий день, я не ходил на охоту. Поэтому и проголодался. Зато я открыл никому не известный вид Астурии Митиленской, которая состоит в кровном родстве с Роделией Цуриимской^[68], вымершей еще до Рождества Христова. Но тут... тут она цветет и пьянит своим ароматом. А все почему? Да потому, что книги создают под воздействием моря особый микроклимат и даже сами оживают. Вот буквально в прошлом месяце несколько книг, сбившись в хищную стаю, загрызли одного известного ученого, он забрел сюда в поисках мемуаров Альбрехта фон Валленштайна и его писем к Густаву-Адольфу. Библиотека

становится небезопасной. Она живет своей жизнью. Да-да, не удивляйтесь. Вот даже эти стеллажи, – он постучал пальцем по дереву, – даже они не совсем тупые, как вам кажется. И не такие уж неподвижные. Иногда они путешествуют. Меняются местами. А сейчас прислушиваются к нашим словам. Вот, пожалуйста! – Старик приложил ухо к серой поверхности стеллажа и прислушался. – Кому-то может показаться, что это шамкает шашель, а я вам скажу, что это не так. Это они перешептываются между собой на своем шуршащем языке. Ну, а так, между нами: вы действительно верили в то, что меня можно найти?

– Вы, наверное, будете удивлены и разочарованы, – вмешалась Миля, – если я вам сообщу, что мы ищем не вас. Кое-кого из нас действительно отправила пани Конопелька, но совсем с другой целью, и нам еще до нее шагать и шагать.

– Так что – эта старая перечница уже забыла обо мне? – с глубокой грустью произнес человек.

– Нет-нет, – сказал я, – она не забыла, она ждет вас. И даже хранит свою невинность, говорит, что не может умереть, прежде чем потеряет ее с вами. Но мы действительно забрались сюда с другой целью.

– Можно поинтересоваться, с какой? – в глазах человека вспыхнули искорки.

– Нет. Это не имеет ничего общего с вашим интересом.

– Хм. Вы не карту дна Карпатского моря ищете?

– Нет. А вы?

– Я как раз ее и ищу. Двадцать восьмую карту Клавдия Птолемея. О ней упоминает Павсаний. Я знаю, что она где-то здесь. Но предупреждаю вас – старые книги уже хорошенько одичали. Если не быть внимательным, то могут и палец откусить. Вы же знаете, что есть мясоедные растения? Вот и старопечатные книги с удовольствием пожирают все, что им попадется, – мух, комаров, ночных бабочек, моль, мышей... Я уже дважды наткнулся на обглоданные человеческие скелеты. Ну, не буду вам мешать. Счастливого пути.

Мы распрощались и какое-то время шли молча. Потом Миля озабоченно произнесла:

– Кто знает, что нас ждет...

Неожиданно, словно в подтверждение ее слов, сверху прямо перед нашим носом посыпались книги, среди них были и толстые фолианты, которые могли бы нанести нам увечья, свалившись на голову, мы невольно прижались к стене и продолжили свой путь уже вдоль нее.

К вечеру мы добрались до стеллажа № 1730, я поднялся по лестнице к верхней полке и достал «Occulta occultum occulta» Пауля Скалиха с металлическими застежками, но открыть эту книгу не удалось – она была заперта на ключ, самого же ключа нигде не было, пришлось прихватить книгу с собой и спрятать в котомке. Я уже собрался спускаться, как вдруг стеллаж наклонился в мою сторону, лестница отскочила назад и оперлась на другой стеллаж, а на меня снова посыпались книги, страницы многих из них разлетались по сторонам, попадали в лицо и облепляли его, одной рукой я отбивался, как от хищных птиц, а другой держался за лестницу, которая тряслась и зловеще потрескивала, напуганная Миля кричала, чтобы я поторопился, но я никак не мог отбиться от полчища страниц и от книг, которые щипали меня и кусали, а тем временем стеллаж у меня за спиной трещал и кренился, тогда я стал спускаться на ощупь, вобрав голову в плечи и прикрываясь одной рукой, я ничего не видел под собой, но Миля закричала: «Прыгай! Ты уже низко!», я прыгнул и отскочил в сторону, и как раз вовремя, потому что стеллажи, между которыми я оказался, легли друг на друга, и если бы я замешкался, меня бы раздавило. Книги перестали сыпаться, а под

потолком что-то ухнуло и засопело.

Мы отошли на безопасное расстояние, а через час добрались до стеллажа № 1739, последний, четвертый, лист находился в фолианте, который назывался «Labyrinthus mundi» легендарного Гермеса Трисмегиста и имел экслибрис венского библиофила Антона Шварца фон Штайнера. Тем временем стало вечереть, и мы снова расположились на ночлег. Усталость взяла свое, поужинав и выпив бутылку вина, я заснул сном праведника, а проснулся уже поздним утром и снова не обнаружил девушки рядом с собой. Решив, что она где-то умывается и прихорашивается, я не сразу почувствовал волнение, но спустя какое-то время, не замечая никаких признаков ее присутствия, ощупал себя в поисках листов и, не найдя ни одного из них, уже не удивился тому, что фолиант тоже исчез. Один-единственный ангел, который скрывается в женщине, может оправдать пребывание в ней сотни чертей, но Миля оказалась исключением, и поэтому я, воскликнув: «Вот стерва!», во весь дух бросился за ней вдогонку, а чтобы шагов моих не было слышно, разулся и сунул ботинки в котомку. Я бежал, преодолевая препятствия, и напряженно прислушивался, но слух мой не улавливал ничего утешительного, всюду царила тишина, лишь легкий ветерок небрежно перебирал листья кустарников и деревьев. Иногда в воздухе испуганно металась какая-нибудь книга, осыпались страницы и раскачивались в воздухе. Уже весь взмокший, часа через три я перешел на быстрый шаг, беспокоясь лишь о том, что эта стерва могла затаиться где-нибудь и ждать, пока я проскочу мимо нее. Она не могла убежать слишком далеко, так как тоже была измотана вчерашним днем и должна была выспаться, поэтому опережала меня, может быть, часа на два, не больше, не говоря уж о том, что она не могла бежать так быстро, как я, без передышки, и должна была останавливаться, чтобы отдышаться. Уже пополудни я услышал какую-то возню, кто-то от кого-то вырывался, мужской голос бранился и бурчал, а женский лишь отчаянно повизгивал, было похоже, что кто-то кого-то насилует. Спустя мгновение я увидел между стеллажами парочку, которая сражалась не на жизнь, а на смерть, и без труда узнал в них жениха пани Конопельки и Милю, фолиант Пауля Скалиха валялся неподалеку, борьба велась за листы, которые Миля спрятала себе за пазуху. Блузка на ней была разорвана, листы выглядывали из-под лифчика, но старик не мог до них дотянуться, потому что Миля отбивалась руками и ногами, а порой еще и зубами клала, так что дедок был уже весь исцарапан и искусан, а из носа у него текла кровь. Мне не оставалось ничего лучшего, как, изловчившись, поспешно выдернуть листы и, подхватив фолиант, спрятать все это в котомку. Взъерошенная парочка моментально забыла о драке и, тяжело дыша, уставилась на меня. Глаза их светились отчаянием и злобой, но я был настроен вполне дружелюбно, поэтому помахал им приветливо рукой и отправился в путь. Миля кричала мне вслед:

– Ты – дурак! Это огромные деньги! Опомнись! Я готова с тобой хоть на край света!

Но голос ее был холодным, как суп в придорожной корчме. А старик сквозь кашель прохрипел:

– Не верь женщине, вину и лунному свету!

На следующий день в обед я вернулся на рабочее место и вручил листы вместе с фолиантом пани Конопельке, она внимательно выслушала рассказ обо всех моих приключениях и выразила возмущение поступком своего жениха.

– Если он такая скотина, то у меня больше нет оснований хранить свою невинность. Как вы считаете, – прищурила она глаз, – если я намажусь, как шлюха, оденусь в яркое платье, нацеплю парик и стану под «Веной», мне дадут тридцать злотых за ночь?

– Возможно. Только советую вам деньги взять вперед и выскользнуть из кровати до того,

как рассветет. А то вернетесь в библиотеку с подбитым глазом.

Старушка рассмеялась и сказала, что на сегодня я свободен, но я обратил ее внимание на фолиант Скалиха, к которому не нашел ключа. Пани Конопелька задумалась на миг, а потом хлопнула себя по лбу и вытасила из-за пазухи золотую цепочку, на которой висел золотой ключ. Он подходил к замку как влитой, она раскрыла книгу и извлекла еще один лист. Я попросил разрешения сделать снимки, она ничего не имела против и даже предложила для этого свой фотоаппарат. Каждый лист я фотографировал по частям, чтобы потом не напрягать зрение, рассматривая фотографии. Из библиотеки я с фотоаппаратом отправился к Йоське, он проявил пленки и принялся изучать листы. За то время, пока я бродил по закрытым фондам, он уже кое в чем разобрался. Оказалось, что некоторые ноты заменяют буквы, и наоборот, – некоторые буквы подменены нотами.

– Ну вот посмотри, – объяснял Йоська. – В современной практике приняты следующие названия нот: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Все они pochodят из гимна Павла Диакона в честь Иоанна Крестителя. В качестве названий нот взяты первые слоги строк гимна, который исполнялся в восходящей октаве. Названия всех шести нот ввел Гвидо д'Ареццо. Правда, нота ДО у него называлась УТ, а первая строка звучала так: «УТ queant laxis». Но со временем УТ заменили на ДО. В 1574 году добавили еще и ноту СИ. В общем, первый стих гимна выглядел так:

DOminus, Lord
REsonare fbris
MIRA gestorum
FAMuli tuorum,
SOLve polluti
LABii reatum,
Sancte Ioannes.

– И что это значит?

– А то, что над отдельными нотами есть точки, которые обнаружили только на фотографиях. И эти ноты с точечками – не ноты, а буквы. При исполнении музыки эти ноты нужно пропускать. Одна точечка означает первую букву, которая следует после названия ноты. Если это SOL, то первая буква после названия этой ноты в строке гимна будет «v». Если LA, то – «b». Две точечки – вторая буква и так далее. Это кропотливый труд, но я им очень увлекся.

Как продвигалась Йоськина работа над страницами манускрипта, мне неизвестно, вскоре произошли такие события, которые выбили всех нас из привычной колеи. Правда, Йоська еще попросил меня написать слова припева к танго, которое он начал играть в «Бристоле», танго было довольно известным, и исполняли его уже несколько лет, но Йоська сказал, что оно необычное, потому что он вписал в него расшифрованные ноты, а теперь хочет внести изменения и в текст. Он напел мне мелодию, я вошел в привычный для себя поэтический транс и произвел следующее:

А как не станет нас с тобой,
кроют пески тела,

встретимся там, где маки рекой,
там, где их тень легла.

Йоська перечитал один раз, второй и был не на шутку удивлен:

– Почему тебе пришли в голову именно маки?

– Не знаю. Так у меня почему-то сложилось.

– Это очень странно. Как раз упоминание о маках и их тени я нашел в тех листах

Калькбреннера, но не мог сообразить, к чему они. Я тебе об этих маках ничего не говорил. А тут вдруг... Странное совпадение. Но слова мне нравятся. Встреча после смерти... в тени маков... Ты именно это имел в виду?

Я надулся, как индюк, и ответил:

– Дорогой Йосенька! Настоящий поэт никогда не сможет истолковать ни одного своего образа или метафоры. На это способен только графоман. Поэтому спиши все на подсознание, – и я постучал себе пальцем по лбу.

Никто из нас даже представить себе не мог, что слова моего припева станут вещими.



Удивительное совпадение несказанно порадовало Яроша. Его пригласили в Стамбул на конференцию, посвященную литературе на мертвых языках. То, что конференция проходила в Стамбуле, было вполне закономерно, ведь именно на территории Турции были и Лидия, и Ликия, и Урарту, и Хеттское и Арканумское государства. И вот в самолете, который вылетал из Киева, Ярош неожиданно увидел рядом с собой Андрея Куркова и не мог удержаться, чтобы не познакомиться с ним. Писатель летел на презентацию своего романа «Пикник на льду», Ярош читал этот роман, особенно ему запал в память печальный задумчивый пингвин, который жил у главного героя. По дороге они разговорились, а турецкое вино, которое подавали стюардессы в маленьких стограммовых бутылочках, оказалось очень вкусным. Когда Ярош рассказал, чем он занимается, Андрей проявил живой интерес и рассказал, что у него был замысел написать детективный роман, события которого вращались бы вокруг старинной рукописи, путешествующей из века в век и приносящей новым ее владельцам лишь страдания, муки и смерть, и он даже задумывался над тем, к какой культуре должна была бы принадлежать эта рукопись – египетской или античной, когда же Ярош рассказал об Аркануме и его удивительной литературе, которую писатели и историки создавали не только на глиняных табличках, но и на папирусе, Курков заинтересовался и стал расспрашивать о подробностях. Ярош рассказал в общих чертах, пообещав выслать ему свою историю арканумской литературы вместе с хрестоматией.

– По моему замыслу, гибель каждого, кто завладевал этой рукописью, должна быть зашифрована в самом тексте, – рассказывал писатель. – То есть ключ к этому шифру будет найден лишь в финале. Поэтому мне важно было бы ознакомиться с этими текстами, хотя я, с вашего позволения, вынужден буду их слегка препарировать...

– В художественном произведении это допускается. Это мы, ученые, связаны определенными условиями и должны полагаться на веские доводы. И я вам даже могу подсказать, что это за рукопись должна быть – арканумская «Книга Баала». Баал был темным духом, вроде дьявола. Это удивительная и таинственная книга. По легенде, ее написал сам Баал за одну ночь. Точнее, не он, а отшельник, в которого он вселился. Эта книга полна мистики и непонятных фраз, читая ее, чувствуешь, как в душу закрадывается тревога, необъяснимый страх, достаточно пробежать глазами с десяток страниц, чтобы в панике отбросить от себя эту книгу, а после этого она еще какое-то время будет стоять перед глазами и даже будет сниться.

– Странно. Я слышал, что в Праге тоже есть книга, написанная дьяволом. И тоже за одну ночь.

– Да, я знаю о ней. Это так называемая Библия Дьявола, который помог монаху переписать Священное Писание и другие произведения. Она не имеет ничего общего с «Книгой Баала», прочитав которую можно обрести славу и богатство, но расплата в конце жизни будет ужасной.

– В наше время это уже мало кого отпугивает.

– Конечно, – согласился Ярош. – Но что интересно... В Стамбуле в научной библиотеке хранится манускрипт, написанный Иблисом. И тоже за одну ночь. Меня очень интересует, не имеет ли и он каких-то параллелей с «Книгой Баала».

– О, так у вас есть прекрасная возможность в этом убедиться.

– Не знаю. Такую старую книгу мне могут и не выдать. И как знать, безопасно ли чтение этой книги.

– Но ведь вы хотели бы с ней ознакомиться?

– Есть один древний способ, как это можно сделать. Именно так я просматривал «Книгу Баала», которая хранится в Лондоне. – Ярош вынул из сумки и показал Куркову головку мака и старый деревянный нож, которым разрезают страницы в журналах. – Если каждую страницу листать ножом, который был освящен двенадцать раз, к тому же посыпая освященным маком, то злые силы, которые живут в книге, тебе не навредят.

Андрей недоверчиво улыбнулся:

– Вам не кажется это немного смешным?

– Кажется. Но только со стороны. Я разговаривал с одним старым львовским священником, который практикует изгнание дьявола, рассказал ему о тех книгах, и это была его идея – освятить нож и мак. Почему я должен не верить священнику, который уже много лет борется с нечистой силой?

– Тогда сдаюсь. Я думал, что это какая-то знахарка нашептала вам такие советы. А знаете, возможно, я смогу вам помочь. В национальной библиотеке в Стамбуле работает мой знакомый, он писатель. Мне и самому хочется взглянуть на эту книгу.

В первый день их пребывания в Стамбуле не произошло ничего интересного; разместившись в разных отелях, Ярош и Курков встретились вечером и отправились гулять по вечерним улицам, заглядывая в местные забегаловки. Оказалось, не так-то просто было найти такую, где бы подавали вино. Наконец они набрали на бар, где было полно молодежи и гудело, как в улье, это уже было заведение вполне в европейском стиле, и молодежь ничем не отличалась от той, которую можно было видеть где бы то ни было. А на следующий день после обеда, когда оба освободились от своих дел, они встретились в кафе со знакомым Куркова Орханом Надимом, который свободно владел английским. Орхан, услышав, чего хотят Ярош и Курков, был удивлен:

– Откуда вам известно об этой книге? Ведь о ней нет никаких упоминаний ни в одном каталоге.

– На нее ссылается австрийский ученый Калькбрэннер. Он просматривал ее в Стамбуле с разрешения самого султана Мурада Четвертого. Книга хранилась в его библиотеке.

– Да, но библиотека Мурада все еще до конца не проштудирована. Я могу вас туда отвести, но не знаю, удастся ли вам увидеть книгу. Там работает господин Байкурт, он мой родственник и сделает все возможное.

Орхан привел их в филиалы национальной библиотеки, расположившейся в старинной

пристройке с большими ажурными окнами. Именно здесь хранились книги из библиотеки Мурада. В небольшом уютном читальном зале царил мертвая тишина, за столами работали только трое читателей, они не обратили никакого внимания на вошедших, двое из них что-то конспектировали, потому что цифровать старые издания запрещалось, а третий чуть не с головой погрузился в какие-то крупноформатные карты, вооружившись лупой и отражаясь лысиной в люстрах. Орхан вписал гостей в книгу, подвел к старенькому библиотекарю, который сидел в углу за столом, заставленным ящиками с картотекой. Они перекинулись парой слов, из которых Ярош понял, что Орхан представил их библиотекарю, а потом уже шепотом объяснил причину их визита, и по тому, как вытянулось лицо библиотекаря и как он принялся нервно протирать очки платком, видно было, что их просьбу выполнить не так-то просто, сначала он даже решительно замотал головой, потом погладил рукой бороду и заговорил по-турецки, а Орхан переводил:

– «Книгу Иблиса» написал великий суфийский поэт, классик персидской и турецкой литературы Джалал ад-Дин Мухаммад Руми.

– А написал он ее при помощи Иблиса?

– Нет. Это название искусственное, исключительно для того, чтобы ввести в заблуждение. Такое название, по мнению суфиев, к которым принадлежал Руми, должно было отпугивать от книги людей случайных. На самом деле он ее написал со слов Аль-Хидра^[69], который был учителем Моисея. Аль-Хидр, или аль-Хизр, был, как утверждают легенды, наделен вечной жизнью. Когда-то давно он состоял на службе у Александра Македонского и вместе с ним отправился в Страну Тьмы, на самый край света, в поисках Живой Воды. Александр стремился во что бы то ни стало найти эту Воду, но ему это не удалось, зато аль-Хидр, которого Вода интересовала меньше и который не думал о ней так много, как Александр, нашел ее. «Ища, Александр не нашел того, что искал, а аль-Хидр, не ища, нашел». С тех пор аль-Хидр живет вечно, время от времени он предстает перед глазами избранных и сообщает им какую-то истину, рассказывает о своих странствиях, делится знаниями. Все, кому довелось его видеть, описывают его, как нестарого еще человека, хоть и с длинной седой бородой, довольно бодрого и решительного. Ежегодно аль-Хидр приходит в Иерусалим на Рамадан и встречается там с пророком Ильей.

– Итак, эта книга не проклята? – поинтересовался Ярош.

– Мой друг прихватил с собой специальные амулеты, которые должны его предохранить от дурного влияния книги, – с улыбкой пояснил Курков.

– Нет, в этом нет необходимости, – покачал головой господин Байкурт. – Аль-Хидр предстал перед Руми в образе странствующего суфийского проповедника Шамс ад-Дина Тебризе. Проповеди этого дервиша оказали огромное влияние на сознание Руми, они подружились и несколько лет не расставались, но больше всего потрясло Руми таинственное исчезновение дервиша в 1247 году. Для аль-Хидра неожиданное появление и такое же неожиданное исчезновение – дело обычное. С тех пор Руми немало своих произведений подписывал именем Шамс Тебризе.

– Так эта книга что-то вроде поэмы «Маснави», которую Руми, а вслед за ним и Джами, называли «Персидским Кораном»? – спросил Ярош.

– На первый взгляд – она действительно напоминает «Маснави» и поэму «Сад истин» прародителя суфийской поэзии Санаи. Там немало притч, поучений и легенд, но... – тут он поднял указательный палец, – ...также много и мистики. Что именно интересует вас? – обратился он к Ярошу.

– Я вообще-то занимаюсь исследованием арканумской литературы, и в частности «Книги Смерти». Мне интересно, не найду ли я каких-нибудь аналогий в «Книге Иблиса».

– А, да-да... Здесь есть и о том, что мы сейчас называем реинкарнацией. Как писал один из суфиев, «наши души были опьянены от вина бессмертия еще до того, как в мире появились сады, виноградные лозы и виноград». Однако, прежде чем вы просмотрите эту книгу, хочу кое-что объяснить. Изложенные в Коране взгляды на природу смерти тесно связаны с двумя другими вопросами: взаимоотношениями между сном и смертью и существованием души. Ведь в Коране присутствуют древние представления, в которых смерть отождествляется со сном, а воскресение из мертвых – с пробуждением: «Господь сделал ночь для вас покрывалом, и сон отдыхом, и создал день для пробуждения (nushur)». Итак, ночь – это пелена, которая покрывает спящего, сон – это прообраз смерти, а заря – символ воскресения (nushur)... Древние исламские представления о смерти были неразрывно связаны с идеей реинкарнации: спящий неизбежно должен проснуться! Теологи конечно же спорили о том, можно ли считать это пробуждение окончательным воскресением, или оно произойдет в круговороте рождений и смертей. Но вопрос жизни после смерти занимал важное место в ранней исламской философии. Представители мистических исламских сект, в частности суфии, всегда трактовали смерть как начало новой жизни и толковали слово nushur как пробуждение души, которая вселилась в новое тело. В исламских писаниях реинкарнация обозначается словом tanasukh. Исламские сторонники реинкарнации утверждают, что Коран поддерживает учение о переселении душ: «Тот худший из всех, кто прогневал Аллаха и навлек на себя Его проклятие. Того Аллах обратит в обезьяну или свинью. Аллах дает вам жизнь от земли, вновь обращает вас в землю, и Он же вновь даст вам жизнь».

Тайный смысл этих и других стихов Корана исследовали, кроме Руми, еще и такие знаменитые поэты-суфии, как Саади и Хафиз. Мансур аль-Халлай, живший в X веке, оставил немало лирических произведений, темой которых было переселение души:

Я сотни раз прорастал травой
На берегах стремительных рек.
Сотни тысяч лет я рождался и жил
Во всех телах, что есть на Земле.

На протяжении нескольких веков выдающиеся последователи Магомета, принимая учение о реинкарнации, утаивали его от широкого круга правоверных. Сейчас его обсуждают и толкуют только в русле суфийской традиции. Хотя многие современные мусульмане готовы, хотя бы теоретически, допустить существование тех форм реинкарнации, о которых упоминают мистики... Орхан сказал мне, что о книге вы узнали из труда какого-то австрийца. Что именно он писал?

– Иоганн Калькбреннер написал, что в «Книге Иблиса» описаны определенные обряды, благодаря которым можно узнать, кем ты был в предыдущей жизни. Более того, можно перенять все знания, которые были получены в предыдущих жизнях.

– Понятно. Есть только одна проблема... – Библиотекарь перешел на шепот. – Эта книга очень старая, и нам запрещено выдавать ее исследователям. Для этого требуется разрешение директора. Но Орхан так просил... Сделаем так: вы пойдете со мной в хранилище, я вынесу

вам книгу, и вы просмотрите ее там.

В хранилище было сумрачно и неприветливо, продолговатые узкие окна располагались высоко под потолком, но стеллажи закрывали их до половины. Господин Байкурт исчез, а через минуту появился с картонной коробкой и, положив ее на стол, сказал:

– Я вернусь в зал. А если появится кто-то из начальства, я наберу мобильный Орхана. Только ты, Орхан, выключи звук. Когда я позвоню, пойдете вон туда, в самый конец, и будете ждать нового звонка. Но я бы просил, чтобы вы долго не задерживались. И еще одно... Суфийские произведения особенные и уникальные, их истинный смысл открывается только тем, кто владеет ключом к шифру, в то время как непосвященные пони мают все буквально или же вообще ничего не понимают. Не пытайтесь постичь непостижимое.

«Книга Иблиса» была в полметра длиной и довольно объемистая, но толщина ее объяснялась пергаментными страницами. Почти на каждой странице были какие-то иллюстрации, порой очень маленькие, а порой на полстраницы. Книга была написана на персидском, которого Ярош не знал, но, к счастью, им владел Орхан и переводил места, заинтересовавшие Яроша.

– Здесь, – говорил Орхан, листая страницы, – рассказывается о том, как, став последователем суфийского учения, можно научиться читать мысли на расстоянии... Здесь – о том, как можно мгновенно переноситься с одного места в другое... Здесь – о том, как поддерживать связь с потусторонним миром... Как вылечить человека с помощью одного лишь взгляда...

Один из рисунков изображал дервиша, шедшего по воде, а другой – человека, вырастающего из цветка. Ярош попросил перевести и услышал то, что и хотел:

– «Я умер как человек и стал растением. Я умер также и как растение и стал животным. Я умер как животное и стал человеком. Почему я должен бояться потери своих человеческих качеств? Я умру как человек, чтобы воскреснуть ангелом... И путь наш к первоисточкам будет озарен маяками, которые мы должны распознать, чтобы встретиться там, где цветет гашгаш, под тенью его».

– Гашгаш? – переспросил Ярош. – Что это такое?

– Цветок такой... – Орхан задумался. – Не знаю, как перевести... полевой цветок... Но его выращивают для получения опиума...

– Гашиш! – догадался Курков. – Значит, речь идет о маке?

– Да, – закивал радостно Орхан, – гашиш происходит от «гашгаша».

– Руми говорит о том, что человек, перевоплотившись и стремясь получить знания всех своих предыдущих жизней, должен распознавать маяки... то есть знаки... – сказал Ярош. – Об этом же толковали и еврейские мистики. Но тень маков... Что-то странное... Это ведь не деревья...

– У суфиев многое сказано с подтекстом, – пояснил Орхан. – Да и Байкурт предупреждал, что не стоит все трактовать буквально.

– Да, но та же фраза о тени маков фигурирует и в арканумской «Книге Смерти»...

– Здесь есть еще один момент... – сказал Орхан. – Самое главное во всем этом, чтобы человека перед смертью посетило озарение... Он должен перед смертью или принять участие в танце дервишей, или слышать этот танец...

– Там так и написано: «слышать», а не «видеть»? – удивился Ярош и даже наклонился над книгой, хотя и не разобрал ничего.

– Именно «слышать», – сказал Орхан. – Речь идет о мелодии.

– А что это за танец дервишей?

– Это танец последователей Руми, чей орден располагался в Центральной Турции, в городе Конья. Исполняют его так называемые вертящиеся дервиши. Там до сих пор в декабре проходит фестиваль, посвященный памяти Руми. Во время религиозной церемонии дервиши, одетые в белые развевающиеся одежды, и конические шляпы, вращаются под ритм барабанов и звуки мистической музыки. Музыка здесь играет огромную роль, она очищает и высвобождает душу, позволяет человеку заглянуть в глубь себя и убедиться, что Аллах рядом.

– Не мог бы и я услышать этот танец дервишей?

– Почему бы и нет? Сегодня вечером и услышите.

Курков не имел возможности пойти с ними, Орхан отвез Яроша на окраину Стамбула и вывел к какому-то зданию с резными фронтонами и голубой мозаикой, при входе их остановил мрачный верзила. Перекинувшись с Орханом парой слов, он ощупал карманы обоих гостей и только тогда пропустил их в просторный зал, в котором не было ни кресел, ни столиков, вдоль стен сидели мужчины разного возраста, перед многими из них курился кальян и дымились кофейники. Тихий гомон разносился по залу, на вновь прибывших никто не обратил внимания. Орхан с Ярошем заняли свободное место у стены и стали ждать. Откуда-то из глубины – то ли с потолка, то ли из-под пола – стала доноситься тихая спокойная музыка, присутствующие умолкли, отложили кальяны и чашки и приготовились к чему-то такому, что было им хорошо известно.

– То, что вы увидите и услышите, невозможно увидеть и услышать где-нибудь еще, – шепнул Орхан. – Танцы дервишей для туристов – это совсем не то.

Музыка обволакивала их, пеленала и укачивала, Ярош сел по-турецки, положил ладонь на ногу выше щиколотки и незаметно нажал на что-то пальцем. Музыка становилась все громче и громче, пока на середину зала не вышло двенадцать молодых мужчин в белых одеждах, когда они подняли руки вверх, вступили барабаны и флейты, дервиши закружились сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, даже полы их одежд взлетели вверх и стали похожи на волчки. Их вращение казалось чем-то фантастическим, не верилось, что люди способны на такое, а дервиши закрыли глаза и, войдя в транс, уже отключились от окружающего мира, сосредоточившись только на своем танце и контакте с небом. Ярош увидел, как все присутствующие стали покачиваться в такт музыке и тоже закрыли глаза, а через некоторое время незаметно для себя и он закрыл глаза, чувствуя, что какая-то сила отрывает его от земли и поднимает вверх, вот он уже парит в воздухе, потолок исчезает, и голубой простор втягивает его в себя, ему стало страшно, показалось, что он уже никогда не сможет вернуться обратно, но сил открыть глаза не было, хотя темнотой назвать то, что стояло перед его закрытыми глазами, было невозможно – вокруг мерцали звезды, какие-то яркие огни вспыхивали и взрывались, расцветая красочными бутонами, а вскоре он понял, что и сам уже стал кружить в танце, только не на земле, а в воздухе, и огни танцевали вокруг него, а из тех огней выплывали лица, какие-то из них были ему знакомы, какие-то – нет, хотя тех, кого узнавал, он не мог вспомнить по имени, только была уверенность, что он знает, кто это. Чьи-то руки тянулись к нему, он чувствовал прикосновения, теплая ладонь погладила его по лицу, это было очень приятное ощущение, и он хотел ее придержать, поднести к губам и поцеловать, но ладонь исчезла, а в ушах раздался шепот: «там, где цветет гашгаш, под тенью его». Паника охватила его, изо всех сил он пытался стряхнуть с себя этот сон, дернулся, заметался, захотелось как можно быстрее опуститься на землю, открыть глаза и освободиться от пут этой музыки, но музыка не отпускала, она выворачивала его наизнанку,

как перчатку, он уже не узнавал самого себя, казалось, кто-то другой вселился в него, но не чужой, кто-то близкий, хотя еще не узнаваемый, кого хотелось приобнять, но продолжалось это недолго, вот уже этот неизвестный покинул его, и эта потеря показалась таким невероятным кошмаром, что Ярош раскрыл рот и закричал, закричал, чтобы тот неизвестный не оставлял его, чтобы еще побыл рядом, но никто, даже он сам, не услышал своего крика, так как кричал он тишиной, беззвучной и глухой, а спустя миг почувствовал, что начинает опускаться, медленно, словно лепесток яблони, подхваченный ветром, музыка становилась тише, затихала, умолкала, и когда ему удалось наконец открыть глаза, то оказалось, что он в зале один. Здесь не было уже никого, исчезли кальяны и кофейники, зато на полу стояли тренажеры, лежали черные матрасы, гири, штанги, свернутые канаты...

Ярош потрогал ногу выше лодыжки, диктофон был на месте, он выключил его и спрятал в карман, потом, шатаясь, как пьяный, поднялся и направился к выходу. В коридоре за столом сидела какая-то бабулька в сером хиджабе, она улыбнулась ему и приветливо закивала головой. На улице он увидел такси, дверца открылась, из нее высунулся таксист и спросил на английском:

– «Золотой Рог»?

Откуда он знает, в какой отель мне нужно? – удивился Ярош, но сел в машину и всю дорогу до отеля провел в каком-то полусомнамбулическом состоянии. Когда же хотел рассчитаться, водитель сказал, что за все уже заплачено.



Так вот чинно-благородно и работал я себе в библиотеке, пока не встрял в такую авантюру, что после еле ноги унес. Наш дядя Лёдзё, который был членом ОУН и в глубоком подполье мужественно боролся с польской оккупацией Галичины, вызвал меня как-то на разговор и напомнил, что каждый сознательный украинец должен за свою жизнь посадить дерево, родить пятерых детей и убить врага. Я ответил, что, может быть, мне стоит начать с курицы, потому что убить человека не так-то просто, если до сих пор упражнялся только на мухах и комарах, но дядя объяснил, что врага будет убивать специально обученный боец, а я должен буду только ассистировать, потому что политический атентат – это очень серьезное дело, в котором всегда занята большая группа людей. Итак, сегодня вечером я должен пойти на улицу Фиалковую, дом № 5 и постучать, а когда откроют, спросить: «Крыс травить вызывали?» Ответ: «И мышей тоже». Дядя заставил меня повторить ему обе фразы несколько раз, чтобы не ошибиться, но когда вечером я отправился на эту самую Фиалковую, то никак не мог припомнить, кого я должен сначала травить – крыс или мышей, всю дорогу я и так и сяк прокручивал то, что должен сказать, и в конце концов решил, что не ошибусь, если спрошу и о мышах, и о крысах, для надежности.

Фиалковая – маленькая улочка, идеальная для проведения подпольных сходов, так как она совершенно безлюдна. Я постучал, а когда дверь отворилась, протарахтел: «Травить крыс-мышей, мышей-крыс...» Большая рука схватила меня за шиворот, втянула в дом и захлопнула дверь, рука принадлежала моему дяде.

– Ах ты, бестолочь такая! Разве тебе можно доверить важное дело?

– А не нужно выдумывать такие дурацкие пароли, – буркнул я, – крыс лучше было бы поменять на бобров или барсуков, тогда бы я никогда не спутал их с мышами.

Дядька уставился на меня, как на полоумного, и гневно зашевелил усами, теперь он сам был похож на барсука. Но тут же принял важный вид и сказал:

– Никаких имен! Понимаешь? Только подпольные клички. У тебя какая?

– У меня? Но я пока себе не выбрал. Я вообще не знал, что должен подумать о кличке.

– Кличка! – рявкнул дядька и нахмурил брови.

– Ладно, пусть будет Хрен.

– Хрен у нас уже есть. И Гром, и Дуб, и Орел...

– Тогда – Морковка.

– Сдурел? Какая, в сраку, Морковка?

– Ну, если нельзя Хрен, то пусть будет Морковка. Или Свекла, Капуста, Горох, Боб, Кольраби, Клубника... – У дяди дух перехватило, и он заскрежетал зубами. Но я смело продолжил: – Пастернак, Гарбуз^[70]...

– Тру! – остановил меня дядька. – Хрен с тобой – будешь Гарбузом.

Мы зашли в комнату, где собралось десятка два парней и девчат. Дядя сказал: «Это Гарбуз», а присутствующие чуть ли не хором ответили: «Сервус, Гарбуз!», Потом дядя разложил на столе большой лист бумаги, на котором был изложен план атентата. За все время, пока он разъяснял каждому его роль, он ни разу не назвал имени того, кого планировалось убить. Не скажу, что меня это очень интересовало, но я не люблю неожиданностей, а ну как это кто-то знакомый, еще повезло, что не я буду стрелять, мое участие сводилось лишь к тому, что я должен буду подать сигнал о появлении обреченного на смерть. Когда он пройдет мимо меня, я только и всего, что сниму фуражку и вытру платком лоб. Что может быть проще? Но как я его узнаю? И вот под самый конец дядя вынул из кармана несколько фоток какого-то мужчины в разных ракурсах и велел хорошенько запомнить, при этом бросил на меня грозный взгляд, очевидно, намекая тем самым на то, что я – растяпа. Мужчина на фото был среднего возраста, высокий, худощавый, с квадратным подбородком, в его взгляде читались решимость и энергия.

– Пан инспектор полиции Лукомский, – сказал дядя, – жуткий садист, который лично участвует в допросах. Когда-то он даже обучался медицине, а значит, ориентируется в анатомии, психологии, знает, где найти самые болевые места. Ему ничего не стоит довести человека до безумия. Его коллега комиссар Михал Кайдан – намного тупее и прямолинейнее. Этот просто хватает в руки табуретку или палку и лупит по чем попало, а в особые минуты вдохновения колотит резиновой дубинкой по пяткам, загоняет иголки под ногти, заливает воду в нос. Это он в 1924-м замордовал до смерти Ольгу Басараб. Между прочим, этот выродок – по происхождению украинец, а от веры своей отрекся. А Лукомский предпочитает более рафинированные методы, например – электрический ток. Девушке, которую привязали к стулу, может бросить за пазуху живую крысу. Говорят, он изучал трактаты инквизиции о разных методах пыток. Его недаром прозвали Сатаной. И при всем при этом в обществе чиновников или шляхты это очень милый, вежливый человек, дамы толпятся вокруг него на балах и слушают его веселые истории, жена и трое детей его обожают. Одна наша девушка, которая здесь присутствует, побывала на нескольких зимних балах в Офицерском и Городском клубах и даже была среди тех дам, которые слушали его байки. Она рассказала мне, что если бы не знала о нем правды, никогда бы и подумать не могла, что это – лютый зверь. Как известно, мы уже две недели регулярно отслеживаем его путь с работы домой и из дома на работу. Живет он, как и большинство высоких чиновников, на Стрыйской. Наши люди будут стоять на всем участке дороги от Батория до Стрыйской. Обычно он с работы возвращается трамваем, садится на Бернардинской площади, высаживается на площади Святой Софии и дальше идет пешком мимо Стрыйского парка. Каждый из вас, встречая этого пана, будет делать какое-то движение: Фиалка поправит чулок, Бульба завяжет шнурки, Камелия снимет платок, Мальва зажжет сигарету, а какая-то парочка начнет целоваться... – При этих словах все оживились, видно было, что каждому захотелось оказаться в этой парочке. – Это будут Жасмин и Дуб. Следует помнить, что ни один из вас не должен обращать на него ни малейшего внимания, даже смотреть на него нельзя, Лукомский – хитрый и коварный, никогда не расстается с револьвером, надо быть осторожным и внимательным. Атентат планируем на завтра, 13 августа. Если нам повезет и Лукомский уйдет с работы так же поздно, как он это часто делает, атентат состоится в сумерках, если же нет, – придется стрелять засветло. После того, как объект пройдет мимо вас и вы свою задачу выполните, вы тут же должны исчезнуть. Нечего рот разевать. И еще одно. Помните, если

кто-нибудь влипнет и его арестуют, на допросах ни в коем случае не отвечать на польском языке. Только по-украински! Как бы вас ни лупили, ни мордовали, ни пытали – ни слова на языке захватчика! Повторите!

Все хором повторили:

– Ни слова на языке захватчика!

Дядя кивнул, а когда мы по одному стали расходиться, придержал меня и, выпуская последним, сказал:

– Ничего не напутал? Смотри мне!

Уже было темно, и, выйдя из дома, я не сразу заметил на улице одну из девушек, присутствовавших на этой сходке, она протянула мне руку и сказала:

– Сервус, Гарбуз! Я – Волошка^[71]. Вижу, вы впервые к нам присоединились. Не страшно?

– Нет, – сказал я, потому что Волошка была привлекательная, у нее были крупные вишневые губы, глядя на которые невозможно было что-либо возразить, а тем более признаться в том, что тебе страшно. Мы пошли вместе. Я небрежно пожал плечами: – А чего бы мне бояться? Это ведь не я буду покушающимся.

– Ну, да, у вас задача совсем простая – занять позицию возле парка. Я тоже там буду неподалеку.

– Нам повезло, будем все видеть! – порадовался я, что смогу хоть какую-то пользу извлечь из всего этого.

– Наверное. Но я бы так не радовалась, потому что нам оттуда придется как можно быстрее сматывать удочки. В таких случаях всегда найдутся свидетели, которые нас запомнят.

– Правда? Ну а что тут такого, если я сниму фуражку? Такое везде и повсюду можно увидеть.

– Это вам так кажется, а вот Кайдан может на это посмотреть по-другому.

– Seriously? Но дя... – тут я запнулся, сообразив, что употреблять слово «дядя» будет неуместно, и исправился: —...пан руководитель ничего такого мне не говорил и не предупреждал.

– Но ведь это само собой разумеется, вам не стоит ждать, пока произойдет покушение, вам сразу нужно будет исчезнуть. Я живу здесь рядом на Кривчицах. Проводите меня?

Она взяла меня под руку, и я ощутил ее упругую грудь, которой она ко мне прижалась, и мы стали говорить о каких-то веселых пустяках, которые не имели никакого отношения к завтрашнему событию. Когда мы оказались возле ее дома, Волошка сказала:

– Если честно... завтрашнее событие вызывает у меня беспокойство... я очень переживаю... надо бы выпить... Могу я вас пригласить к себе выпить вина?

Было еще не поздно, но возвращаться домой затемно по Лычаковской рискованно – баяры могут и рыло начистить, я подумал, что зайду на полчаса и сбегу, пока трамваи ходят, но вышло немного иначе. Да что там немного? Очень даже иначе. Волошка жила в частном доме совсем одна, если не считать собаки и кота, у нее был большой сад, вот она и делала самые разные вина, и как принялась меня угощать, просто спасу не было – я должен был попробовать и то, и это, а еще и перекладенец испекла такой, что ням-ням-ням, за уши не оттянешь, к тому же всякие варенья... Словом, засиделся я у нее допоздна, а в голове моей кружились фиалки и заливались соловьи. Волошка тоже захмелела, поначалу мы сидели друг против друга, но как-то незаметно она пересела ко мне на диван, а я будто этого и ждал, мы

выпили и поцеловались, но поцелуй наш длился долго-долго, и пока моя левая рука обнимала ее спину, правая не могла пройти мимо этих пышных грудей, которые так и просились в руки, и когда я погладил их, то почувствовал, как Волошка вздохнула, может, причина этого глубокого вздоха заключалась в том, что она уже и не надеялась на какие-то шаги к сближению с моей стороны, а когда это произошло, ей стало легче, но повторяю – в голове моей порхали фиалки, до сих пор я не знал еще любовных игр, я любил Лию, но она была вся в своей музыке, для нее не существовало ничего другого кроме пения, по правде говоря, в детстве она была другой, и я не мог забыть того прелестного местечка у нее между ножками. А тем временем Волошка уже стягивала платье через голову, и я пожирал ее расширенными от страсти глазами, потому что, сбросив платье, она не остановилась и сняла все остальные одежды, тогда и я начал раздеваться, в голове шумело, я думал: вот оно наконец и произойдет то, о чем ты столько мечтал, но одно дело – мечтать, а другое – воплотить в жизнь. От волнения я весь дрожал, и когда мы голые сплелись в единое целое, я был благодарен Волошке, что она сама направила меня в себя, но это длилось недолго, считанные секунды, и я видел, что, измазав ее всю, я не удовлетворил ее, а только раззадорил, и я съежился, свернулся клубочком, припав к ее груди, и замер, не знаю, сколько мы пролежали в полном молчании, мне было стыдно, но я ничего не объяснял, а вскоре ее рука скользнула ко мне, и я почувствовал ее игривые пальчики, трепещущие и ловкие, они оживили меня, и я снова проник в нее, и на этот раз это продолжалось дольше, значительно дольше, и я кончил только тогда, когда услышал ее стоны, ощутил ее восторг и удовлетворенность. Потом я налил себе и ей смородинового вина, мы выпили, и она, лежа передо мной во всей своей роскошной наготе, сказала каким-то отсутствующим потусторонним голосом, обращенным даже не ко мне, а куда-то в потолок:

– Это я буду стрелять.

Я разинул рот, но не проронил ни слова, мне показалось, что любые слова будут лишними, я вдруг почувствовал свою мизерность, незначительность и ничтожность, ведь кто я такой, я – никто, а она – героиня, она решила на атентат, она, возможно, отправляется на смерть, а я, мужчина, только и всего, что подам условный знак. Как же так случилось, что на это дело отправили именно ее, а не кого-то из парней?

– Ты наверняка думаешь, почему именно я? – сказала она, но ответа не ждала, и сразу продолжила: – Это очень просто. Я хорошо стреляю. Я в Пласте с детства, стреляла из лука, самострела, а потом из револьвера. Но не это главное... А то, что я уже дважды привела приговор в исполнение. Но это для меня всегда большие переживания. Стрелять в человека трудно... Может, на фронте это не так... На фронте я могла бы быть такой же, как София Галечко^[72], рубить пашкой и стрелять во врага... Но когда целишься в человека, который этого не ожидает... который идет себе, ни о чем плохом не думает... это непросто... Накануне, вот как сейчас, состояние у меня жуткое, но ласки и вино помогают мне все это пережить.

Тут у меня закралось печальное подозрение, что меня использовали, что я сыграл роль некоего охлаждающего компресса, но я возмущаться не стал, ведь в конце концов когда-нибудь это должно было со мной произойти, так почему оно не могло произойти именно сейчас и именно так, я прижал к себе ее податливое тело, и мы лежали, каждый погруженный в свои мысли, пока не заснули. Но до этого она еще сказала:

– Гарбуз... Что это за кличка? Какой из тебя Гарбуз?

– Я хотел быть Хреном, но не получилось.

– Ну, да, Хрен уже есть. А я – Люция.

Она это сказала так, будто уже прощалась с жизнью, тогда я тоже назвал свое имя, и подумал, что мы с ней как гладиаторы перед выходом на арену. Утром я проснулся от какого-то звука, будто хлопнуло что-то, Люции рядом не было, зато я нашел записку, где сообщалось, что ей необходимо уладить кое-какие дела, завтрак на кухне, а ключ я должен оставить в водосточной трубе. На кухне меня ждали яичница, хлеб, масло, свежесваренный кофе и молоко, а еще несколько баночек с вареньем, рядом с ними рукой Люции было написано: «Это все моя продукция. Ты должен все это попробовать. Я проверю». Варенья я не любил, но чтобы сделать приятное Люции, попробовал из каждой баночки по полложечки. Интересно, куда она так торопилась? Ведь атентат запланирован на вечер. Я завтракал не спеша, какая-то сила удерживала меня на месте, мне было уютно в этом доме и хотелось оставаться тут как можно дольше, ведь неизвестно, попаду ли я сюда еще когда-нибудь после этого атентата. В окне я видел яблоню и сороку, которая вила гнездо, она куда-то исчезала на мгновение, а вернувшись, ловко устилала своим клювиком мягкую постельку на мастерски переплетенных ветках, это, наверное, какая-то сумасшедшая сорока, потому что вьет гнездо среди лета, но чему тут удивляться, если среди людей встречаются сумасшедшие, то почему бы им не быть и среди птиц... Я смотрел в окно, и мне хотелось, чтобы это никогда не заканчивалось, это утро и завтрак, и какая-то неизбывная тоска закралась мне в душу, я вдруг почувствовал, что не хочу, ни за что не хочу куда-то идти, хочу остаться здесь, в этом доме, и переждать все. Но что-то, что было сильнее меня, подняло меня и увело прочь.

По дороге на работу в Оссолинеум я проходил по улице Батория и не мог удержаться, чтобы не посмотреть в сторону здания полиции, меня приятно радовало ощущение того, что мне известно нечто такое, чего не знают тысячи людей во Львове, даже полиция, даже моя мама. При мысли о маме я не на шутку расстроился, ведь я не предупредил ее, что не буду ночевать дома, можно только представить себе ее состояние, учитывая ее экзальтированную натуру, ее метания, беготню по знакомым, бессонную ночь и шумное утро, и я не ошибся, потому что она уже ждала меня у пани Конопельки.

– А-а! – завопила она. – Наконец-то! Где ты таскался, фйталепа^[73] этакий? А? Я же глаз не сомкнула, думала, может, тебя легавые к чертям собачьим сцапали, может, в какую-нибудь каталажку уpekли! Так вот как ты с матерью? Для того я тебя родила, холила, лелеяла, чтобы ты меня так вот на старости осрамил? А шоб тебя утка лягнула! Говори: где ты был?

Но не мог же я при пани Конопельке рассказать маме о своем приключении, я успокоил ее как мог и, пообещав, что вечером все расскажу, выпроводил из кабинета. Пани Конопелька покачала головой:

– Да, не стоит мамочку волновать, она битый час тут про сидела как на иголках... хотя я вас понимаю... в вашем возрасте... да еще в такой день...

Я удивленно посмотрел на нее: о каком таком дне речь? Но она опустила голову к своим бумагам, и только какой-то намек на улыбку промелькнул на ее сухих губах. Ближе к вечеру она посмотрела на меня внимательно и сказала:

– Вам, кажется, пора, не так ли?

– До семи еще пятнадцать минут.

– Кто в такие моменты обращает внимание на минуты? Идите. И не забудьте свою фуражку.

Я остолбенел, вдруг сообразив, что на самом деле у меня никакой фуражки нет,

поскольку летом я ее не ношу, в семь двадцать я уже должен быть на Стрыйской, если побегу на Клепаровскую, то не успею, а купить новую не получится, потому что в кармане у меня всего несколько грошей. В то же время меня охватила тревога из-за слов пани Конопельки: откуда ей известно о фуражке? Но тут она меня потрясла еще больше, она вынула из ящика полотняную клетчатую фуражку и протянула мне, улыбаясь. Я не знал, что сказать, поблагодарил и попятился к двери. А когда пани Конопелька одарила меня теплым взглядом и перекрестила, на глазах у меня выступили слезы, я стремглав вылетел из библиотеки и направился в сторону Стрыйской. Поведение пани Конопельки осталось загадкой, и я даже не догадывался, надолго ли.

Поднимаясь вверх по Стрыйской, я проходил мимо девушек и парней, которых видел на Фиалковой, но лишь скользил по ним взглядом, мы не здоровались и не обращали друг на друга внимания. Из парка доносился запах цветущих лип, собственно, они уже отцветали и в эти последние дни цветения с какой-то вдохновенной обреченностью выплескивали весь свой букет, как прощальные слова перед смертью... Прохожие встречались редко, только один-два крутились у деревянных будок с лимонадом, поравнявшись с входом на кладбище, я остановился, здесь был мой пост. Там дальше, вверху я увидел Люцию возле будки с лимонадом, она рылась в сумочке, выискивая мелочь, на ней было белое в цветочек платье, туфли на низком каблучке, очевидно, чтобы легче было давать деру, волосы были заправлены в беретик. Я вообще не курил, но купил по пути пачку дешевых сигарет и зажал одну в губах, хотя и не прикуривал, мне казалось, что так я выгляжу более естественно – околавываясь на одном месте, по крайней мере был похож больше на батяра, чем на участника атентата. Я чувствовал, как бьется мое сердце, оно забилось еще сильнее, когда я увидел, что девушка внизу улицы наклонилась и застегнула пряжку на сандалиях, мимо нее как раз проходил мужчина с папкой под мышкой, он даже обернулся на девушку, которая наклонилась так, что выпятились все ее прелести, и улыбнулся, я чиркнул спичками и прикурил сигарету, но не затягивался, потом посмотрел в сторону Люции, она, не торопясь, пила лимонад и любовалась цветущими липами, с кладбища вышли две старушки в черном в шляпках с черными вуальками, прикрывавшими их лица до рта, держа друг друга под руки, они свернули направо и пошли вверх, если они будут ковылять так же медленно, то обязательно станут свидетелями атентата, я подумал, что надо их задержать, тем более, что инспектор уже шел мимо меня, я снял фуражку и вытер лоб, потом догнал бабушек и обратился к ним на польском, потому что слышал, как они разговаривали по-польски, я спросил, не видели ли они на кладбище ничего подозрительного, я тайный агент полиции, и мы сейчас выслеживаем опасного маньяка, который нападает на стариков и грабит их. Старушки остановились, миг приняли важный вид, сначала переспросили друг друга, не заметила ли одна из них чего-нибудь подозрительного, потом заверили меня, что на кладбище все спокойно, хотя...

– Да-да... – перешла на шепот одна из старушек. – Что-то мне показалось... там в кустах... о, видите?.. там... в тех кустах самшита... у того-о белого креста... что-то там шуршало... я подумала ветер, правда, Аделька, я тебе сказала: ветер... а это, вы говорите, мог быть он?.. Но как хорошо, что вы о нас заботитесь, оберегаете нас... нам будет спокойнее... а скажите, завтра вы тоже тут будете, а то мы придем пополудни... здесь наши мужья похоронены, ветераны, в воскресенье здесь будет играть оркестр, мы должны привести в порядок могилки...

Я не успел ответить, потому что увидел, как Люция ставит стакан с недопитой водой на

прилавок, потом спокойно вынимает револьвер из сумки и тремя выстрелами укладывает полицейского на землю, он еще пытается достать свое оружие, но сил у него уже нет, и он замирает. Люция стрелой перебегает дорогу и исчезает в парке, бабушки визжат как недорезанные, кричат что-то мне, как агенту полиции, но я их не слушаю и тоже бегу в парк, будто вдогонку за убийцей, вслед мне несется: «Скорее, пан! Скорее!»



Ярош вылетел из Стамбула раньше Куркова, но еще успел побывать с ним на знаменитом стамбульском крытом базаре, который поразил его своей бескрайностью. А когда Курков, которого пригласили еще и в Анкару, возвращался домой, в самолете рядом с ним сел невысокий тип, который все время шурился, словно ему кто-то в глаза светил, в любом случае что-то писателю не понравилось в его внешности, и он не стал вынимать из папки ноутбук, как это делал всегда, чтобы поработать над очередным романом, представив себе эти прищуренные глаза сбоку. Когда самолет взлетел, набрал высоту и появились стюардессы с тележкой, предлагая обед и напитки, незнакомец спросил у Андрея, будет ли он что-нибудь пить. Курков, который отличался мягким характером и привык вежливо общаться с кем бы то ни было, даже пьяницу выслушивать, почувствовал какое-то странное отвращение к этому человеку, ему совсем не хотелось вступать с ним в контакт, и он отрицательно покачал головой, а незнакомцу, видно, только того и нужно было, потому что он тут же попросил, чтобы Андрей взял еще одно виски, будто для себя, у него, мол, сегодня было слишком много эмоций, он должен расслабиться, а получив два стакана виски, человек выпил их одним махом и захрустел салатом. «Теперь он всякий раз, когда стюардессы будут развозить напитки, станет просить меня взять ему еще один стаканчик», – подумал Андрей, и тут же возникла здоровая мысль поспать – не будет же он его будить. Но как только писатель поудобнее уселся в кресле, незнакомец, который уже закончил свое хрупанье и чваканье, сказал:

– А я вас узнал. Вы же Андрей Курков, правда? – и, не дожидаясь ответа, продолжил: – Нет, не скажу, что я вас читал, но за прессой слежу. Будем знакомы: подполковник СБУ Кныш.

Пришлось пожать ему руку и пробормотать принятые в таких случаях слова. Стюардессы появились снова, на этот раз они собирали мусор и остатки еды и наливали напитки, и снова Курков вынужден был обслужить своего соседа, мысленно решив для себя, что уж это в последний раз. Но он ошибся, ибо тот, выпив один стакан и смакуя второй, сказал:

– Я, видите ли, был в командировке... по службе... Не буду играть в кошки-мышки... у меня к вам есть несколько вопросов как к человеку... э-э, как бы это сказать... близкому

нам...

– Что вы имеете в виду? Я в КГБ не служил.

– Вы должны были служить в КГБ, но отвернулись. Это нам известно. Но вы были на пенитенциарной службе... охранником в тюрьме. Значит, вы наш.

– Больше я вам виски не возьму, потому что вы начинаете нести чушь.

– Ну, извините, если я некорректно выразился. Виски, конечно, свое дело сделало. Но я все же надеюсь, что вы нам поможете. Сейчас мы с вами по одну сторону баррикад.

– Каких баррикад? Не вижу никаких баррикад.

– Ну, я читал какое-то ваше интервью, где вы сказали, что считаете себя патриотом Украины, а к России не чувствуете никаких сантиментов. Поэтому я и обращаюсь к вам исключительно как к патриоту Украины. Потому что и я патриот.

– А когда вы служили в КГБ, тоже были патриотом Украины?

– Ценю ваш юмор. Но давайте ближе к делу. Нас интересует профессор Ярош. В частности, его исследования Арканума и некой книги, которая вызывает у нас интерес. Не знаю, заметили ли вы в читальном зале национальной библиотеки скромного человека с лупой...

Курков с удивлением посмотрел на спутника, похоже, он был одним из тех трех читателей, изучавших какие-то старые издания.

– Это были вы?

– Да, – кокетливо опустив глазки, сказал Кныш, – я просматривал турецкий атлас Украины Эвлии Челеби. Очень занятный путешественник. У нас его частично перевели. Но, конечно, меня не атлас интересовал, а то, что говорилось у меня за спиной. По-турецки я ни бум-бум, а с английским у меня, знаете, как и у всех выпускников советских школ, тоже не лучшие отношения. Я, как та собака, все понимаю, а сказать не могу. То есть на бытовом уровне – нет вопросов... как говорится, гавмач, гавдуюду, мейаспик, сенкюверимач и т. д. В общем, то, о чем вы говорили в зале, я понял. Но меня интересует то, о чем говорилось в святая святых...

– Как я вас понимаю, – улыбнулся Курков. – Более того – сочувствую. Но я хочу спать.

После этих слов он вытянул ноги, насколько это было возможно, сложил руки и, откинув голову, прикрыл глаза. Постоянные перелеты воспитали в нем уже неискоренимую привычку чувствовать себя в самолете, как дома. Он с каким-то самодовольством, прежде чем уснуть, прислушивался к очередному грохоту тележки и бульканью напитков.



Еще не было и семи утра, как меня разбудил безжалостный стук в дверь, потом раздался испуганный крик моей мамы, в комнату ворвались трое полицейских и приказали мне немедленно собираться и ехать с ними. Мама пыталась что-то им доказывать, убеждать, но полицейские не обращали никакого внимания на мамины крики. Тогда мама мигом взяла себя в руки, заметалась по комнате и живо сложила мне в котомку все, что могло пригодиться там, куда меня забирают. Когда мы выходили, вслед нам летели мамины проклятия и обещание обратиться к пану министру, с которым она лично знакома, и тогда полиция узнает, с кем имеет дело, при этом мама конкретно фамилии министра не называла. Все ее вопли не произвели никакого впечатления на полицию, и спустя каких-то пятнадцать минут я уже стоял в Бригидках на Казимировской перед ясными очами чудовища, известного всем львовянам, – комиссара Кайдана. В комнате для допросов стоял табурет, на который меня усадили, а вдоль стен лежали веревки, дубинки, клещи и другие принадлежности, от одного вида которых у меня потемнело в глазах.

«Это ж надо, наградил Бог человека фамилией! – подумалось мне, а потом я посмотрел на его рожу и подумал: – Это ж надо, наградил Бог рожей!» На этом мои размышления закончились, потому что комиссар подошел ко мне и залепил мне в морду, я аж ноги задрал, слетев с табурета. Мне было больно не столько от его кулака, сколько от того, что я грохнулся головой о каменный пол, голова просто кругом пошла. На губах почувствовал кровь, но решил ее не вытирать, пусть думает, что расквасил мне рожу всмятку.

– Вставай, кабаняра, – сказал вполне мягко Кайдан, – вставай и рассказывай, кто стрелял.

Ага, так это по делу атентата? А что я могу им полезного сообщить? Я встал, поднял табурет и, усевшись на него, сказал по-украински:

– Прошу пана, я працюю в бібліотеці... в Оссолінеумі... Я не знаю нікого, хто вміє стріляти. Я не знаю навіть, у кого стріляли.

Следующий удар угодил мне в ухо, и я снова повалился, задрал ноги, а надо мной нависла красная рожа Кайдана:

– Ты на каком языке отвечаешь, сукин сын? А? Ты где живешь? В Польше? Так и говори по-польски, не то голову тебе размозжу! Украины тебе захотелось? Знаешь, где Украина? Под роцей долина – в сраке Украина! Разве ты не был вчера вечером на Стрыйской?

Помня дядину установку «ни слова на языке захватчика!», я молча покачал головой, не желая снова заработать тумака.

– А до которого часа ты, кабаняра, был в библиотеке? – спросил комиссар, ухватив меня за грудки и поставив на ноги.

Я замычал что-то невнятное, будто захлебываясь кровью, и показал восемь пальцев. Комиссар посмотрел на меня прищурившись, как смотрит мясник на телка, потом сгреб со стола какую-то промокашку, утер мне резкими движениями рот, бросил промокашку в корзину, а после крикнул в дверь:

– Приведите этих тетей-мотей!

Тут же в комнату вошли две старые пани, которых я встретил возле кладбища, они уже не были одеты в черное, вид у них был куда праздничнее, будто их ожидал визит к бургомистру, обе приоделись в пестрые платья, а шляпки их были украшены декоративными цветочками и листиками, с той лишь разницей, что у одной между цветочками и листочками кокетливо выглядывали красные землянички.

– Это он? – спросил Кайдан без проволочек, показывая на меня.

– Да-да, вельможный пан, – поспешно закудахтали обе старушки, безумно радуясь тому, что им выпала такая честь – быть свидетелями, а та, которую вчера подруга назвала Аделькой, возбужденно затараторила: – Этот парень сообщил нам, что он – тайный агент полиции и выслеживает опасного маньяка. И просил нас быть бдительными. Мы ему за это очень благодарны. А потом он отважно бросился вдогонку за тем... той, которая стреляла... Мы еще ему кричали: «Скорее! Скорее!» И махали зонтиками...

– Аделька! – перебила старушка-земляничка. – Ты всегда все путаешь, это я махала зонтиком, а ты кричала: «Скорей! Скорей!», потому что у тебя зонтика не было...

– Как это у меня не было зонтика! – возмутилась Аделька. – Я с ним не расстанусь с той поры, как пан доктор Цибульский приписал мне держаться в тени!

– Но тогда у тебя его не было, ты левой рукой держала меня под руку, а в правой несла сумку.

– Боже мой! И ты только сейчас мне об этом говоришь? Выходит, я свой зонтик забыла на кладбище?

Я бы с удовольствием еще долго слушал этих милых и добрых старушек, но комиссар был другого мнения, он засопел так грозно, что обе сразу умолкли, и сказал:

– А теперь прошу выйти в канцелярию и подписать показания. Спасибо за вашу гражданскую сознательность.

Бабушки исчезли, а Кайдан улыбнулся мне и продолжил:

– Ну что? Будем и дальше изворачиваться? – После этого он ловко, как какой-нибудь футболист, выбил из-под меня ногой табурет, а я опять грохнулся на пол и на этот раз больно ушиб локоть, хотя и не так больно, как это изображал, но ведь, в конце концов, дядя ничего не сказал о том, что я не должен извлекать из себя ни звука, когда меня будут бить, потому что легко им говорить «терпи», а я ведь не готовился к совершению покушений по примеру тех, что зажимали себе руки дверью, а для пущего эффекта еще и иголки под ногти загоняли, чтобы привыкнуть к пыткам. Тем временем комиссар уже приготовился пнуть меня ногой под ребра, но тут зазвонил телефон, он поднял трубку, вздохнул и сказал:

– Пусть заходит. – Потом сунул мне в руки промокашку: – Встать, рожу вытереть и сесть!

Едва я успел выполнить его указание, как дверь открылась, и вошла пани Конопелька в сопровождении молодого полицейского.

– Эта дама говорит, – кивнул на нее полицейский, – что он был весь вечер в библиотеке.

– Да? – улыбнулся Кайдан. – И до которого же часа?

Я замер. Сейчас она назовет какое-то другое время и на этом все для меня закончится.

– В тот день к нам поступил пакет с книгами и журналами из Праги, – начала

совершенно спокойно пани Конопелька, – поэтому мы несколько задержались на работе. Пришлось их все каталогизировать и расписать на отдельных карточках. Обычно этим занимается отдел библиографии, но когда речь идет о чешских изданиях, я больше никому не могу их доверить, поскольку пан Барбарыка имеет большой опыт работы с чехами. Итак, у меня пан Барбарыка был до половины восьмого, потом я его отпустила, но еще попросила занести эти карточки к особе, заведующей Генеральным каталогом, чтобы она на следующий день распределила их по отраслевым каталогам. А так как эта особа юная и миловидная, то, сами понимаете, они не спешили. Словом, когда именно он вышел, я не знаю, я сидела в своем кабинете еще довольно долго.

Кайдан засопел так, будто собирался взлететь под потолок, пальцы его судорожно сжались в кулак, и я уже даже стал волноваться за пани Конопельку, но она держалась молодцом и бесстрашно смотрела в глаза комиссару.

– Вы дадите эти показания под присягой? – переспросил Кайдан.

– Под присягой я их дам в суде, – не дала себя сбить с толку пани Конопелька, – а сейчас подпишу протокол допроса.

– Хорошо. А та особа?

– Она тоже пришла, – сказал полицейский, который до сих пор молчал. – Вызвать?

Комиссар кивнул. Каково же было мое удивление, когда появилась Миля. Она была одета в ситцевое платье с открытыми плечами, а на ее очаровательных губках цвела очаровательная улыбка. Завидев меня, она бросилась мне в объятия с такой страстью, будто нас связывала безудержная любовь, даже сам комиссар оторопел и не сразу остановил Милю, она успела обцеловать меня, пока, в конце концов, он при помощи второго полицейского не оторвал-таки ее от меня.

– Это вам не вокзал, а он не с поезда сошел! – рывкнул Кайдан. – Когда вы его вчера видели в последний раз?

– Господи! Почему в последний раз? На что вы намекаете? Орчик! Родненький! – Тут она в отчаянии заломила руки и так артистично заголосила, что я сам чуть не разрыдался.

– Немедленно прекратите! – гаркнул комиссар. – Отвечайте на вопрос!

– Мы вышли из библиотеки в пять минут девятого и распрощались.

– Кто видел, как вы выходили?

– Никто, потому что мы были последними.

– И вы, такая влюбленная парочка, не зашли выпить кофейку, а сразу же расстались?

– Я неважно себя чувствовала, – и, состроив Кайдану глазки, добавила с улыбкой: – Знаете, как это бывает у женщин...

Комиссар на этот раз засопел, как кузнечный мех. Миля ответила вполне разумно, ведь если бы она сказала, что мы пили кофе, то допросили бы официантов. Кайдан с минуту покачался на каблуках, кусая губы, и сказал полицейскому:

– Пригласи тех... тех старых перечниц...

Обе тети-моти снова явились перед нами, а их добрые улыбающиеся лица просто-таки светились невыразимой радостью, глаза их, которыми они буквально пожирали пана комиссара, излучали доброту, старушки были готовы на все ради святого дела.

– Уважаемые, – обратился к ним Кайдан, – я не знаю, кому верить. Эта пани и эта панна убеждают меня, что этот... этот гость... не мог вчера быть на Стрыйской, потому что работал в Оссолинеуме до восьми вечера, а атентат произошел в половине восьмого. А вы говорите, что видели именно его.

– Оссолинеум! – зацокала языком пани-земляничка. – Боже мой, я там провела лучшие годы своей жизни. Я работала в отделе... в отделе...

– Ну конечно, – сказала пани Конопелька, – я вас хорошо помню. Вы работали в отделе комплектации. Мы с вами редко пересекались, я работала этажом выше. Но однажды я вручала вам грамоту за добросовестный труд от самого президента...

– Ах, да! – всплеснула ручками пани-земляничка. – Вы еще называли меня «цветиком», я ведь была молодая и красивая! Неужели вы меня узнали? – Она растроганно поправила на себе шляпку. – Столько лет! Но вы... вы совсем не изменились...

– Хватит, – перебил ее Кайдан. – Вы настаиваете, что именно этого парня видели на Стрыйской в половине восьмого?

Старушки переглянулись и покрылись румянцем, потом обе взглянули на меня, на пани Конопельку и пожали плечами:

– Он похож! – сказала пани Адель.

– Очень похож! – закивала головой пани-земляничка.

– Если бы он сказал нам что-то... может быть, мы и определились бы...

– Так, – обратился ко мне Кайдан, – ну-ка скажи: «Jestem agent policyjny. Tropimy maniaka».

Я повторил слово в слово, но по-украински: «Я агент поліції. Переслідуюмо маніяка». Кайдан снова засопел, сверкнул глазами, сжал кулаки, но от решительных действий удержался. Вместо этого выдавил из себя сухо:

– Прошу то же самое по-польски.

Тут вмешалась пани Конопелька:

– Пан комиссар, по закону только государственные служащие обязаны не только владеть польским, но и быть поляками...

– Нет такого закона.

– Но ведь вы знаете, что на самом деле так оно и есть. Украинцев и жидов не принимают на государственную службу, пока они не перейдут в католицизм.

Комиссар недовольно покачал головой:

– Мы не на дебатах в Сейме. Вы хотите сказать, что он не владеет польским?

– Я его знаю давно. Он может что-то сказать по-польски, но это будет настолько ужасно, что мне просто обидно за великий язык нашего Пророка.

– Пусть скажет, как может.

Я подумал, что дядя не будет на меня обижен, если я исковеркаю польский язык, и я брякнул:

– Я ест агентом полицийным. Трупимо маняка.

Кайдана перекосило так, будто из моих уст хлынул не чистый польский язык, а блевотина. Старушки снова переглянулись и чуть ли не хором затараторили:

– Нет-нет, тот не так говорил... и голос был не такой... звонкий...

Еще бы! У меня во рту скопилось столько крови и слюны, что я эту фразу не столько проговорил, сколько прошамкал.

– А знаешь, Аделька, – сказала пани-земляничка, – у того парня волосы были светлее... Тебе не кажется?

– Точно, – закивала пани Адель, – и они были к тому же волнистые, а уши плотнее прилегали к голове.

– И тот был выше... немного, но выше...

Здесь уж комиссар вскипел не на шутку и, с трудом сдерживая свою ярость, прохрипел:

– Все свободны! – И полицейскому: – Составь протокол.

Уже на улице я спросил у Миля и пани Конопельки:

– Откуда вы знали, какое время назвать?

– А что тут долго думать? – рассмеялась Миля. – Библиотеку закрывают в восемь, ты мог назвать любое время, начиная с семи тридцати. Но мы не допускали, что ты можешь назвать семь сорок две или семь пятьдесят одну.

– А та пани... какое счастье, что вы ее узнали через столько лет... она ведь была тогда девушкой...

– Да кто там узнал! Впервые вижу, – махнула рукой пани Конопелька.

– Как? Вы же вручали ей президентскую грамоту!

– Ну и что? Мы эти грамоты вручаем каждый год на какие-нибудь праздники. Если она у нас работала, то рано или поздно могла ее получить.

– А если бы... если бы именно она и не получила? Если бы она проработала там всего год-два?

– Ну, что ж, – пожала плечами пани Конопелька, – порой стоит и рискнуть.

– Не знаю, как вас и благодарить. Я ведь...

– Мы знаем, где вы были и что вы делали... – улыбнулась пани Конопелька и с заговорщицкой миной, предварительно оглядевшись по сторонам, прошептала: – Травить крыс вызывали?

– И мышей тоже! – залилась смехом Миля и, бросив на прощание: «Чао, Гарбуз!», взяла пани Конопельку под руку, и обе зашагали в направлении центра. Я почесал затылок и пошел утешать свою матушку, а по пути умылся у колонки, чтобы мама не ровен час не испугалась.



Уроки Иосифа Милькера стали для Ярки неким сакральным действием, она вдруг осознала, что по дороге к старику настраивает себя на соответствующий лад, даже мысленно разговаривает с ним, слыша при этом его реплики, она действительно прониклась музыкой больше, чем всем остальным, что ее окружало, Милькер стал для нее настоящим гуру, она готова была выполнить любое его желание, и если бы учитель в особо вдохновенные моменты игры на скрипке велел ей прыгнуть в окно, она бы прыгнула, и это она тоже для себя осознала, и теперь, кроме безудержной тяги к урокам, поселился в ней еще и страх, но он не мешал, он лишь щекотал нервы, возбуждал и подзадоривал. Уроки музыки, которые Милькер давал Ярке, были совсем не похожи на все те, которые она брала до сих пор, когда каждый новый учитель учил ее заново, так, будто главной его задачей было стереть в памяти ученицы все предыдущие знания и умения. Милькер пошел другим путем:

– Извлечение звука – вот над чем вам придется работать больше всего. Скрипка должна иметь красивый звук, а смычок буквально всасываться в струну. Музыкальностью Бог вас не обделил, поэтому я буду учить вас умению передать скрипке то, что звучит в душе!

Сначала уроки проходили у старика дома, где Ярке невероятно нравилось, все в этом доме настраивало на какой-то особый лад, по-особенному пахла старая мебель, вызывая в памяти что-то давно забытое, то, что так же пахло в детстве, книги своими корешками гипнотизировали и завораживали, девушка заметила, что играя смотрит на корешки книг, как на ноты, но скоро все изменилось, когда Милькер предложил играть на улице. Ярка была удивлена, не могла понять, к чему этот эксперимент, как можно брать уроки на улице, где вокруг тебя снуют незнакомые люди, а кто-то еще и останавливается и пялится, но учитель стоял на своем:

– Вы скованы, вы как улитка в раковине, а вам нужно освободиться, ваша душа должна вырваться из вас, когда вы играете, и порхать в поднебесье. Я заметил, как вы скользите взглядом по книгам, этого не должно быть.

– Но ведь тогда я буду скользить глазами по прохожим...

– Нет. Они вам будут мешать, поэтому вы перестанете обращать на них внимание, вы будете их игнорировать, не будете замечать. Это заставит вас сосредоточиться и никак не

ассоциировать себя с тем местом, в котором вы находитесь.

Ярке ничего не оставалось, как согласиться, но окончательно ее добило то, что Милькер, как только они выбрали место для игры на площади Рынок, сбросил с головы шляпу и положил у ее ног. У девушки дух перехватило от волнения, она отчаянно мотала головой и шептала: «Ни за что... не буду... что вы придумали?» Милькер терпеливо слушал ее и выжидал, чувствуя, что постепенно ее сопротивление становится все менее горячим, потом сказал:

– Начинайте играть, и музыка вас поднимет над городом, вы не должны ничего и никого видеть, вы не должны никого слышать, кроме меня. Вас подхватит волна музыки и понесет.

И Ярка сдалась. С тех пор каждый урок проходил в новом месте Львова – в Стрыйском парке, на Высоком Замке, на Кайзервальде, на Лычаковском кладбище, на Кортумовой горе...

Ярка не знала, что за несколько дней до этого Милькера посетил Ярош и поинтересовался, каким образом можно было бы услышать настоящее «Танго смерти». Старик лишь грустно покачал головой:

– К сожалению, это пока невозможно. Я его одной рукой исполнить не могу. Но даже если бы и мог, у меня нет нот. Тех двенадцати. Ведь в них и не было нужды, я знал мелодию наизусть, я мог ее сыграть хоть среди ночи. Но недавно у меня случился инсульт, память моя хорошенько пострадала, только тогда я опомнился, что не записал нот. Хотя надеюсь, что все же вспомню их.

– Возможно, удастся воспроизвести мелодию. На днях я завершил ее расшифровку из арканумской «Книги Смерти». Арканумцы обозначали ноты буквами. Мелодия, которую они исполняли в обряде смерти, состояла именно из двенадцати нот. Вот они... Возможно, вам поможет также этот диск. Здесь запись танца дервишей.

– Танец дервишей... да-да... Я слышал о нем. В этом танце тоже встроено всего двенадцать неповторимых нот. Все остальные не играют никакой роли, все остальные – лишь фон. Как и в нашем танго, – старик повертел диск в руке, а потом стал вчитываться в ноты, которые расшифровал профессор.

– Должен сказать, что когда я присутствовал при исполнении танца дервишей, со мной произошли странные вещи. Я будто покинул свое тело и поднялся над землей. А потом, видимо, вообще потерял сознание. Больше я его не слушал. Мне было страшно. Возможно, такие же чувства испытывает человек, когда умирает.

Милькер посмотрел на него задумчивым взглядом.

– Кажется, мы близки к истине. Но... есть некоторые проблемы. Допустим, мне удастся воспроизвести ноты. Но кто их исполнит? Дело в том, что там есть такие нюансы, если их не учесть, действие этой мелодии будет таким же, как у любого другого танго. Человеческое ухо не способно различить этих нюансов, но способно на них реагировать. Если не знать секрета исполнения, то дайте эти ноты даже величайшему виртуозу – толку не будет.

– Как же вам удалось?

– Калькбреннер зашифровал ноты. Но мне удалось их расшифровать. Руководствуясь его указаниями, я сумел исполнить это танго... – Милькер снова присмотрелся к нотам, и лист задрожал в его руке. – Кажется... кажется, – прошептал он взволнованно. – Это что-то похожее... похожее на ноты «Танго смерти»... Но я должен убедиться. Это не займет много времени. И еще... – Он обеспокоенно посмотрел на Яроша. – Я все это время искал себе ученика или ученицу... Человека, которого мог бы научить исполнять это танго так, как исполняли его мы... Но я всякий раз терпел поражение... Хотя с надеждой я не расстаюсь...



Вскоре после того, как я чуть не угодил в тюрьму, меня решили призвать в армию. Мама сразу заявила, что не отдаст своего любимого сыночка, что поднимет на ноги всех своих знакомых, лишь бы спасти меня от набора, но я заверил ее, что и сам могу выпутаться из этой истории, и смело отправился на медицинскую комиссию, прикидываясь глухим. Ну, не совсем, а только на одно ухо. Доктора вынуждены были мне кричать, как в лесу, а я отвечал им так же громко. Тогда они велели мне подождать в соседней комнате, где таких же глухих и глуховатых набралось уже с добрый десяток. Некоторые из них, полагая, что находятся в безопасности, уже не валяли дурака, но только не я, потому что я не был уверен, что среди нас нет шпиона из комиссии и что никто за нами не подглядывает. Но вот нас вызывают, снова заходим и становимся пред ясные очи докторов. Нам велели выстроиться в ряд, мы стали, и тогда один из докторов наклонился к другому и сказал тихо, но внятно:

– Пан Миховски, может, проверим их вестибулярный аппарат?

– Да, пан Жмиховски, – ответил тот так же тихо, – мы им прикажем постоять на одной ноге.

– Отличная идея! Ни один глухой с этим не справится, ему не позволит вестибулярный аппарат. – И уже вслух: – Прошу всех поднять левую ногу и постоять на правой ноге пять секунд.

Как и следовало ожидать, все эти глухие тетери бухнулись на пол, и только я, как тот сиреневый куст, остался стоять, потому что мой вестибулярный аппарат не поддался на провокацию, и стоял бы я еще дольше, если бы доктора не принялись уже просто орать, как бешеные, и руками махать. Ну и комиссовали только меня одного. А за то, что я поступил так мудро, я должен был благодарить исключительно дядю, который лет двадцать назад провернул такую же штуку.

И хотя я спасся от армии, но не спасся от войны Львов. Однажды ночью, когда мы с друзьями возвращались пешком с верхнего Лычакова, где хорошенько назюзюкались в кафе «Под белкой», мы вдруг узрели странную процессию – несколько десятков приземистых типов в длинных плащах и зеленых шлемах семенили нам навстречу, смотрели они почему-то не прямо перед собой, а на мостовую, когда они поравнялись с нами, мы увидели, что плащи их мокрые, а из-под плащей выглядывают не башмаки или сапоги, а плавники, от них разило гнилыми водорослями и йодом, шли они своей неуклюжей походкой медленно, вперевалку, не обращая на нас никакого внимания, только глаза их вспыхивали зеленым светом, глаза, в которых не было ничего живого, потому что сам свет этот был мертвым. Никто из нас не проронил ни слова, до конца еще не осознав – видим мы это на самом деле или нам только привиделось. Мы проводили их взглядом, наблюдая за тем, как они исчезают в густой

мокрой пелене, внезапно опустившейся откуда-то сверху, потом мы переглянулись и пошли своей дорогой, ошеломленные и растерянные, а была это последняя ночь августа 1939 года.

День 1 сентября был солнечным, многие львовяне еще находились в отпуске в Карпатах, Львов не был таким людным, как обычно, и когда я услышал взрывы, то не сразу понял, что это, думал, может, артиллеристы проводят учения, но взрывы не утихали, а надвигались с запада и напоминали гром, а потом этот гром перешел в грохот, и в небе появились немецкие самолеты, взрывы бомб сотрясали город, вспыхивали пожары, гудели сирены. Такие же сирены гудели за неделю до этого, оповещая город об атаке немецких самолетов, но это была лишь учебная тревога, хотя и она на многих нагнала страху, когда среди ночи под гул сирен в дверь стучал сторож и кричал, чтобы все немедленно прятались в подвалы, а за день до этого львовян на каждом шагу подстерегали черно-желтые и бело-красные плакаты, сообщающая о продаже противогазов, на улицах появлялось все больше людей с подвешенными к поясу масками в серо-зеленых футлярах, а кое-кто надевал их на лицо и становился похожим на какого-то монстра, самолеты сбрасывали листовки с указаниями, как нужно вести себя в случае газовой атаки, газеты советовали запастись поташем, о муке, сахаре и крупах они не писали, но люди и сами знали, что все это тоже стоит покупать – не пропадет, даже если войны и не будет.

Радио то и дело прерывало музыку, и оттуда доносился знакомый голос варшавского диктора: «N. O. 28. Ryba. Nadchodzi», и снова: «N. O. 28. Ryba. Nadchodzi», голос этот был не такой, как обычно, в нем слышалась тревога, а непонятный текст вызывал у слушателей еще более сильную тревогу и страх, и даже когда после этих слов начинала играть музыка, слова продолжали звучать в ушах, въедались в мозг, и невольно самому хотелось их повторять, как какое-то заклинание, которое может спасти нас всех от напасти. Но не спасло. Ежедневно Львов полнился новыми и новыми людьми, ехали на автомобилях, на повозках, шли пешком, груженые чемоданами и котомками, а потом рассеивались по близким и дальним родственникам, рассеивались по селам или шли дальше на Тернополь или Станислав, а там – к румынской границе. Позже стало понятно, что те, кто пошли в Румынию, оказались мудрее всех, всем им удалось спастись и пережить войну, но тогда, в самом начале сентября, еще никто не знал, что его ждет. «Uwaga, uwaga! 125, przeszedł», – повторяла вновь и вновь варшавская дикторша, а после этого звучали марши, но те тревожные слова не забывались и не давали покоя, а марши уже звучали не так бодро, скорее напоминали похоронный звон...

Лия, примостившись на диване, поджав под себя ноги, смотрела на меня испуганными глазами и спрашивала:

– Зачем, зачем они это говорят? Я ничего не понимаю. Меня это пугает.

– Это они передают информацию для армии, – ответил я. – Сообщают о продвижении немцев.

– Как ты думаешь, они уже близко?

– Возможно. Но мы будем защищаться.

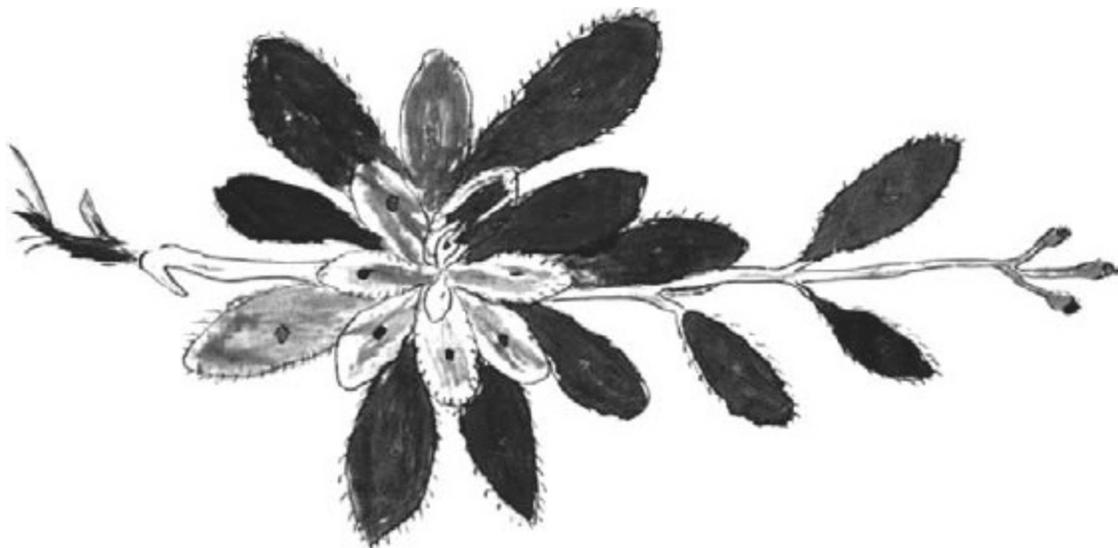
– Мы? Ты собираешься защищать Львов вместе с поляками?

– Это и мой Львов тоже.

Я вышел на улицу за газетой, она была сплошь усеяна крупными заголовками и радостно сообщала о героическом сопротивлении, которое по всей линии фронта оказывает храбрая польская армия «наглому гунну, варвару 20 века». Однако те, что прибывали во Львов с Запада, рассказывали совсем другие вещи: немцы уже под Ченстоховой.

На Городецкой упали бомбы и разрушили два больших дома, самолеты гудели над

городом, люди разбежались, какой-то мальчик бегал под окнами и дул в свисток: тревога! – а самолеты гудели, и этот гул всеял ужас, желание забиться в какую-нибудь маленькую норку, а потом грохнуло так, что улица содрогнулась, земля завибрировала под ногами, зазвенели стекла, человеческий крик рассек воздух, и вслед за всем этим вдруг наступила тишина, только дым и пыль поднимались вверх и заволакивали все вокруг, забивали дыхание, вызывая желание сплевывать и отхаркивать что-то неприятное, что драло в горле, скрипело на зубах и не давало дышать. Темно-бурые снизу и желтые сверху клубы дыма вздымались со стороны главного вокзала, они вихрились и раскачивались, как кроны деревьев на ветру, меняя всякий раз свой цвет, то темнели и становились гуще, то делались светлее с отблесками пульсирующих красных языков, которые вырывались из станционных складов. Сторож ходил из квартиры в квартиру и велел набирать воду в ванны и лоханки, выварки и кастрюли на случай пожара, и вообще обеспечить себя водой, потому что воду должны перекрыть, останутся только колонки на улицах.



– Каждый великий человек имеет своих учеников, и всегда Иуда пишет его биографию, – сказал Ярош, завершая лекцию об арканумской литературе. – Именно так случилось и с Люцилием. Его биографом стал Альцестий, который при жизни всей душой ненавидел Люцилия, ревновал и пытался затмить своим талантом. Когда же тот умер, Альцестий успокоился и неожиданно стал писать о нем исключительно как о своем ближайшем товарище, словно приватизировал все воспоминания и исследования. И всякий раз, когда кто-нибудь еще осмеливался написать что-нибудь о его «кумире», Альцестий набрасывался на него, как ястреб. Поэтому жизнь и творчество Люцилия окутаны для нас дымкой фантазии, мы можем только догадываться, как было в действительности, однако другие сведения, в противовес Альцестию, до нас не дошли. И в этом заключается загадка Люцилия. Ведь что мы имеем? С одной стороны – биографию, которую мифологизировал он сам, а с другой – биографию, которую мифологизировал уже Альцестий. Но где же тогда правда? Правды мы не знаем. Мы, как тот буриданов осел, оказались между двух стогов сена и не можем решиться, с какого же стога ухватить пучок. Буриданов осел, как известно, так и сдох с голоду. Но мы существа мыслящие. Должны самостоятельно докапываться до истины. А о том, как именно мы это сделаем, я расскажу на следующей лекции.

Это была последняя лекция в тот день, Ярош уже собрался идти в библиотеку, когда к нему подошла Данка и спросила, был ли он когда-нибудь на Чертовой скале, он удивился:

– Нет, не был. А почему вы об этом спрашиваете?

– Потому что я тоже не была, – она при этом засмеялась и бросила на него игривый взгляд поверх больших очков, вертя в руках сумочку. – Моя мама испекла пляцек и сказала, чтобы я вас обязательно угостила. Вот я и подумала, что было бы неплохо прогуляться... Пока стоит солнечная погода.

– Гм... – улыбнулся Ярош. – Заманчивое предложение. Но пляцек мы можем съесть и в парке.

– Пляцек здесь не главное. Главное другое. Я хочу прочитать вам с Чертовой скалы свои переводы стихов Люцилия.

– О-о, так бы сразу и сказали! Тогда мчимся на всех парусах. Но... будет, пожалуй, разумно, если мы выйдем из универа не вместе. Хорошо? Встретимся напротив короля

Данилы на автобусной остановке.

Он еще хотел спросить ее об очках, которые делали ее несколько старше, и в них она была похожа на учительницу, ведь до сих пор он ее в очках не видел, но не успел – Данка развернулась на каблуках и исчезла. По пути Ярош снова купил вино, воду и сыр, Данка уже ждала его, они втиснулись в переполненный автобус, следовавший в Винники, и, сойдя у озера, отправились лесом в гору. До Чертовой скалы можно было идти и по пологому серпантину, но они решили карабкаться напрямик и за каких-то полчаса добрались туда, где высилась могучая Чертова скала, изрезанная трещинами и пещерами. Здесь среди леса она торчала, как бельмо на глазу. Ярош с Данкой залезли на скалу и, расстелив салфетки, устроили пиршество. Вокруг не было ни души – в будни сюда редко кто мог забрести.

– Между прочим, – сказал Ярош, – тут, где мы сидим, игуменья конвента бенедиктинок Йозефа Кун возвела беседку с остроконечной крышей и верандой, назвав ее «Святыней Аполлона». А еще она в 1834 году издала сборник стихов «Lem bergs schone Umgebungen» – «Прекрасные львовские окрестности», где описала и Чертову скалу, ведь это было очень популярное среди львовян место отдыха.

Тут он заметил, что Данка приложила ухо к скале и прислушалась.

– Что вы делаете?

– Прислушиваюсь, не донесется ли оттуда кукареканье петуха. – Заметив изумление Яроша, она объяснила: – Разве вы не читали? Черти несли эту скалу, чтобы сбросить ее на собор Святого Юра, но выронили на землю, заслышав крик петуха. Накануне один пьянчужка, заночевав в поле, подслушал чертовы планы. Вот и подстерег их с петухом. Но скала упала прямо на него. И теперь иногда, приложив к скале ухо, можно услышать, как кричит петух.

– Петух закукарекал ночью?

– Э, тот пьянчужка был не дурак. Он надел на голову петуху шапочку, которая закрывала ему глаза, а когда черти приблизились, зажег фонарь и резко эту шапочку снял. Свет блеснул перед глазами петуха, и он закукарекал. Кстати, проверено. Однажды, когда я была в селе, провела научный эксперимент. Я поймала петушка, занесла в комнату, где было темно, и накрыла вываркой. А через час зажгла перед вываркой свечу и подняла выварку. Петух радостно закукарекал.

– И с тех пор у вас проснулась тяга к науке?

– У меня специфическая тяга к науке. Мне нравится в нее погружаться, но не хочется делать никаких выводов.

Пляцек был рассыпчатый, с орехами и пряностями, без жирного крема, именно такой, как любил Ярош, ненавидя при этом торты, смазанные масляным кремом.

– Вкуснотища, передайте маме мою глубокую благодарность, – сказал он, разливая вино. – А вы сами не печете?

– Не приходилось. Мама меня не подпускает к кухне. Она считает, что я как будущая хозяйка совсем никудышная. Варить, печь не умею, вещи кладу каждый раз в новое место и потом долго ищу, безнадёжная растяпа и лентяйка.

– Ого, сколько у вас замечательных черт! Все признаки творческого человека. А разные туфли вам еще не приходилось обувать? А перепутать шляпку с дуршлагом?

– Ну, не издевайтесь. Я не настолько гениальна.

– А я однажды в тапочках вышел из дома, но, к счастью, опомнился на улице. То есть я не безнадёжен. В другой раз положил в карман вместо мобилки диктофон, а потом

удивлялся, почему же мне целый день никто не звонит. Слушайте, эти ваши очки вызывают у меня большой интерес. Я вас никогда в них не видел. У вас плюс или минус?

– Ни то и ни другое, – засмеялась Данка. – Это простые стекла. Я надеваю их для прикола. Большинство парней к девушкам-очкарикам относятся с осторожностью, подозревая, что имеют дело с такими заумками, с которыми и связываться не стоит. Вот я и надеваю их, идя на первое свидание. А потом кайфую от того, как кавалер начинает смущаться, особенно, когда я изображаю близорукость и спрашиваю: а что там на дереве за тряпка висит? А он: да это же ворона! После этого достаточно задать еще несколько аналогичных вопросов, и становится понятным, с кем имеешь дело. Классный тест на тему «Как вычислить рогуля^[74]».

– Вот оно как. А сегодня зачем вы их надели?

– А такая вот я загадочная девушка. Никогда не догадаетесь, и не пытайтесь. Ну, а теперь спускайтесь вниз и слушайте, как я буду читать стихи Люцилия. Если увидите посторонних, предупредите.

– Вы эти стихи снова перевели по моим английским подстрочникам?

– Нет. На этот раз я вгрызлась в оригинал, как шашель в книжный шкаф. Хотя, конечно, подглядывала и в подстрочники.

Ярош покачал головой, удивляясь дерзости этой девушки, которая не только удивительно быстро овладела арканумским, но и набралась смелости переводить довольно сложные и замысловатые стихи крупнейшего арканумского поэта Люцилия, влюбленного в некую таинственную Илаяли, которой он посвятил немало стихотворений. Спустившись к подножию скалы, он уселся на поваленный ствол дерева и приготовился слушать, Данка оставалась на самой вершине со страничками в руках, а ветерок легонько теребил ее юбочку.

– «Письма весенние к Илаяли», – объявила она, как со сцены, и принялась декламировать своим глубоким мягким голосом, обозначая каждый стих цифрой.

1

В созвездии твоих волос заблудились мои поцелуи,
как души младенцев мерцают и стонут...

О поцелуи, которые выпустил зря я из клетки на волю —
никто над вами не смилуется и не наделит вас именем,
и не протянет ладони, чтоб упали вы в них,
как падает мед из тучи медовой в цветок.

Ночь с полной корзиною снов
ходит от дома к дому,
каждому на подоконник ставит букетик пахучий.

Может, и мне оставит
сон о девушке-речке,
что вытекла вся без остатка,
вытекла из моего ока —
и стал я похож на ракушку,
а в ней призрачные волны о призрачный берег
бьются, клокочут упрямо.

Вся ты осталась во мне, хоть и давно покинула меня.
Вот следы твоих белых колен на моих ладонях.
Все твое тело оставило след на моем, как на песке.
Всего, чего захочу коснуться, – я коснусь.
Даже тени своей не ищи понапрасну,
ведь и она при мне и гуляет, взявшись за руки с моею.
Я тебя лишил твоей красоты.
Ты стала такой обычной, заурядной,
поэтому не обращай внимания на тех, кто смотрит тебе вслед.
Это в шутку они. Они над тобою смеются.
Я все у тебя отобрал —
голос твой, запах, блеск очей и губ,
шелк лона и растопленный мед чресел.
Тебя уж нет почти.
Все прошлое твое – это лишь память моя.
Все настоящее – на кончике языка.
Все будущее – это легкое скольжение пера по листочку вишни.
Высеваю волосы твои на подоконнике и вижу тоненькие золотые всходы,
дрожащие испуганно от моего дыхания.
Наклеиваю уста твои на оконное стекло – прямо на солнце.
Пусть всходят теперь для меня каждое утро.
Голос твой раздариваю птицам, росе и ручьям.
Сад мой – это твой шепот ночной.
Пчелы с цветов собирают твою слюну и сносят в ульи.
Твой живот в колодце – я погружаю в него пальцы и чувствую,
как закипает вода вокруг пальцев,
как тепло по руке поднимается к моей груди и наполняет страстью.
Я целую пальцы и гашу огонь, что в них пылает,
а горячий мед капает мне на уста и полыхает неистово.
Я ныряю в этот колодец и плыву,
купаюсь в нем и тону,
захлебываясь и лихорадочно воздух глотая.
О, Илаяли!
Когда ты наконец вернешься – я соберу тебя всю по частям
и верну тебе все, что присвоил.

Пауки ткут кружево незримое,
ловят солнечные лучи, ловят туман серебристый...
ловят крупных бабочек ночи и связывают путами...
ловят темные реки и сматывают прозрачные клубки...
Потом приходит Та, которую не ждут,
и собирает все это в корзину, одаривая влюбленных снами...
Кладет их в изголовье вместе с сумрака прядью...
О, одари и меня сумраком, моя Илаяли!
Сном одари розовым с кромкой из золота,
Чтоб укутался им по самые очи,
ведь мир этот, словно лезвие ножа, проплывает вдоль горла
и поблескивает в свете луны.
Вот касаюсь его рукой —
он так ласково уклоняется,
словно это и не лезвие, а рыба или женщина, лишившаяся глаз...
«Зачем тебе этот сумрак?
Твои глаза – сумрак сполошной, твое сердце в тумане холодном».
А после шепчет мне что-то тайное и родное,
и я не могу надивиться тому —
ведь нас и так никто не подслушивает.
И все же она стыдливо шепчет и шепчет.
И ветер замирает в листве,
и небо засыпает
и уже не течет над нами.

Я хочу в себе замкнуться,
шуметь дождем-травой-мотыльками и рощами,
но лицо твое, расцветая в сумерках, все еще мучает мою память.
Завесила волосами мир, что меня окружает,
и не проникнет через них лунный свет.
Как открою эти дебри, полные тайн неожиданных,
Что дышат прямо в сердце лавой страсти и острым запахом ночи?
Каждый шаг мой сгоняет ящериц пестрые стаи,
Сонмы ворон срываются ввысь и небо в черные перстни кольцуют.
Волки и лисы глазами сигналият: не приближайся – не приближайся.
И напрасно глаза закрываю —
голос твой вырывает меня из родника моего
и в пустынных палатах,
пока еще не изменилась до неузнаваемости, ищу тебя.
Раскрываю все свертки и футляры,
мертвых книг страницы изумленные нервно листаю.

Ищу тебя повсюду – даже в золе сожженных стихов.
До поры, пока все это во мне распадется, моля о появлении твоём.
Но не нахожу.
Где ты была в ту ночь, когда...
Но ничего не помнишь,
хотя была подле меня, вокруг меня, во мне самом.
И мы обменивались снами, как птицы гнездами.
А когда ты уходила, догорала осень в складках платья твоего.
К рукаву моему прицепился дерзкий листочек – единственный довод, что ты была.
И летят мои руки вслед за тобой,
Час от часу доносят мне тела твоего тепло.
Я сыт их прикосновениями к твоим бедрам.
Я рассматриваю следы былых поцелуев.
Я растворяю их в воде.
И пью каждое утро.

Данка читала, войдя в какой-то неуправляемый транс, отрешившись от всего, что было вокруг, и тело ее в ритме стиха качалось вперед и назад, а по тоненьким, побелевшим от волнения пальчикам пробегала едва уловимая дрожь, голос порой срывался, она глотала слюну или воздух, но читала, без остановки и даже ни разу не взглянув на Яроша, вся от головы до пят погрузившись в текст, а Ярош не мог оторвать от нее глаз и чувствовал, как его тело подчиняется ритму этих стихов, которые он хорошо знал и тоже собирался перевести, но это был бы другой перевод, скорее всего, более сухой, не такой чувствительный и пронзительный, казалось, она читает не перевод, а текст, который написала сама, и обращается к кому-то вполне конкретному, к кому-то, кто и далеко и близко, на расстоянии вытянутой руки или на расстоянии сна. Когда чтение подходило к концу, голос ее охватила хрипота, не хватало воздуха, и последние слова она уже прошептала, а потом вздохнула, все еще не решаясь опустить взгляд на профессора, словно в ожидании его резкой критики, но услышала нечто совсем иное.

– Отлично! Вы очень смело подошли к переводу, – говорил Ярош, снова забираясь на скалу. – В оригинале ритм уловить невозможно, скорее его и не было. И паузы... этих пауз тоже в оригинале нет, но вы как-то их почувствовали. Ей-богу, я бы это перевел сплошным текстом. Как какого-нибудь «Гильгамеша»^[75] или «Энкиду»^[76]. Люцилий передает вам привет с того света.

– Через вас? – засмеялась Данка, стряхивая с себя лепестки тревоги и страха.

– Считайте, что через меня, – он даже запыхался, потому что взбирался слишком быстро. – Между прочим, есть какая-то мистическая связь между переводчиками и их покойными авторами. Мне не раз снились арканумские поэты, а порой они оказывали и физическое воздействие. Особенно Люцилий.

– Люцилий? Ведь это такое нежное создание...

– И все же я часто чувствовал его присутствие.

– Физически? Как это?

– Ну, вот перевожу я, перевожу... а потом возьму и займусь чем-то другим. Если это всего несколько дней, то еще не беда, а если больше недели – начинают меня доставать,

насылают какие-то болячки. Как только берусь за перевод – болячки сразу проходят.

– Шутите!

– Нет! Я уж и ругался с ними. На полном серьезе. Я выходил на балкон, задираю голову в ночное небо и кричал им: «Да оставьте же меня в покое! Я ведь должен еще и на хлеб зарабатывать! Я не могу заниматься только вами!»

– И что они?

– Они это решали по-своему. Вдруг я получаю гонорар за какую-то свою статью, которую перевели на Западе. Или за переиздание моего учебника. Причем об этом переиздании раньше и речи не было.

– Замечательно! Меня это радует. Может, и мне так же повезет. Эй, Люцилий! – закричала она в небо, заливаясь смехом. – Если хочешь, чтобы я тебя переводила, дай мне стимул!

Теперь они уже оба хохотали и веселились, как малые дети, и все же, когда они возвращались с Чертовой горы обратно в город, грусть вместе с сумерками стала незаметно обволакивать их со всех сторон, погружая в задумчивость и молчаливость, они уже даже остерегались смотреть друг другу в глаза, Данка зачем-то спрятала очки в сумку, Ярош, поддерживая разговор, смотрел только на ее губы, как будто вместе с очками она сняла и глаза, да и сама Данка отводила взгляд в сторону, пока между ними пролетали недосказанные слова, сонмы слов, присутствие которых выдавали лишь губы, которые всякий раз беззвучно вздрагивали.



2 сентября. Я, Йоська и Вольф пошли добровольцами в армию, Яську, который имел звание унтер-офицера и уже успел пройти военную подготовку, забрали на фронт накануне, к Вольфу отнеслись с недоверием, но все же записали и определили нас всех в отряд ополченцев. Целыми днями нас муштровали и учили стрелять, но стрелки из нас с Йоськой были никудышные, хорошо хоть Вольф мог отличиться. Вечером, уставшие, мы возвращались домой и жадно читали газеты.

Ежедневные газеты продолжали выходить и создавали иллюзию нормальной жизни, печатая сенсационные истории, и даже все 27 кинотеатров бодро рекламировали свой репертуар, а 8 сентября мы с Лией даже побывали на премьере английской комедии «Старое вино» в оперном театре. Дети готовились к началу нового учебного года, который теперь выпадал на понедельник 11 сентября.

Каждое утро с первого дня войны над городом появлялся разведывательный самолет и кружил на большой высоте. Это был предвестник очередного налета. А через некоторое время уже был слышен гул моторов, и бомбардировщики сбрасывали свой груз. Противовоздушная оборона делала все, что могла, несколько самолетов были сбиты.

Во всех концах города дымятся руины. Лычаковское кладбище забросано бомбами, особенно пантеон Защитников Львова. Немцы с упорством атакуют район госпиталей, метят в вокзалы, промышленные объекты, но бомбы не всегда попадают в цель. Те, что предназначены для главного вокзала, падают на Городоцкую, разрушают костел Елизаветы и несколько домов, предназначенные для Цитадели – уничтожают церковь на Коперника и жилые дома. В руинах гибнет много женщин и детей. Вспыхивают пожары, которые львовяне сначала с энтузиазмом тушили, а потом бросили, когда тушить уже было нечем. Черный дым расползлся над городом, а ветер разносил неприятный запах паленого.

9 сентября. В продуктовых магазинах длинные очереди за хлебом и жирами, за мукой и крупами, село на ту пору затаилось, рынки пусты, город лишен молока и овощей.

10 сентября. «Wiek Nowy», сообщив о капитуляции Вестерплатте, пишет, что «эта война – борьба за две совершенно разные концепции Европы, демократическую и империалистическую, которую породил тоталитаризм... Плечом к плечу с солдатом-поляком стоит солдат-еврей, а рядом с ним – солдат-украинец. Всех их объединяет одна мысль и одно стремление: победить общего врага».

А между тем немцы могли оказаться под Львовом со дня на день. И тогда стало ясно одно: нужно оборонять Львов, и оборонять его должны были командиры, которые попали сюда случайно и никогда не работали в штабах, недобитки, резервисты, полиция и мы, ополченцы, еще не нюхавшие пороха. Но полковник Болеслав Фиалковский решительно

взялся за дело, получив под свое командование два маршевых батальона пехоты, летную сторожевую бригаду и батарею из 15-ти противотанковых пушек. С этими силами при помощи местного населения он должен был соорудить баррикады и противотанковые шанцы на подступах к Львову, а внутри города, разделенного на отдельные секторы, не только возвести баррикады, но еще и заготовить склады амуниции, продовольствия и медикаментов.

11 сентября. Каждый сектор получил свой саперный отряд и снаряжение. Мы с Йоськой и Вольфом оказались в самом конце улицы Городецкой, всю ночь рыли окопы и собирали все, что может пригодиться для баррикад. Настроение подавленное, в этот день замолчало львовское радио, дикторша Целина Нахлик, прочитав сообщение об окончании передач, разрыдалась, теперь эти рыдания стояли у нас в ушах.

Уставшие и невыспавшиеся сидим в окопе, хорошо, что о нас не забыли наши мамы и принесли еду, ведь регулярная армия с нами харчами не делится, а потом немало из тех, кто согласился строить баррикады, дали драпака, это были обычные горожане, зато батяры не предали, пришли из Замарстынова, с Клепарова, Лычакова, Левандовки, принесли лопаты и кирки и демонстрировали чудеса изобретательности, когда нужно было достать какие-то железяки, из которых потом с помощью проволоки мастерили ежи и расставляли на дороге. Для них все это – романтика, по вечерам они вытаптывают огороды, приносят картофель, капусту, а порой и кур и с громкими песнями готовят себе ужин.

Единственная радость этого дня – это то, что появился Ясь и присоединился к нам, под глазами у него синяки, рукав разорван, к счастью, пуля только царапнула его. Полк его разбит.

– Как же так, – качает головой Йоська, – мы только и слышали о польской армии, что она непобедима... Мы слышали о ней браваурные песни... И вдруг оказывается, что она не готова оказать сопротивление немцам...

– Нет, – возражает Ясь, – духом и сердцем готова, я могу вам часами рассказывать о примерах героизма... Но наше оружие и техника устарели... Идти сегодня в атаку на лошадях? Это безумие или героизм? Я думаю, и то и другое. Но это не безумие тех, кто шел в атаку. Это было безумие тех, кто отдал такой приказ. А теперь... Теперь, честно говоря, оборона Львова уже никому не нужна.

– Почему ты так думаешь? – удивляемся мы.

– Армия генерала Шиллинга из-под Кракова отступила на северо-восток. Группы генерала Соснковского уже не существует. Оборона, которую пытались организовать над Днестром, ликвидирована. Львов остался один на один с врагом.

Он это произносит так тихо, чтобы никто больше не услышал, но какой-то батяр, видимо, уловил последнюю фразу и крикнул:

– Это что за балак^[77]? Как это один на один? Вы что, в каляпитер^[78] бахнутые? Войско Польское на роверах еще мощне, как хулера! Но мы тем немцам зададим такого перца, что в портки наложат! Правда, хлупаки?

– Зихерово^[79]! Держи штаммы^[80] между нами и ниц не печалься! – откликаются его друзья, но больше к нам не цепляются.

Пополудни слышен грохот моторов, все напряглись, даже батяры повскакивали, и только и слышно:

– Шпануй^[81], Миська! Курва, прет!

– Да что ты куцаешься^[82]? Гибай в цинадры^[83]!

– Не будь такой раптус-нервус^[84]. Держись дышля^[85]!

– Держи фасон, питолька^[86]! Смотри – в портки не насри!

Так они себя подбадривают, а грохот тем временем нарастает, а с ним растет и тревога, это приближаются немцы, мы залегает за баррикадами, и вдруг из-за поворота выскакивают два мотоцикла, за ними следующие и бронемашина, и только они приблизились к баррикаде, раздается команда «Огонь!» – раз, и второй, и третий. Не знаю, попала ли в цель моя или Йоськина винтовка, но один мотоцикл въехал прямо на баррикаду, а на дороге остались лежать два мотоцикла и разбитая бронемашина, а когда через минуту выполз танк, то и он был подбит так метко, что загородил улицу своим безвольным телом.

– Мамуньцю злота! Но, курва, здоровая гаргара^[87]! – цокает языком батяр, кивая на танк.

– Теперь видишь, дурной каляфйор, жи то не пацалиха^[88]? Хтил съвижого люфта^[89]! Получай!

– Так разве ж я думал, жи они так по людям будут стрилелы? Но я думал, жи то шацхлупаки^[90]! Я му дам фацкы^[91] – он мы даст фацкы, я го майхрем^[92] – он меня майхрем, и фертик. Как пуредни людиска^[93]. Ну, не? А он, ады, получил съвирк^[94]! Най би го нагла троиста с бурячками кров зальлела^[95].

Но это было только начало, броневики подъезжают один за другим, пехота выскакивает, рассеивается и прячется среди заборов, чтобы потом снова продвигаться вперед от дома к дому, двигаясь перебежками, исчезая в садах и подворотнях и паля из тяжелых орудий по нашим пушкам.

– Шпануй с винкля^[96]! – И правда, из-за угла нашу баррикаду прошивает автоматная очередь. Бедный поручик Панек двумя своими пушками посылает снаряд за снарядом, но вот падает один канонир, второй, через час большинство орудийных расчетов поголовно перебито, пушки умолкают, но только на миг, потому что на место погибших становятся другие, мы с Йоськой бросаемся подносить снаряды, Вольф и Ясь стреляют из карабинов, припав к узкой щели в баррикаде, откуда им хорошо видно нападающих, но сами они при этом в безопасности.

Позже о нас будут говорить, что мы на Городоцкой рогатке стояли насмерть, и хотя подкрепления не было, все же немцы не смогли прорвать эту тоненькую оборонительную линию, они ведь и не рассчитывали встретить на подступах к городу такое яростное сопротивление, это вынудило их начать осаду. Не знаю, продержались бы мы еще хоть час, если бы вечером не прибыли отряды резерва Государственной полиции и отряды польской пехоты. Немцы были вынуждены отступить. Но только здесь, на Городоцкой, потому что в это же время они окружали город с севера и юга, видимо, они были крайне заинтересованы в том, чтобы как можно скорее взять Львов.

Ночью бой утих, хотя пулеметы еще строчили, нам удалось несколько часов вздремнуть.

13 сентября. Враг ударил с новой силой – с улицы 29 Ноября и от Стрыйской, упорные бои велись за Кортумову гору на северо-западе города, в то утро немцы захватили гору.

А тем временем львовяне бросились с каким-то обреченным отчаяньем и странной горячностью в глазах баррикадировать все улицы без разбору, без всякого плана, руководствуясь единственным желанием – во что бы то ни стало защитить город. В конце концов городская управа вынуждена была вмешаться в этот патриотический хаос и через прессу попросить умерить пыл, потому что такие вещи не делаются самодеятельно, только под присмотром профессиональных саперов. Но это никого не остановило, львовяне

стаскивали старые машины, поломанные столы, дырявые лоханки и ванны, лестницы, балки, двери, вытаскивали даже собственную мебель из квартир, валили деревья, толкали перед собой тяжелые тележки, на которых лежали мешки с песком и щебнем, снимали канализационные люки и прятали их, а отверстия маскировали так, чтобы враг мог провалиться. Даже пан Кнофлик примчался на большой решетчатой телеге и пожертвовал четыре гроба, которые посоветовал заполнить брусчаткой и сложить их один на другой, выглядел он при этом бодро и свежо, но я не успел расспросить его, как он поживает. А при всем при этом город непрерывно обстреливали как с воздуха, так и артиллерией, водопровод и электростанция были повреждены, вспыхивали пожары, гибли не только военные, но и гражданские.

16 сентября. Солдат и резервистов, готовых оборонять Львов, много, но нет амуниции, Вольфу с Ясем ночью удалось прорваться с несколькими грузовиками на Голоско, где расположены склады, и привезти оружие. В Жовковском пригороде погиб целый отряд батыров, защищая рогатку, еще одна группа батыров нашла где-то старую австрийскую пушку и до тех пор из нее стреляла, пока та не взорвалась и не изувечила их. Весь Жовковский участок собрался на похороны и вырыл погибшим общую могилу.

Кто знает, сохранился бы этот запал к оборонительным действиям, если бы его не подогревали газеты, которые хоть и ограничили свой объем до 2 страниц, но все еще поддерживали призрачные надежды: то ли услышанные от кого-то, то ли вымышленные, но львовяне жадно вчитывались во все эти оптимистичные новости и передавали их из уст в уста.

– К чему эта бессмыслица? – удивлялся Ясь. – Ведь это сплошное вранье. «Французские войска занимают важнейшие стратегические позиции по немецкой стороне, даже бомбардируют Берлин», – цитировал он, не переставая чертыхаться. – «Французские и британские летчики громят немецкую военную промышленность... Французская армия неуклонно продвигается вперед. Согласно сводкам французского штаба, их армия проникла в глубь германской территории. Вчера занят ряд новых пунктов, где сразу же были сооружены укрепления. Французская пресса в своих комментариях подчеркивает, что все предыдущие действия не носят пока наступательного характера, они скорее – разведывательные. Командование французской армии имеет намерение ознакомиться с территорией и методами немецкой армии, после чего будет произведена настоящая атака объединенных французских и британских сил».

– Ты думаешь, что все это неправда? – спросил с тревогой в голосе Йоська.

– Моя мама слушает Лондон, – перешел на шепот Ясь, так как знал, что все должны были сдать радио, и по слухам, некоторых из тех, у кого нашли приемники, даже расстреляли. – На Западном фронте ничего не происходит. Мы обречены. Французы с англичанами выжидают. А эти, смотри, что пишут... Будто немцы уже эвакуируют население своих городов перед наступлением союзников. Описываются драматические сцены эвакуации: «Жителям не разрешают брать с собой даже чемоданов. Армия насильно гонит их вперед. Среди беженцев свирепствуют голод, болезни... Это привело к антигитлеровским демонстрациям». Так и хочется пойти и набить морду этому редактору.

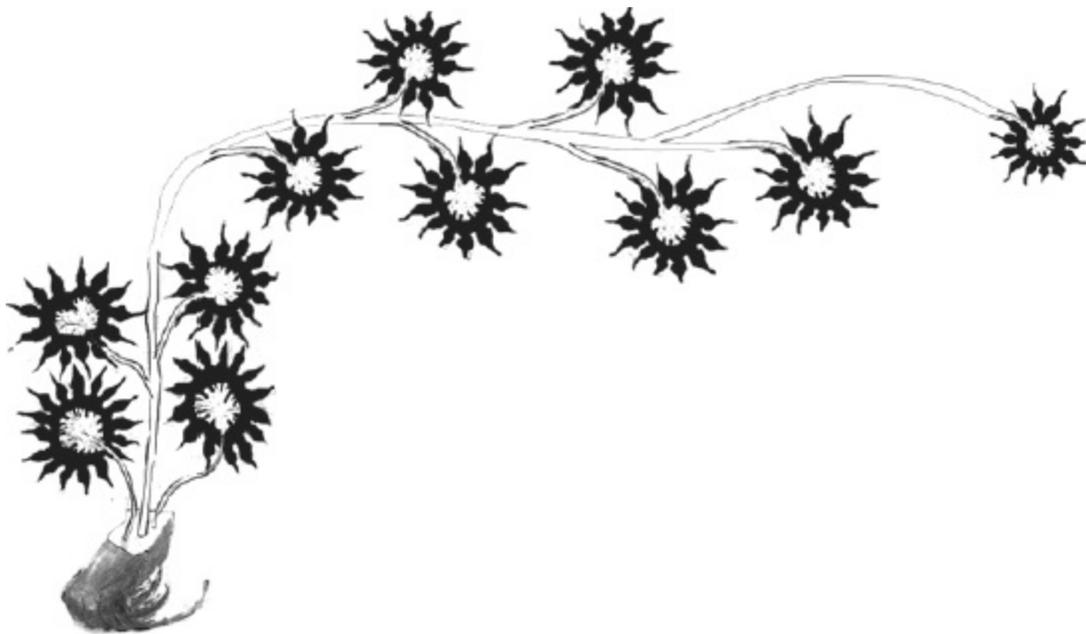
– Но, может, это такая тактика, – пожал плечами Вольф. – Чтобы нас подбодрить. Чтобы мы окончательно не пали духом.

– И чтобы все полегли здесь, к чертовой матери, – вздохнул я.

– Если бы они думали о том, чтобы не сеять панику, то не раздали бы военным

противогазы. Еще ни одна газовая бомба не упала, а эти ходят по городу с масками на поясе, и все это видят. А у гражданских масок нет. Это нормально?

Ежедневно немецкое радио обращается с призывом сдаться, немецкий самолет разбрасывает листовки: «Солдаты! Прекратите бесцельную борьбу! Жаль вашей крови и ваших жизней, принесенных в жертву английским капиталистам! Вы окружены! Сдавайтесь! Это ваше единственное спасение! Сложите оружие!»



Ярош вспомнил, что где-то уже читал о героической обороне Львова от немецких войск и о том, что немцы так и не сумели захватить его. Десять дней обороны Львова не так уж много, но этого времени было вполне достаточно, чтобы пали целые государства. За 5 дней немцы захватили Голландию, и еще за 5 – Бельгию и Францию, за 7 дней было сломлено сопротивление Югославии, за 4 дня немцы достигли польско-советской границы на севере Польши, за 10 дней летом 1941 г. они заняли всю Западную Украину, а еще за 10 – вышли на берега Днепра.

Но за 10 дней так и не сумели захватить Львов. Львов упорно держал оборону и оборонялся бы и дальше, если бы на помощь немцам не подошли с востока неожиданные союзники.



17 сентября. Утром мы узнали о вступлении советских войск на восточные территории Польши. Генерал Лянгнер^[97] получил приказ Главнокомандующего воевать только с немцами, а против Красной армии открывать огонь лишь в крайнем случае для самообороны. Теперь уже отчаяние закрадывается в душу, отчаяние и неизвестность.

18 сентября. Газеты сообщили о вступлении Красной армии на территорию Польши, сенсации нет, потому что еще вчера эту новость сообщило московское радио. Газеты продолжают сохранять спокойствие, убеждая, что этот факт не должен давать повода для беспокойства. «Dziennik Polski» отреагировал на немецкие листовки, адресованные украинцам, отчаянным призывом: «Немцы тратят много усилий, пытаюсь столкнуть на поле боя два братских народа – украинцев и поляков. Предостерегаем вас, украинцы, от новых происков тевтонцев, извечных врагов славянского рода.

Ежедневно вместе с бомбами, сеющими смерть и руины, они разбрасывают листовки, которыми подстрекают вас выступить против польской армии. Украинцы! Немцы бомбардируют и грабят наши и ваши села, хозяйства и поместья. Убивают наших и ваших женщин и детей, рушат костелы и церкви. Отомстим же сообща за наши общие обиды, станем плечом к плечу».

Пока русские еще далеко, немцы любой ценой пытаются взять город, используя просьбы и угрозы, в последнем ультиматуме говорится, что если до полудня 19-го Львов не сдастся, он будет уничтожен штурмом. Но наши на это внимания не обращали и двумя батальонами атаковали с Цетнеровки и Погулянки, отбросив немцев к Сихову, а также выбили их из Збойска.

19 сентября. Большевистские самолеты тоже сбросили листовку:

«Солдаты! За последние дни польская армия была окончательно разгромлена. Солдаты городов: Тернополь, Галич, Ровно, Дубно в количестве более 6000 добровольно перешли на нашу сторону. Солдаты, за что и с кем вы воюете? Зачем рисковать своей жизнью? Ваше сопротивление бесполезно. Офицеры гонят вас на бессмысленную бойню. Они ненавидят вас и ваши семьи. Это они расстреляли ваших делегатов, которых вы послали с предложением капитуляции. Не верьте своим офицерам. Офицеры и генералы – ваши враги, они хотят вашей смерти!

Солдаты! Бейте офицеров и генералов! Не слушайте приказов ваших офицеров. Гоните их с вашей земли. Смело идите к нам, вашим братьям, в Красную армию. Здесь вы найдете внимание к себе и заботу.

Помните, что только Красная армия освободит польский народ от несчастий войны, и вы получите возможность начать новую жизнь.

Командующий С. Тимошенко. Украинский фронт».

– Ну вот, радуйся, – улыбается мне Ясь. – Твоя украинская армия приближается.

– Такая же моя, как и твоя, – огрызаюсь я.

«Dziennik Polski» описывает, какое негодование выразила французская пресса по поводу советской агрессии, а неутомимый «Wiek Nowy» подкинул еще одну успокоительную пилюлю: «Польская армия идет в наступление... Италия, Югославия, Венгрия и Румыния объявили войну Германии». Город с жадностью проглатывает любую обнадеживающую информацию, львовские газеты напоминают тот легендарный оркестр, который не прекращал играть бодрые мелодии до последних минут «Титаника».

В ночь с 18 на 19 сентября передовые части советских моторизованных войск и танков вышли на Лычаковскую рогатку со стороны Винников, Львов готов начать войну на оба фронта, восточную границу города лихорадочно укрепляли, чтобы отразить любую попытку советских ворваться в город. А между тем и немцы подходят с юга в направлении Винников, а через некоторое время обе армии останавливаются, словно собираясь с силами перед яростной схваткой, в воздухе нарастает тревога и неопределенность.

Ясь сообщил еще одну неутешительную новость: генерал Лянгнер, предвидя, что Львов скоро будет взят в плотное кольцо, сказал, что остается одно – прорываться в Венгрию.

– Но как же все это организовать? – сокрушался Ясь. – За день этого не сделаешь, нужно все подготовить, и только потом можно прорываться ночью.

– Это вам, – сказал Вольф, – а нам как быть?

– Разойдетесь по домам. Гражданским ничего не угрожает.

– Почему бы и тебе не сделать то же? – спросил Йоська, отмывая бензином мазут со своих длинных пальцев.

– Я не дезертир. Пойду вместе со всеми.

– Далеко вы не уйдете, – сказал я. – Вы ведь все пешие, а у этих полно техники и самолетов. Уже и советы сегодня летали над городом.

19 сентября. Утром Ясь нам сообщил, что на Лычаковскую рогатку прибыли большевистские офицеры и предложили переговоры руководству польской армии, а он должен вести машину, в которой поедут генерал Лянгнер, полковники Раковский и Рызинский, которого мы называли Рысью.

– Едем мы на Винники, – рассказывал потом Ясь. – Про ездим мимо уймы броневиков и толп русских военных. Смотрят на нас, как волки. Глаза злые, нехорошие, рожи какие-то угловатые, как из камня вытесанные. За Винниками видим группу их офицеров. Навстречу нам выходит какой-то коротыш в танкистском шлеме. Полковник Иванов. Ну и полковник Раковский спрашивает: «Зачем вы пришли?» А тот просто оторопел: «А вы что – газет не читали?» – «Нет, газет не читали, потому что город окружен и газеты до нас не доходят». – «Так, может, радио слушали?» Это он так издали намекает на речь Молотова, которую мы, ясное дело, слышали и листовки их об освободительном походе читали, но наши ответили: «Нет, радио у нас не работает, потому что немцы разбомбили электростанцию. Ничего не знаем. Так зачем вы пришли?» И тут полковник Иванов говорит – вы не поверите: «Мы пришли бить немцев, будем вместе с вами воевать против них». А полковник Раковский: «Люкс! Сейчас покажем вам карту, как расположились немцы и как лучше было бы нанести по ним удар». – «Но мы бы хотели войти в город». – «Это невозможно. Нас на это не уполномочили. Кроме того, это ни к чему. В городе негде разместить такое количество людей и техники. Повсюду баррикады, не хватает воды. А немцы только вокруг города. В самом

городе их нет». Одним словом, на этом и разошлись.

А дальше началась какая-то странная игра, обе армии пытаются пробиться в город, стреляют и те и другие, немецкие бомбы падают в центре города, а советские зенитки стреляют по немецким самолетам.

20 сентября. Поздним вечером два советских танка неожиданно открыли огонь по баррикадам на Лычаковской и начали стрелять по домам, зазвенели стекла, стали раздаваться крики, потом они двинулись на баррикады и, раздавив их, как орехи, развернулись и отошли назад. Это всех не на шутку взволновало, потому что оказалось, что наши наспех возведенные баррикады ничего не стоят, но какова была цель этой демонстрации – неизвестно.

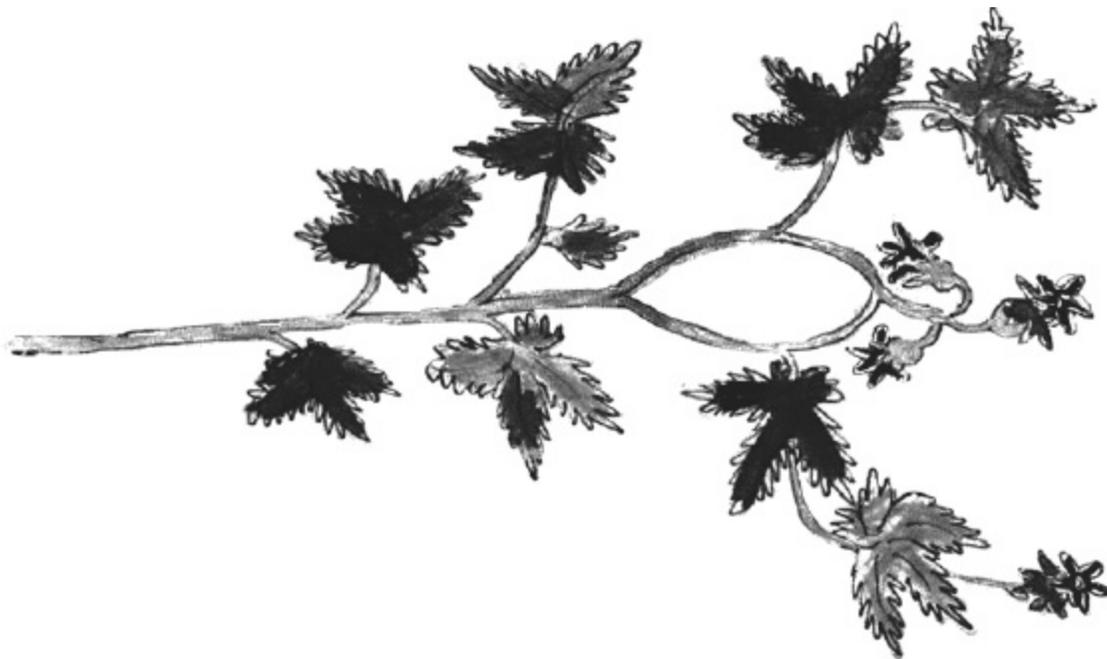
И в тот же вечер «*Ilustrowany Goniec Wieczorny*» уже не принес нам радостных вестей о каком-то там франко-английском наступлении на Западном фронте или о том, что Америка предъявила ультиматум Германии, ничего такого, только пожелание: «Пусть уныние и отчаяние не подрежут ваших крыльев».

21 сентября. В четверг появились последние номера львовских газет. «Армия приняла решение продолжать оборону Львова», – писали они. В пять пополудни на переговорах с Лянгнером большевики обещают пропустить польское войско на Румынию при условии, что генерал подпишет капитуляцию, а войско должно выходить с оружием и бросать его в указанном месте. Но генерал, отметив, что сдает город русским лишь потому, что они славяне, не согласился:

– Нет, войско не сложит оружия к вашим ногам, а оставит его там, где стоит. И выйдет сюда без оружия.

Правда, войско разделят – старшие офицеры выедут машинами, младшие пойдут по Лычаковской, а потом свернут на Сихов, чтобы направиться в Румынию, а рядовые – другой дорогой. Русские спешат и быстро соглашаются на предложения польского командования.

22 сентября. Настал черный день для Львова. Пополудни вступили в город большевики, а вслед за регулярными войсками вошли и brave ребята из НКВД.



На следующий день ему позвонили из СБУ, и он очень удивился, потому что именно по телефону его когда-то вызвали в КГБ, никогда не присылали никаких повесток, не оставляли следов, а когда у него не было телефона, вызвали повесткой в военкомат. В этот раз тоже позвонили и предложили встретиться, он сказал, что больше не принимает приглашений по телефону, пусть приглашают письменно, мужской голос сначала удивился, а потом упрекнул, что раньше он не артачился и приходил по телефонному звонку.

– Когда раньше? – поинтересовался Ярош. – Когда вызывал КГБ? А вы переняли их методы?

И положил трубку. Так совпало, что за несколько дней до этого ему звонил Курков и сообщил, что будет во Львове, поскольку пишет о Львове роман, и хотел бы встретиться, а при встрече сообщил о своем разговоре с эсбэушником в самолете. Ярош уже был готов к тому, что его ждет, и решил не поддаваться – никаких неофициальных встреч, но через несколько дней его вызвал к себе заведующий кафедрой и принялся объяснять, что ситуация непростая, что на него давят сверху, при этом он благоговейно поднял глаза к потолку, СБУ имеет влияние, если они захотят чего-то, то непременно добьются, в конце концов, речь идет об обычной беседе, возможно, даже о консультации, конфиденциальной, повестка здесь только помешает. Завкафедрой протянул Ярошу бумажку, на которой был указан номер аудитории, дата и время, когда он должен... нет-нет, ни в коем случае не должен... когда его просят прийти... Ярош взял бумажку, сунул в карман и вышел, его трясло от бессильной ярости, лицо завкафедрой было испуганным и умоляющим, глазки бегали, пальцы дрожали, видно было, что он больше всего боится отказа, какого-либо поступка – порвет, скажем, бумажку и бросит в урну.

Ярош сдался и на следующий день в указанное время зашел в маленькую аудиторию, где проводились практически занятия и никогда не читались лекции. Из-за стола вскочил живой человек его возраста, как и все коротышки, он делал быстрые движения, виляя всем телом, он протянул руку, представившись «подполковник Кньш». Ярош с трудом сдержался, чтобы не поинтересоваться: а в эпоху КГБ он тоже был Кньш или же Кньшов? Что-то во

внешности эсбэушника его насторожило, где-то он его видел, но не мог вспомнить где, тем более что и тот смотрел на Яроша так, словно ждал чего-то вроде «О, привет! Кого я вижу!» Они сели за стол друг напротив друга, и подполковник принялся сыпать привычными уже вопросами о жизни, о научных успехах, планах на будущее, но Ярош был уже стреляным воробьем и сразу же прервал эту прелюдию, предложив перейти ближе к делу. Кныш нахмурился и посерьезнел, словно собираясь сообщить Ярошу о смерти кого-то из его родных:

– Ну, хорошо... Нас интересуют ваши занятия Арканумом. Мы считаем, что вы уже достаточно много сделали по данной теме: учебник, словарь, готовите антологию литературы... но ваши углубления в так называемую арканумскую «Книгу Смерти» уже ни для науки, ни для литературы особого вклада не сделают. А вот для нас... для Службы безопасности они могут иметь свою ценность... Поэтому я с удовольствием хочу предложить вам стипендию, которую мы вам выделим на весь период ваших исследований по данной теме.

– Не понимаю, – удивился Ярош. – Я и без всякой стипендии над этим работаю.

– Конечно. Но вас отвлекают другие дела. Вы же не полностью отдаете себя «КаэС». Можно я буду ее называть именно так – «КаэС»?

– Можете называть ее как угодно.

– Прекрасно. Мы бы хотели вам помогать и держать под контролем все ваши исследования. То есть, проще говоря – опекать. Поскольку это все же стратегическая тема. Не хотелось бы, знаете ли, чтобы такое открытие... я имею в виду фактически бессмертие... чтобы такое открытие попало в руки наших врагов... И, наконец, разве вы не понимаете, что рано или поздно вами заинтересуются другие разведки. Мы бы хотели вас оградить от каких-то непредвиденных эксцессов. Со своей стороны мы готовы и помочь вам. В частности, можем вас ознакомить с трактатом Калькбреннера. Вы, наверное, слышали о нем? Да-да, не удивляйтесь, он у нас. Хотя я понимаю, это не первоисточник, над которым вы сейчас работаете, но все же...

– Видите ли, я занимаюсь литературой и рассматриваю «Книгу Смерти»...

– Простите, не могли бы вы употреблять «КаэС»? – засуетился эсбэушник. – Сделайте мне одолжение.

– Так вот, я рассматриваю «Книгу» исключительно, как литературное произведение. Меня не интересует, каким образом можно применять ее на практике.

– И вы правы. Практическая сторона дела – за нами. Но в свете сказанного, хотел бы вас спросить, как вы объясните фразу из «КаэС» о том, что нам подаются различные знаки... И это тянется веками... от создания мира... Но мы эти знаки не воспринимаем, не замечаем, не реагируем на них... И еще, вот я выписал: «Мы иногда разговариваем с животными, живущими с нами, но никогда не разговариваем с птицами, рыбами, змеями, пчелами, бабочками, цветами, деревьями... Хотя боги адресуют нам свои послания через все живое и неживое, даже посредством воды, огня и камней, подают нам сигналы с помощью звезд и облаков, дождя и ветра, грома и молнии... Откройте глаза и присмотритесь, насторожите уши и прислушайтесь, откройте сердца и внимайте, откройте души и возвысьтесь. Повсюду, куда ни посмотрите, везде, говорю вам, послания наших богов». Это так у Калькбреннера. А как в оригинале... в «КаэС»?

– После слов о том, что мы не разговариваем с другими животными, идут слова: «Научитесь любить их, как любите тех, кто рядом с вами, тогда откроют они вам свои тайны

и просветят, и покажут путь. Будем готовы к их знакам, чтобы встретиться там, где маки цветут, под их тенью».

– Ага, так-так... В самом деле так, хотя и не совсем. Я, простите, схитрил и умышленно пропустил эти строки... У Калькбреннера немного иначе: «в тени маков». Что это значит? Как вы трактуете эти... м-м... советы? О каких знаках идет речь? И как можно встретиться в тени маков?

– Мне кажется, это похоже на заклинание. В заклинаниях вообще немало поэтических метафор и символики. Что касается маков, то это символ сна. Мы не знаем, какие маки росли в Аркануме – возможно, и огромные. Но упоминание о маках вполне закономерно, сон и смерть всегда в народном творчестве тесно переплетались.

В этот момент Ярош вспомнил о маках, которые видел у старика Милькера, маки, с которыми тот разговаривает... маки, которые отбрасывают тень... И маки – гашгаш – в «Книге Иблиса»... Есть ли здесь какая-то связь? Его раздумья прервал Кныш:

– Но здесь речь о знаках, распознав которые человек получит возможность черпать знания из предыдущих жизней и уверенность, что сможет прожить еще не одну жизнь. Только нам не дано прочесть эти знаки, а как пишется у Калькбреннера, «глаза ваши закрыты, а сердца заперты». Итак, вам известно, что австриец именно с целью облегчить распознавание этих знаков создал свою музыку. Наши сотрудники расшифровали эти ноты и даже устроили небольшой концерт на Кульпаркове для умалишенных. Мы решили провести эксперимент на больных, в надежде, что они, вспомнив свою предыдущую жизнь, исцелятся... Но... усилия были тщетными. Никаких результатов. Правда, одна женщина вдруг заговорила на испанском, к тому же на астурийском диалекте. Длилось это лишь несколько минут, мы успели записать ее на диктофон и позже прослушать. Я включу для вас.

Подполковник нажал кнопку на диктофоне, сначала доносились звуки танго, продолжалось это минуты три, а потом послышался короткий вскрик и чье-то всхлипывание, оно усиливалось, становясь все громче, пока не перешло в женский истерический крик, в котором можно было различить страх и отчаяние, женщина кричала неистово, как раненый зверь, что-то упало, разбилось, захлопало, затопало, через неразборчивые звуки отчаянного рыдания прорывались слова, их было немного, но они повторялись и повторялись: «*amarolas en la sombra... amarolas en la sombra... amarolas en la sombra...*» – и так раз двадцать, пока она не захлебнулась спазматическим плачем, который перешел во всхлипывания и стоны. Диктофон выключился.

– Знаете, что означают эти слова? – спросил Кныш.

– Сомбрэ – это тень, от этого слова происходит «сомбреро»...

– Прекрасно. А вместе будет «в тени маков»! – Кныш не мог скрыть своей радости, заметив, какое удивление вызвали его слова у профессора. – Вот видите – мы фактически уже сделали один шаг. Который, правда, пока никуда не привел. Калькбреннер пишет, что если человек перед смертью не слышал этой мелодии, то она никогда не повлияет на него в следующей жизни. Наверное, только эта женщина ее и слышала... скорее – не полностью... но маки... маки... Откуда ей известно о тени маков?.. И еще одно. Музыка, которую мы расшифровали, до боли похожа на одно танго. – Тут он посмотрел Ярошу в глаза, надеясь зафиксировать какую-то его реакцию, но профессор, казалось, витал в эмпиреях. Тень недовольства промелькнула на лице Кныша, но только на мгновение. – Вы, наверное, тоже узнали мелодию... Так называемое «Танго смерти». Оно звучало в Яновском концлагере, когда узников вели на расстрел. Есть несколько вариантов слов... В одном из них, что

интересно, есть такой куплет:

А как не станет нас с тобой,
укроют пески тела,
встретимся там, где маки рекой,
там, где их тень легла.

Ярош, чтобы не выдать лишний раз свое удивление, снял очки и стал протирать их платком, делая вид, что это его мало интересует. Кныш смотрел на него, прищурившись, и ждал, он умел ждать, как лис, притаившийся в кустах, его глаза, уши и ноздри были наготове, казалось, что он слышит даже пульс Яроша, стук его сердца и движение крови.

– Пески упоминаются, между прочим, неспроста, ведь заключенных расстреливали именно на Песках в Лисинецком лесу. Между нами... – снизил голос Кныш, закуривая сигарету, – ... так совпало, что я был в Стамбуле тогда же, когда и вы. – Ярош улыбнулся – как все банально и неинтересно... – В той же библиотеке. Ну, и слышал кое-что... Меня интересует, что вам удалось выяснить, когда вы осматривали «Книгу Иблиса».

– Ничего нового.

– Вы себе не представляете, как мне грустно. Я не шучу. Мне реально грустно. Такое впечатление, что на меня обрушились все скорби мира. Я просто подавлен ими. Я погибаю под их бременем. И вот что удивительно – мне никто не хочет помочь. – Неожиданно он встал и сказал, протягивая руку: – Ну, хорошо. Пока что закончим наш разговор. Вот мои телефоны. Когда завершите работу над «КаэС», прошу сообщить мне. Без нашего согласия не рекомендую публиковать перевод. Договорились? – Ярош кивнул. – Вот и хорошо. Возможно, у нас еще возникнут вопросы, так уж не гневайтесь. И если вам удастся что-то прояснить по этим макам, то звоните. Возможно, это всего лишь фантастика, сказочка для дурачков, а возможно, и нет. Успехов.

Но когда Ярош уже направился к двери, Кныш вдруг брякнул:

– А вы и правда меня не узнали?

Ярош удивленно пожал плечами. Что-то в Кныше было знакомым, но стерлось.

– Ну, ничего, – покачал головой тот. – У нас простора бота такая – фотографировать в памяти лица. – И неожиданно произнес: – А как там наша Наденька поживает?

Ярош обалдел, обернулся и только сейчас узнал в Кныше того самого Надюшиного кавалера, который снял ее на дне рождения Руси.

– Говорят, она теперь известная писательница? – скалил зубы Кныш, неожиданно размякнув и сбросив с себя маску крутого правохранителя. – Я, правда, не читал, но хотел у вас спросить: среди ее персонажей не попадался ли вам часом скромный работник СБУ?

Ярош рассмеялся:

– Неужели вас это волнует? Это на самом деле приятно. Когда-нибудь можно и внукам показать – вот смотрите, что о вашем дедушке написали.

– Хе-хе, знаете... С тех пор я немного поднялся... Не хотелось бы, чтобы начальство узнало.

– Что? – Ярош сделал вид, что ничего не понимает.

– Ну, как же... Мы же... Вы что – хотите сказать, что ничего не знаете?

– А что я должен знать?

Кныш покачался на каблуках, потер указательным пальцем под носом и сказал:

– Да нет, ничего особенного. Просто, если вы с ней контактируете, то я просил бы... как бы это сказать... Она, говорят, слишком откровенна в своих произведениях... Хоть и не называет настоящих имен... Но догадаться можно... Понимаете? У нас и такие есть, что книги читают. А как же. То есть я хотел сказать, по работе... Работа такая... Читают, записывают, каталогизируют, раскладывают по полочкам... Вы не можете не знать, что тогда произошло... На дне рождения Руси... Я хотел бы извиниться перед вами, если доставил вам неприятности, но так уж сложились обстоятельства... А хотите, я буду с вами максимально откровенным?

– Ну, попробуйте.

– Сейчас мы решаем вопросы куда более важные. Поэтому должен объяснить, что тогда у нас было именно такое задание. Любой ценой разорвать ваши отношения.

– Не понимаю. Зачем?

– Я тогда был мелкой рыбешкой. Приказали – выполнил. Так, невольно, мы с вами стали «молочными братьями».

От этой фразы Ярош вздрогнул, еще чего – «молочные братья»! Так говорят о тех, кто наслаждался минетом от одной и той же девушки, но стать «молочным братом» с кагэбистом?

– Вы хотите сказать, что это вовсе не Руся спланировала?

– Нет. Это наша работа. Надя, как вам известно, собралась ехать на работу в Германию. А если бы у вас с ней все сложилось, могла бы и не поехать. Так ведь?.. Но она была нам нужна именно там. Хотя какую функцию она там выполняла, я не знаю. Я, как тот мавр, только сделал свое дело... А кстати... вы разве не узнали голос той женщины, которая выкрикивала испанскую фразу?

– А почему я должен был ее узнать?

– Потому что вы ее прекрасно знаете. Это – Руся.

Ярош вытер холодный пот со лба. Все складывалось в какую-то дикую фантазмагорическую картину.

– Что с ней случилось?

– Очередная несчастная любовь. Новая попытка суицида. Наглоталась таблеток. Но на этот раз уже с необратимыми последствиями.

– Постойте... Тот мой коллега, который с ней встречался и который убедил меня прийти на день рождения... Это и ваш коллега?

– В мире все очень тесно переплетено. Он тоже выполнял задание.

– И это из-за него Руся травмировалась?

– Согласитесь, на его месте мог бы быть любой. Есть люди, которые обречены на самоубийство. Знаете, какая статистика? На сегодняшний день треть самоубийц уже успела пройти генеральную репетицию и находится на пороге премьеры. Но не будем о грустном. До свидания.



Ошеломленные бойцы складывают оружие, отчаяние сжимает горло, кое-кто не сдерживается и утирает слезы, а есть и такие, у которых слезы льются в три ручья, мы тоже не исключение, плачем, обнимая Яся, а наши мамы, прощаясь с ним, громко рыдают и осеняют крестным знаменем, а потом он вместе с большой колонной офицеров медленно бредет по Лычаковской, по обе стороны – толпы чужеземных солдат – толкают, отбирают оружие, ругаются, а откуда-то издали доносятся выстрелы, грохот одиночных пушечных залпов, потому что не все еще согласились на капитуляцию, отдельные группы отчаянных бойцов все еще держат оборону, предпочитают умереть здесь, чем невесть где.

Вскоре получаем известие о том, что колонну офицеров на Лычаковской рогатке окружают энкаведисты и сопровождают как пленных, не позволяя свернуть в направлении Румынии, как было оговорено. Что бы это могло означать? А когда из головы колонны поступает известие, что их ведут на Винники, отдельные воины пытаются вырваться и смешаться с толпой людей, которые стоят на тротуарах, с грустью провожая взглядами их отступление.

По правому коридору входили во Львов большевики, вид у них был какой-то дикий, словно они вышли из подземелья в своих землистого цвета длинных шинелях и таких же длинных до самых колен «гимнастерках», а широкие галифе, которые развевались при ходьбе, кирзовые сапоги, из которых торчали серые грязные портянки, винтовки на шнурах и остроконечные «буденовки» с красными звездами делали из них карикатуру на армию, если бы не военная техника, если бы не танки и пушки, которыми польское войско похвастаться не могло. Но больше всего поражали львовян лица освободителей, среди них было очень мало европейских, в большинстве своем это были лица скуластые, обветренные, худые и недобрые, в глазах светилась подозрительность и недоверие, они поначалу даже дергались и выставляли вперед штыки, когда к ним устремлялась экзальтированная жидовская молодежь с цветами, пытаясь пожать руки и поцеловать, а некоторые целовали танки и кричали радостно: «Нех жие Сталин!», «Нех жие Советски Союз!», «Нех жие Советска Украина», хотя за несколько дней до этого, 5 сентября, они кричали: «Нех жие Англия!» перед английским консульством на Недзялковского, а пан консул даже вышел на балкон и хотел что-то произнести, но неожиданно загудели немецкие самолеты, и все разбежались, а к молодежи присоединялись и пожилые жида и тоже кричали и махали шляпами и платками, даже не подозревая, что за эту радостную встречу своих освободителей их будут нещадно избивать на улицах Львова, обвинив во всех смертных грехах и в этом тоже.

Разоруженная польская армия покидала город левым коридором, из переулков и ворот выныривали в одиночку и группами военные, размахивая желтоватыми платочками, и

присоединялись к этому безрадостному походу.

Узнав, что офицеров повели в направлении Винников, мы наскоро собрали для Яськи гражданскую одежду и побежали по Лычаковской. Наверху догнали Люцию, которая куда-то спешила с пакетом под мышкой.

– Сервус, парни! Куда так гоните?

– Ищем Яську. Он должен быть где-то в колонне.

– Идем со мной, может, он там – в костеле! – она показала рукой на базилику Матери Божьей Остробрамской с ее высоким шпилем. – Там сейчас переодевают офицеров в гражданское. Вот видите – я тоже несу, насобирала по соседям. Слышали? На Сыхове русские окружили львовских полицейских, которые пытались выбраться в Румынию, и всех до единого перестреляли. Арестовывают всех государственных служащих, полицейских расстреливают на месте. Офицеров тоже ничего хорошего не ждет.

В костеле мы увидели массу военных, которые торопливо переодевались в то, что им принесли жены и дети, монахи живо сгребали с пола мундиры, ремни и сапоги и куда-то выносили, подгоняя военных, чтобы те быстрее переодевались и покидали помещение.

– Кому еще одежду! Кому одежду! – закричала Люция, и со всех сторон к ней потянулись руки и мгновенно расхватали все, что она принесла.

– Видел кто-нибудь Яську Билевича? – спрашивали мы, пробираясь через толпу, но никто не мог нам сказать ничего путного, кроме того, что хвост офицерской колонны еще несколько минут назад был виден с верхней Лычаковской. И вот, наконец, Люция притащила за руку мужчину, который сообщил, что был с Ясем в офицерской колонне.

– Когда до нас дошел слух, что колонну не пропустили на Сыхов, а повели на восток, кое-кто начал драпать. Мы впятером тоже сговорились удрать. Когда проходили мимо школы Святого Антония, все разом рванули к воротам, но конвоир заметил и выстрелил. Я услышал, как Яська вскрикнул, наверное, в него попали. Хотя я больше его не видел.

– А куда их ведут?

– Я слышал, что в Тернополь. Там вроде бы всех должны отпустить, но это маловероятно. На ночь они останутся на займищах за Винниками, вот тогда можно будет к ним подобраться.

Мы простились с Люцией и поспешили в Винники. Чтобы не попасться на глаза красноармейцам, которые двигались длиннющей колонной, мы сошли с дороги в лес, а там можно уже было даже бежать по хорошо протоптаным тропкам, с давних времен облюбованным спортсменами. Вдруг до нас донесся звук автоматных очередей, это было где-то впереди, довольно далеко, и продолжалось недолго, выстрелы уже никого не удивляли, они постоянно раздавались и в самом городе, и за городом, поэтому мы продолжали бежать не останавливаясь. Дорога все еще была запружена большевиками и их боевой техникой, казалось, не будет им конца и края. Но вот мы услышали стоны и почувствовали резкий запах крови, свежей крови, запах, который повис в воздухе совсем недавно и еще не успел разложиться и превратиться в смрад, сейчас он был головокружительным и невыносимым, мы осмотрелись, но ничего не увидели, вокруг был лес, правда, на деревьях виднелись свежие следы от пуль, трава была устлана белыми щепками.

– Смотрите – вон там! – воскликнул Йоська и показал в сторону поляны, на которой прогуливающиеся часто устраивали пикники перед тем, как взобраться на Чертову гору. Там что-то было, именно оттуда доносились запах крови и стоны. Мы бросились туда и увидели гору трупов, небрежно приброшенных ветками. Это были расстрелянные львовские

полицейские в своих гранатовых мундирах, но без оружия, юноши и взрослые мужчины, и из-под этой горы трупов доносился стон. Мы подбежали, сбросили несколько тел и высвободили молодого, еще безусого парня, у него было прострелено плечо. Вольф ощупал его и сказал:

– Кость не задело, пуля прошла навывлет. Рана уже не кровоточит. Ты можешь идти?

– Кажется, могу, – кивнул парень, глядя на нас с надеждой, а я, присмотревшись к нему внимательнее, узнал того, кто конвоировал меня на допрос к Кайдану и сопровождал свидетелей.

– Ты меня не узнал? – спросил я.

– Нет, – ответил парень, и в его глазах промелькнул страх.

– Не бойся, – сказал я и, указывая на расстрелянных полицейских, спросил: – А Кайдан среди них есть?

– Нет. Не знаю, куда он делся. Что вы со мной сделаете?

– Ничего. Йоська, веди его назад, как дойдете до Лычаковской, оставишь его в кустах, мотнешься в церковь, попросишь у монахов гражданскую одежду и принесешь ему. Может, еще застанешь там Люцию, она вам поможет. Только идите все время лесом, чтобы эти вас не увидели. А мы с Вольфом побежим дальше.

Хвост офицерской колонны мы настигли перед самыми Винниками, но не приближались, а шли крадучись следом, пока всех пленных не вывели за село и не приказали становиться лагерем на займищах. Уже смеркалось, часовые расположились вокруг лагеря на определенном расстоянии друг от друга и устроили перекур, часть из них обессиленно свалилась на траву и принялась за ужин, охрана не была слишком бдительной, и это нас приободрило. Пленные собирались группками, вынимали из котомок продукты, к ним подходили крестьяне, о чем-то спрашивали, часовые их отгоняли, а вскоре крестьяне начали сносить воинам воду, молоко, хлеб, яблоки – у кого что было.

– Как ты думаешь, – спросил я Вольфа, – мы смахиваем на деревенских?

Вольф рассмеялся, поглаживая щетину на лице, – мы таки хорошенько заросли.

– Можно попробовать.

Мы остановили какого-то дядьку, который нес в корзине картошку, а под мышкой спелую желтую тыкву, и напросились помочь ему, я взялся за другой край корзины, а Вольф забрал тыкву, Яськины манатки порассовывали себе за пазухи.

– Что они с этой тыквой будут делать? – спросил я.

– Как что? – искренне удивился дядька. – Испекут. Это ж вкуснятина. Никогда не ели?

– Нет. Но обязательно попробую.

– Вы нездешние.

– Да. Ищем своего друга.

– Хотите передать ему одежду?

– Откуда вы знаете?

– Приходил ко мне один, которому удалось выбраться. – Потом шепотом добавил: – У меня в тыкве старые штаны и рубашка.

– И правда вкуснятина, – засмеялись мы.

Часовые лишь бросили на нас косой взгляд и пропустили, а мы сразу стали спрашивать про Яську. Офицеров чертовски забавляла наш тыкву, со всех сторон сыпались шутки и советы, что с ней можно сделать, кто-то даже предложил разрезать ее пополам, выскрести середину и использовать, как ночной горшок, но поручик Грицюк, который был с нами на

Городоцкой, сказал, что знает, как готовить тыкву, и никому не позволит над ней издеваться, а потом проводил нас к Яське, по дороге я поведал ему страшную тыквенную тайну, он присвистнул: «Ого! Придется разыграть в карты». Ясь сидел у огня с забинтованной левой рукой. Увидев нас, несказанно обрадовался и удивился, но я объяснил:

– Мы тебе одежду принесли. Живо переодевайся. Здесь за костром тебя не будет видно.

Вольф вынул нож и, вспоров его мундир, высвободил руку, мы помогли ему стащить штаны и сапоги, хотя он и не хотел оставлять сапоги здесь.

– Дурак ты, – сказал я, – знаешь поговорку: видно пана по халявам^[98]? По офицерским сапогам тебя живо вычислят. Обувай тапочки. Документы брось в огонь.

У костра лежал пустой мешок, в котором, видимо, приносили картошку, я поднял его и повесил Яське на раненую руку, чтобы не бросалось в глаза, что он держит ее согнутой. Выходя из лагеря, я улыбнулся часовому, но тот скорчил недовольную мину и отвернулся, я не имел ничего против, уже через несколько шагов мы растворились в сумерках. Я отговорил Яську идти домой и отвел его к Люции, а там, к нашему удивлению, мы застали Йоську с раненым полицейским, которого девушка перевязала и переодела. Она забрала их к себе из церкви. Так вот собралась хорошая компания, Люция накрыла стол, принесла из погреба вина, и мы хорошенько посидели, а результатом этих посиделок стало то, что Яська втрескался в Люцию, а она – в него. Ну, наконец-то она нашла себе истинного ценителя своего варенья.



Запинаясь и переминаясь с ноги на ногу, Марко сообщил:

– Знаешь, мы с Данкой собираемся пожениться.

После этих слов он сделал паузу, но Ярош молчал, новость его поразила, он изо всех сил старался не выдать своего волнения, казалось, что это ему плохо удастся, но Марко не смотрел на него, он оперся на подоконник и любовался белкой, прыгающей по ореху. Ярош лихорадочно искал какие-то слова, которые должны были бы показать, что он принимает выбор сына, но слов ему не хватало, он едва выдавил короткое «угу», по какой-то причине то, что сообщил ему сын, вызвало у него уныние и даже что-то похожее на панику. Ему сразу же захотелось уединиться, закрыться в своем кабинете и переварить новость в одиночестве, но это выглядело бы странно, и он, подойдя к бару, налил два бокала вина, один протянул Марку.

– Ну, тогда есть прекрасный повод выпить, – сказал как можно более спокойным тоном, но вышло это несколько театрально, с нажимом, губы при этом с трудом изображали улыбку.

– Ведь правда она лучше всех? – спросил Марко, теперь уже глядя ему в глаза.

– Из тех, что ты приводил раньше? – Ярош отвел взгляд, отошел в угол и сел в кресло. – Конечно, конечно... она таки лучше всех...

– Такое впечатление, что ты не совсем в этом уверен.

– Почему? Ты, наверное, ее лучше знаешь. Мне она тоже понравилась. Умная, целеустремленная, знает, чего хочет. Но... будет ли женщина-ученый идеальной женой? Ты, я так понимаю, в науку углубляться не собираешься.

– Нет, я решил сосредоточиться на компьютерных программах... теория меня не привлекает. Так что у нас будет гармония: она теоретик, я практик.

– Возможно. На самом деле я ничего против не имею... я это так сказал...

– Ну, если так, то, может, ты не будешь против, если в следующее воскресенье мы придем к тебе с ее родителями?

Здесь он снова почувствовал тот же панический страх и желание исчезнуть, забиться в какое-то темное тихое место и закрыть глаза. Он гнал прочь даже мысль о том, что ему эта новость чем-то не по вкусу, он пытался воспринимать ее так, как и следовало, но почему-то не получалось, его пробирали непонятный страх и ощущение невероятной потери. Потери чего? Он не хотел себе в этом признаваться, но Данка последнее время надежно внедрилась в его сознание, дни, когда они не виделись, были для него наполнены грустью, он

перечитывал ее письма с текстами переводов, которые она ему присылала по Интернету, ища между строк какой-то другой, отсутствующий, на первый взгляд, смысл, какие-то тайные знаки для себя, но их не было, даже в тех иероглифах, которые она просила растолковать, содержание было очень далеким от того, что хотелось бы ему увидеть. В конце концов такая игра словами и знаками его увлекла, он сам начал в своих посланиях как бы в шутку подбрасывать какие-то фразы, которые должны были их сблизить, делал это очень деликатно, прибегая к причудливым аллюзиям и намекам, взамен получал деловитые замечания или вопросы, однако в последнее время, именно в последнее время эта деловитость, кажется, растаяла, он уже стал замечать и с ее стороны шуточный тон и некую двусмысленность, а может, это ему только казалось, но он стал находить в ее письмах какие-то особые слова, обращенные только к нему и понятные только ему одному. И вот теперь, когда, казалось бы, между ними навели мосты, вдруг все рухнуло. Но, в конце концов, чего же он еще ожидал? Если бы в ее письмах действительно было то, что ему казалось, то оно бы нашло свое выражение и в их отношениях вне писем, сколько раз они уединялись в его кабинете, сидели бок о бок над манускриптами, часто соприкасаясь коленями, лицами и волосами, но разговоры их всегда были профессиональными, никаких особых жестов или слов, ничего, что давало бы основания испытывать теперь то, что чувствовал он. Прогулки на Кортумову гору и Чертову скалу оказались счастливым исключением, делать какие-то выводы из которого было бы преждевременно.

– Да, конечно... – наконец обратился он к Марку. – А ты познакомил их с твоей мамой?

– Нет, она на них не произведет должного впечатления.

– А ты считаешь, что я произведу? – Ярош рассмеялся. – Кто ее родители?

– Не поверишь. Отец недавно работал на таможне начальником, но его новая власть уволила, так он собирается с полным портфелем ехать в министерство и восстановиться на работе. А мама домохозяйка. Хотя и с высшим образованием.

– Отец работал на таможне? Да еще и начальником? Трудно себе представить, чтобы такой человек был в восторге от выбора его дочери. Деньги любят деньги.

– Но их дочь не такая, ты сам видел.

– Да... Не такая... И где же вы собираетесь жить?

– У ее отца несколько квартир и частных домов. Жить есть где. И машин у него несколько. Одним словом, буржуй.

– Вот я и говорю, что он может носом крутить.

– Но ведь и я неплохо зарабатываю. Есть надежный кусок хлеба, а его еще, как знать, восстановят ли на работе. А то еще и посадят. Ну ладно, если ты не против, то жди нас в воскресенье. Мы с Данкой приедем пораньше, чтобы что-то приготовить, а родители – позже. Только ты на политические темы не заводишь, потому что ее отец волей-неволей, а должен поддерживать преступную власть, хотя она его и предала.

– А если он сам начнет? Я должен хвалить дебильное правительство?

– Да нет, никто от тебя этого не требует. Достаточно будет, если ты не станешь высказывать тех мыслей, которые присутствуют в твоих интервью и статьях.

– А ты уверен, что он ничего моего не читал?

– Да где уж там! Он читает только бульварную прессу и смотрит тупое телевидение. С Интернетом вообще не дружит. Мамаша тоже. Эта романчики женские читает. На самом деле у вас будет не слишком много тем для разговора. Погода, футбол, кулинария, медицина...



Солнце закатилось и не сказало, вернется ли. В ту первую ночь советской оккупации с 22-го на 23-е сентября Львов не спал, раздавались выстрелы, крики, грабители, воспользовавшись беспорядками, бросились к ювелирным и часовым магазинам, они ничего не боялись, потому что имели оружие, которого тогда по всему городу валялись целые горы, даже большевики опасались вмешиваться. А на следующий день Львов проснулся уже от совсем других необычных звуков. Не слышно было всех тех голосов, которыми жил город до сих пор, ведь даже в эти десять дней обороны город не сдавался, изо всех сил стараясь убедить своих жителей, что он на самом деле не изменился, живет и пульсирует, радуется жизни, как и прежде, но теперь это уже был город побежденный, сокрушенный и плененный, город-невольник, грусть и уныние появились на лицах львовян.

Когда при бомбежке загорелась знаменитая водочная фабрика Бачевского, люди бросились спасать те бесценные сокровища, которые она производила: водку, ликеры, наливки выносили ящиками и сумками, мешками и ряднами, как муравьи, спасающие свои подушечки, а на ту пору случилось проходить мимо взводу красноармейцев, и, увидев такое диво-дивное, они и себе бросились спасать народное добро, оставив одного бойца сторожить амуницию, и надо сказать, что делали они это поистине героически, потому что фабрика не просто горела, там еще и взрывалось что-то и выстреливало огнем в небеса, а ноги скользили по водочным ручьям, и ручьи те тоже вспыхивали синим пламенем, которое весело лизало сапоги. Но в отличие от львовян, которые сразу же с этим спасенным добром исчезали, разбегаясь по домам, бойцам легендарной армии водку нести было некуда, и они складывали ее возле часового с амуницией, пока не спохватились, что наспасали ее вполне достаточно, чтобы им этот подвиг зачли и здесь, и на родине, и сели возле ящиков пить, пили из горла, закрутив бутылку винтом так, чтобы водка, вливаясь в горло, тоже крутилась без бульканья и расплескивания, но целительная влага все же расплескивалась и текла у них по подбородкам, по груди, по штанам, в сапоги, но они не обращали внимания, и пили так, словно это был последний день в их жизни, а через каких-нибудь полчаса все они так опьянели, что уже ничего не соображали, одних чего-то понесло к забору на противоположной стороне улицы, и они, ухватившись за штакетины, стали их раскачивать, а потом попадали в канаву, другие улеглись возле амуниции и захрапели, как поросята, а третьи бродили по улице, растопырив руки, и пытались остановить людей, которые тащили водку, потом все они чуть ли не одновременно начали блевать, извергая из себя разноцветную смердящую смесь, в которой угадывалась непереваренная перловка, кукуруза, красная, оранжевая и зеленая помидорная кожура, арбузные косточки, пережеванные яблоки и даже яичная скорлупа, и вот именно тогда, когда они уже, смертельно пьяные, лежали кто где

свалился, притащился с тележкой Йоськин дядя Зельман Милькер, который хоть и был коммунистом и членом КПЗУ, но себе на уме, потому что, когда советы перестали давать деньги зарубежным коммунистам, многие эмигрировали в страну своей мечты, в тот Эдем, который обещали Ленин и Сталин, выехали и члены КПЗУ, но все они в 1937-м были ликвидированы как империалистические шпионы. Зельман был мудрым, он предпочитал лелеять Эдемский сад рядом с домом, но когда пришли освободители, он собрал еще три десятка мечтателей о коммунистическом рае и пошел приветствовать освободителей с цветами и флажками, которые вырезал из красной шторы, а так как материал был плотный, флажки не хотели трепетать на ветру, а свисали, как собачьи хвосты. Зельман, который уже сделал со своей тележкой несколько успешных ходок, завидев восемь пьяных зюзя-зюзей бойцов, не мог сдержать своего пламенного коммунистического порыва и вместе с несколькими вызвавшимися помочь людьми загрузил двух вояк на тележку и отвез к себе домой, а там они с женой Ривкой занесли их в гостиную и уложили на пол. Точно так же он доставил к себе и остальных доблестных красноармейцев вместе с их винтовками и спасенной для народа водкой, и вот сбылась мечта его жизни – в его доме спали сном праведников долгожданные освободители, часовые пролетариата. Но сам Зельман уснуть не мог, ему хотелось сделать что-то необычное, что-то такое, чтобы освободителям запомнилось на всю жизнь, поэтому он пошел в сад и, хотя его Ривка заламывала руки и причитала, потому что не разделяла его прогрессивных взглядов, нарвал целую охапку хризантем, георгин, роз и чернобрицев и, расставив их в вазы, тихонечко занес в гостиную, но на этом не успокоился, потому что вспомнил, что у него растут еще и безвременник, бессмертник, маргаритки, лилии, вот он и их нарвал и, рассовав теперь уже в чугуны и ведра, опять же потихоньку занес их в гостиную, а потом еще долго не мог уснуть, представляя себе, какое замечательное пробуждение ждет дорогих освободителей, которые принесли на своих штыках свободу и равноправие трудящихся. Проснулся он довольно поздно, солнце уже слепило глаза, а Ривка нещадно звякала половником, размешивая в выварке гороховую похлебку, которой собиралась кормить гостей. Зельман поинтересовался, который час, и очень удивился, что гости еще спят, но потом решил, что ничего удивительного тут нет, ведь освободители должно быть хорошенько вымотались в своем освободительном походе, и попросил Ривку, чтобы она шуровала в кастрюле не так жизнерадостно, на что Ривка назвала его мишигином^[99] и постучала себя мокрым половником по лбу, очевидно намекая, что Зельман мозгами тронулся с этой гостиной и с этими цветами, потому что теперь нечего будет дорогим родственникам на кладбище отнести после того, как он обчистил все грядки, но время шло, а из гостиной не доносилось ни звука, тогда Ривка в конце концов не выдержала и, оттолкнув своего мужа так, что он бухнулся на диван, открыла дверь. В нос ей сразу ударили фантастические ароматы осенних цветов, весь тот букет запахов, который за ночь скомпоновался в пьянящий коктейль, просто голова кругом пошла, но сознания она не потеряла, увидела, что доблестные освободители все еще продолжают спать, и когда она кашлянула, они все еще продолжали спать, Ривка вышла из гостиной, пошатываясь и держась одной рукой за голову, а другой пытаясь нащупать стену, и если бы муж ее не подхватил, она бы и упасть могла, только тогда он начал догадываться, что что-то тут не так, что бойцы спят каким-то неестественным сном, усадив Ривку в кресло, он подскочил к ближайшему бойцу и прикоснулся к его руке, рука была холодная, лицо – холодное, сердце Зельмана сжалось от ужаса, он распахнул оба окна настежь и принялся ощупывать бойца за бойцом, все они были заочеченными, они были мертвыми, и хотя смерть их была прекрасна, куда более приятная,

чем на поле боя, ведь задохнулись они от прекраснейших ароматов осени, но Зельман, вылетел из гостиной с безумными глазами, увидел такие же безумные глаза Ривки и пробормотал: «Нам крышка!», и Ривка с обреченным видом согласно кивнула, мгновенно увянув, как осенний цветок, и тоже осознав, в какой переплет они попали, ведь восемь бойцов Красной армии никакой случайностью не объяснишь, «налицо» террористический акт, работа на японскую разведку и попытка контрреволюционного переворота. Зельман обхватил голову руками и лихорадочно размышлял, как выпутаться из такой трагической ситуации, и не придумал ничего другого, как помчаться на крыльях отчаяния к маме Йоськи, а Голда, заслышав новость, не могла не поделиться ею с подругами. Итак, в нашем доме собралось хорошее общество – я, Йоська, Ясь, Вольф и все наши мамы, а во главе – Зельман. На столе перед нами лежало восемь красноармейских удостоверений. Для начала Рита, как самая принципиальная, подвела итог: взвод сержанта Кузькина пал смертью храбрых вместе с сержантом Кузькиным, и если до сих пор никто за ними не явился, значит, начальству просто неизвестно, куда они подевались.

– Ай да Рита! – даже всплеснула руками Голда. – Какая ты умница! Ты у меня это просто с языка сорвала! Можно не волноваться, за ними никто не придет.

– Ну да, – сказал Ясь, – но что теперь делать с этими трупами? Ведь это же не один и не два, а целых восемь.

– Их надо похоронить, – сказала моя мама. – И я даже знаю как.

То, что она при этом бросила на меня выразительный взгляд, было излишне, я и без этого сразу смекнул, куда она клонит, но я замотал головой и сказал, что ни за какие коврижки не пойду к пану Кнофлику, потому что после того, как он спятил, с ним трудно объясняться. Но Зельман заломил руки и с такой мольбой посмотрел в мои глаза, а пани Зельманова пообещала большого фаршированного карпа и луковый пляцек, чтобы только я пошел, и я скрепя сердце согласился.

– Орик, – сказал Зельман, провожая меня за дверь, – скажи ему, что я рассчитаюсь цымагой^[100]. Я ведь столько не выпью, сколько в дом притащил.

Каково же было мое удивление, когда я застал пана Кнофлика в хорошем настроении, в отутюженном костюме, гладко причесанным и выбритым, завидев меня, он тут же двинулся навстречу с распростертыми руками и обнял меня:

– Прокристепа! Сакра-кумакра! Кого я вижу! Тебя, камераде, мне послали шестикрылые херувимы. Знакомься, это моя жена Ленка, – и потянул в глубь комнаты, где у украшенного розами гроба возилась тучная блондинка с пышной грудью и не менее пышным животом. – Видишь? Видишь? – гладил он жену по животу. – Наконец-то у меня будет Иржик или Власта.

Его радость можно было понять, ведь покойная Власта не могла иметь детей, а теперь пан Кнофлик как на свет народился. А в глубине комнаты самозабвенно шуршал рубанком пан Боучек и что-то напевал себе под нос, я помахал ему рукой, но это было все равно, что махать дубам при дороге.

– Как хорошо, что ты пришел, мне тебя не хватает, – тараторил пан Кнофлик, – твоего эстетического отношения к делу, твоего поэтического дара, с которым ты подходил к каждому покойнику. Можешь хоть сейчас приниматься за работу. Есть для тебя эксклюзив: великолепный, сексуальный, свежайший труп оперной певицы с ангельским голосом, которая выглядит так, что, кажется, вот-вот и запоет арию Аиды. А почему? Почему она так прекрасно выглядит? Потому что была умной и предусмотрительной и не повесилась, не

утопилась, не выбросилась из окна, не отравилась какой-нибудь гадостью, которая исказила бы ее нежные черты, а влезла в теплую ванну в отеле «Жорж» и аккуратно вскрыла себе вены на руках. Это я называю наивысшим признаком благородства и эстетики! Как сказал поэт, красота спасет мир.

Я с трудом остановил безудержный поток болтовни пана Кнофлика, сообщив ему о тех восьми покойниках, которые свалились нам вдруг на голову...

– Прокристепа! Боже, какая радость! – всплеснул руками пан Кнофлик и обратил свой благодарный взгляд к небу. – Недаром мне снилось восемь линий, которых я поймал голыми руками в собственной постели! А у меня, чтоб вы знали, есть как раз восемь гробов высшего качества.

– Пан Кнофлик, эти восемь покойников не простые покойники, – сказал я шепотом. – Это наши освободители.

Пан Кнофлик быстро огляделся по сторонам, схватил меня за руку и потащил в свой кабинет, там, усадив рядом с собой, приготовился слушать.

– Эти наши славные освободители погибли, как герои, – продолжил я. – Спасая легендарную водочную фабрику Бачевского, они пали смертью храбрых.

– Тедка йо! Так-так-так, – оживился пан Кнофлик, – очень интересно. Мы устроим для них величественные триумфальные похороны. Я найму хор женской гимназии, они оденутся в белые греческие туники с фатой и веночками, будто это идут безутешные невесты, и будут, заламывая руки, оплакивать героев, как это делали троянки, оплакивая троянцев.

– Пан Кнофлик! Не торопитесь! Герои умерли действительно, как троянцы. Но троянским конем оказалась водка. Это она их прикончила. Восемь, как стекло, товарищей полегло^[101].

– Ов! Водка! Темное дело. Величественные похороны отпадают.

– Их надо похоронить на жидовском кладбище, как жидов. Пан Зельман Милькер все оплачивает. Водкой.

– Замечательно. Потому что эти наши злотые скоро в мусор превратятся. Так эти покойники были жидами?

– Да разве кто-нибудь может быть на сто процентов уверенным, что он хоть немножко не жид?

Пан Кнофлик покачал головой в глубокой задумчивости и сказал:

– Кдепак^[102]! Даже я не могу. Но восемь гробов, которые будут одновременно ехать на кладбище, могут привлечь внимание. Нынче ко мне заходил какой-то чубарик^[103] со звездой на шапке и сказал, что я уже не директор, потому что хватит мне угнетать пролетариат. Поэтому директором теперь будет представитель пролетариата товарищ Боучек. Я ничего не имел против. Товарищ Боучек и так глухой как пень, поэтому я только головой кивал и выкрикивал: «Долой буржуев и попов!» Все прекрасно складывается, у меня будет священный покой, а товарищ Боучек будет ходить на собрания, митинги и парады. Ага... так как же нам быть с этими гробами?

– И правда, это слишком рискованное действие. А может, мы их похороним как жидов – в белых простынях без гробов? Тогда вы все восемь трупов уложите в своем катафалке штабелями и – но-о-о! поехали!

– Так теды йо! Так и сделаем. Только хорошо бы еще, чтобы за катафалком шла любимая семья в трауре. И чтобы кто-нибудь все же плакал. И если уж я не заработаю на гробах, то хотя бы на венках, так ведь? – Пан Кнофлик положил перед собой на столе лист бумаги и

счета и принялся составлять калькуляцию. – По два венка на каждого – шестнадцать венков с черными лентами. Плюс восемь букетов, восемь свечей... Свечи парафиновые или сальные?

– Пусть будут парафиновые.

– Па-ра-фи-но-вые... Так... Восемь простыней... Полотняных или шелковых?

– Полотняных.

– По-лот-ня-ных... М-м... О! Геле^[104]! А они в военной форме?

– Конечно.

– Нужно их переодеть в гражданское. А ну как какая-нибудь хулера захочет взглянуть. Ну и последнее: сколько должно быть могил? Хотя что я спрашиваю! Восемь могил – это уже эпидемия! Едва нас освободили, как люди начали умирать. Нехорошо. Но... пусть я на этом потеряю... положим их в две могилы. Только кто-нибудь должен пойти на кладбище и договориться.

Пан Кнофлик записал адрес и обещал прибыть с катафалком к вечеру, как только начнет смеркаться, а я помчался домой, чтобы порадовать бедного Зельмана, что так все хорошо складывается. Выслушав новость, Зельман с Голдой стали нас просить, чтобы мы согласились сопровождать катафалк, изображая убитую безутешным горем семью, и что было делать – мы согласились, потом наши мамы отправились к Зельману переодевать освободителей в гражданское. Зельман, к счастью, еще до этого привез несколько мешков одежды из разбомбленного магазина, поэтому проблемы с этим не было. Йоська метнулся на кладбище, дал могильщикам по три бутылки водки, и те согласились похоронить восемь трупов в двух могилах. К вечеру все были на месте, я надел черную рубашку и черные брюки, Йоська напялил мне на голову свою ермолку, ему она была ни к чему, он и так похож на жида, Ясь и Вольф надели черные шляпы, из-под которых торчала кучерявая рыжая пакля вместо пейсов. Пан Кнофлик деловито распорядился заворачивать трупы в простыни и грузить в катафалк. Положили их четыре вдоль и четыре сверху поперек, но наискосок, по-другому не помещались. Столько туфель Зельман не нашел, поэтому у покойников были босые ноги в солдатских портянках. Солдатскую одежду Зельман сжег, пожалев только кирзовые сапоги и ремни, с которых предусмотрительно снял металлические пряжки со звездочками. И вот похоронная процессия тронулась с места, пан Кнофлик сидел на козлах и причмокивал лошадям, а мы шли, держа под руки матерей, которые, склонив головы в черных платках, без умолку тархтели обо всем на свете и замолкали, только завидев прохожих, на совесть работала только наша бабушка, она голосила в небеса на языке, которого, кроме нее, пожалуй, никто не понимал, но каждый бы сделал вывод, что это жидовские похороны. Когда мы прибыли на кладбище, то увидели две свежевыкопанные могилы, на дне которых лежали пьяные могильщики – по два в каждой могиле. Извлечь их нам так просто не удалось, поэтому мы привязали им к ногам лямки, на которых они обычно спускали в могилу гроб, а другой конец лямок прицепили к катафалку и так вот вытащили их и уложили под кустами, а после опустили в могилы освободителей, засыпали их глинистой землей, сформовали холмики и обложили венками и букетами. Зельман зажег восемь свечей и воткнул их в землю.

– Славная у них была смерть, – сказал он со всем коммунистическим прямодушием, – сначала выпили хорошенько, а потом заснули вечным сном среди райских ароматов... Каждому можно такое пожелать, особенно в наше тревожное время...



В воскресенье Данка с Марком пришли с самого утра, чтобы помочь убрать в доме и приготовить угощения, Ярош не отличался особым педантизмом, поэтому у него повсюду царил раскардаш, вещи имели свойство исчезать из тех мест, где им надлежало быть, и оказывались в местах самых неподходящих, но хозяин как-то во всем этом ориентировался, теперь же, когда для каждой вещи находила место Данка, он с волнением думал о грядущих днях, когда придется разыскивать какую-нибудь кухонную утварь, недочитанную газету или карандаш, листочки бумаги с записанными номерами телефонов, счета за газ и свет, а к тому же кое-что летело и в корзину, придется и ее завтра перетрусить, потому что никто не в состоянии определить ценности той или иной бумажки с какими-то каракулями, кроме хозяина. А так как все это делалось очень быстро, Ярош лишь поначалу отслеживал перемещение всей этой мелочовки, но потом махнул рукой и занялся гусем, которого специально по такому случаю приобрел вчера на рынке. Он его сначала осмолит, потом вынул все внутренности, перебрал их и перемолол вместе с замоченной булкой, добавил жареный лук, измельченную зелень, два сырых яйца и хорошо вымешал руками, потом начинил гуся и зашил крючковой иглой, которую ему подарил знакомый хирург.

– Как вы это ловко и быстро делаете! – восторженно воскликнула Данка. – Я бы с этим полдня провозилась.

– Потому что вы, наверное, привыкли все делать тщательно, а я так – тяп-ляп, – засмеялся Ярош. – Ручаюсь, что на вкус это не повлияет.

– Не сомневаюсь.

После того, как гусь оказался в жаровне, Данка вынула из сумочки несколько листов и попросила посмотреть на ее переводы, она перевела еще несколько стихотворений Люцилия. Ярош предложил пройти в кабинет, Марко махнул им: «Идите, идите», а сам включил телевизор. Ярош чувствовал, как дрожит его голос, и не только голос, но и руки. Они сели за стол, Ярош, пытаясь скрыть волнение, уставился в текст. Данка переводила довольно искусно, стараясь подбирать стародавние слова, чтобы придать тексту своеобразное звучание. Ярош хотел сделать какое-то замечание, но почувствовал, что голос может выдать его, он встал, подошел к шкафчику, достал бутылку вина, наполнил стакан и осушил его залпом.

– Извините, но я немного волнуюсь перед визитом ваших родителей. Может, вам тоже налить?

– Я, между прочим, как раз хотела об этом попросить, у меня тоже мандраж.

– А у вас-то почему? Вы ведь родителей хорошо знаете, – засмеялся он, наполняя ее бокал.

– Вот именно потому, что знаю.

Он налил себе снова, и они чокнулись. Приятное тепло разлилось в груди, ему показалось, что вместе с этим теплом его наполняет невероятная храбрость, вот сейчас он возьмет и скажет... скажет... что скажет?.. Слова сбились в неуправляемое стадо и затоптались на одном месте, на самом деле он не мог вымолвить ни слова, наконец сел за стол и взял в руки лист. Вспомнилось, что это уже было однажды в его жизни, когда девушка, с которой он протанцевал весь вечер, собралась уходить, и ее ждал кавалер, а она все не уходила и стояла рядом с Ярошем, но он так и не выдавил из себя тех слов, которые позволили бы им встретиться снова, он отпустил ее, и она ушла, бросив ему прощальный взгляд, полный удивления и сожаления. Строчки прыгали у него перед глазами, он почувствовал, как пот выступает на лбу, а когда хотел смахнуть его платком, заметил, что Данка смотрит не на текст, а на него, какая-то сила повернула его голову к ней, их глаза встретились, и то ли это было на самом деле, то ли ему только показалось – в уголках ее глаз он заметил блесочки, так блестеть могли только слезы, но они не текли, они застыли на побережье глаз, Ярош натянуто улыбнулся и пробормотал: «Ваш перевод очень хорош», – потом отвел взгляд, но она продолжала молча смотреть на него, он чувствовал это, хоть и старался не коситься в ее сторону, у него задергалось веко, он вытер со лба пот, это уже становилось невыносимым, набрав в грудь воздуха, он сказал, глядя прямо перед собой в окно, за которым была видна яблоня и вертялая сорока на ветке, она вила себе гнездо (надо будет ее прогнать, ему здесь только сорок не хватало, особенно, если они начнут таскать цыплят у соседей): «Вы хотите о чем-то спросить?» Голос его звучал так, будто шел из каких-то тайных глубин, он просто не узнал его, и даже показалось, что ничего на самом деле он и не сказал, что все это в его воображении, «бойся полуденного беса». Сорока слетела с яблони, а через миг вернулась с клочком шерсти в клюве, так вот из чего она вьет себе гнездо – из гуцульского лежника, который Данка вывесила на балкон, чтобы проветрился, так чего доброго поведергивает все, надо ее прогнать, и сорока эта какая-то странная, осенью – гнездо? Что бы это могло значить? Но сорока недолго отвлекала его внимание, он повернул голову к девушке и посмотрел на нее с нескрываемым страхом, в глазах ее уже не было тех блесков – возможно, она незаметно вытерла их, – Данка закусилла нижнюю губу и медленно покачала головой, не сводя с него задумчивого взгляда, казалось, она мыслями находилась сейчас где-то далеко-далеко, он кивнул, облизнул пересохшие губы и снова взялся за ее перевод, строчки прыгали перед его глазами, наезжали одна на другую, дыбились от столкновения, расплывались, но тут ее ладонь легла на текст, строки вдруг замерли и выровнялись, зато ее тоненькие пальцы дрожали. Она спросила:

– Как вы думаете? – пальцы медленно сомкнулись в кулак, слегка смяв бумагу. – Я все правильно делаю?

Вопрос был слишком абстрактным, мог касаться чего угодно – и перевода, и занятия древними языками, и замужества... И он хотел было уже сказать что-то о ее научных перспективах, о том, что она очень талантливая, но голова невольно качнулась из стороны в сторону, и в этот момент его охватил страх, ведь он выдал себя этим, выказал нечто, что держал длительное время на привязи, но она прочла на его лице то, что, видимо, и хотела прочитать, и сказала:

– Я тоже так думаю.

А потом прижала губы к его губам, и он почувствовал, какие они мягкие и податливые, какие горячие и сладкие, он обнял ее, прижал к себе, и казалось, уже никакая сила не разомкнет их объятий, но здравый смысл взял верх, буквально за миг до того, как дверь

открылась и вошел Марко, они оторвались друг от друга, и Ярош принялся громко, может, даже слишком громко, декламировать перевод, разглаживая пальцами смятый лист бумаги. Оба покрылись румянцем, но Марко истолковал это по-своему:

– О, вы тут без меня уже подзарядились.

– Мы подумали, что нас ждет нешуточный стресс. Налей себе.

– Не откажусь. Вам еще много? Они уже выехали. Если не заблудятся, то минут через десять будут здесь.

– Ну, тогда пора... – сказала Данка и поднялась с кресла.

Она прекрасно владеет собой, обо мне этого не скажешь, подумал Ярош и почувствовал, что взмок от волнения, а когда Марко с Данкой вышли, передел рубашку, потом стал напротив зеркала и спросил у своего отражения: что это было? Возможно, там, в зазеркалье, прокатилось эхо его слов, ответа он не получил, но чувствовал уже не страх, и не панику, и не желание сбежать, а радость, теперь уже его переполняло ощущение счастья, хотя это счастье было еще слишком туманным и неизведанным, и неясно, чем оно еще для него обернется, но это его не слишком волновало, хотелось, чтобы события разворачивались со все большей скоростью, чтобы мелькали и несли его вперед и вперед. Раздалось бибиканье машины на улице, Данка и Марко поспешили навстречу гостям. Ярош провел рукой по лицу, словно смахивая с него все предыдущее волнение, тревоги и страх.



В первые же дни освободители захватили на вокзале товарные вагоны с имуществом беженцев из Центральной Польши, они поспешно грузили его на машины и куда-то увозили, а все, по их мнению, лишнее сваливали в кучи и жгли. Весть об этом быстро разнеслась, и на вокзал стали сбегаться хозяева этого имущества и пытались предъявлять квитанции на груз, их тихонько отводили в сторону и расстреливали. Грабеж достиг апогея, когда вояки разбили двери вагона, в котором были ящики со спиртным, началась шальная пьянка, время от времени кто-то в экстазе стрелял в воздух, только после этого прибежала милиция и остановила это буйство. А на улицах Львова теперь можно было наблюдать удивительные картины, ведь представить себе польского офицера с мешком картошки за плечами, с детской ванночкой, а то и унитазом на голове было просто невозможно, а вот советские офицеры с таким скарбом встречались каждый день, толкать перед собой тачку с каким-нибудь комодом или бюро, конфискованными у буржуя, было для них привычным будничным делом, и ни один военный патруль никогда не обращал внимания на такую унижительную для военной элиты картину.

Лия вернулась с прогулки по городу и была полна впечатлений.

– Ты помнишь магазин пана Зумпфа на улице Охоронок? – спросила она.

– Конечно, – сказал я, – в детстве я там часто бывал. Внутри он напоминал какой-то турецкий или египетский рынок, и уже с порога запах специй и сладостей щекотал нос.

– Да... На одном конце прилавка громоздились высокие конусы сахара, как снежные вершины Гималаев, погруженные в голубые картонные коробки, рядом хрустальные глыбы ледяного сахара сверкали в лучах солнца, как бриллианты, и невозможно было без сожаления смотреть, как пан Зумпф маленьким молоточком откалывает куски этой красоты и упаковывает в бумагу.

– А еще были целые горы всякого печенья, баночки, наполненные всевозможными конфетами, яркими леденцами, ирисками, шоколад в картонных коробочках, длинные прямоугольники «Дануси», белый шоколад «Эос», шоколад «Новой Фортуны» – «Сянка», «Тарас», «Одарка»...

– А вторая половина прилавка, – мечтательно говорила Лия, – просто прогибалась под большими кусками масла, шарами и прямоугольниками сыров, банками сардин, селедком-матиас, а у стены на полках – банки с чаем, кофе и какао, баночки со специями...

– И над всем этим царил пан Зумпф, застегнутый на все пуговицы, всегда с вежливой улыбкой, пан Зумпф, невысокий, с короткими, но живыми руками, увенчанными колбасками пальцев, пан Зумпф, «целую ручки, чем могу служить?», открывал тетрадь и записывал покупки, а после клиенты, которые пользовались его доверием, могли раз в месяц все это

оплачивать... И что? Почему ты о нем вспомнила?

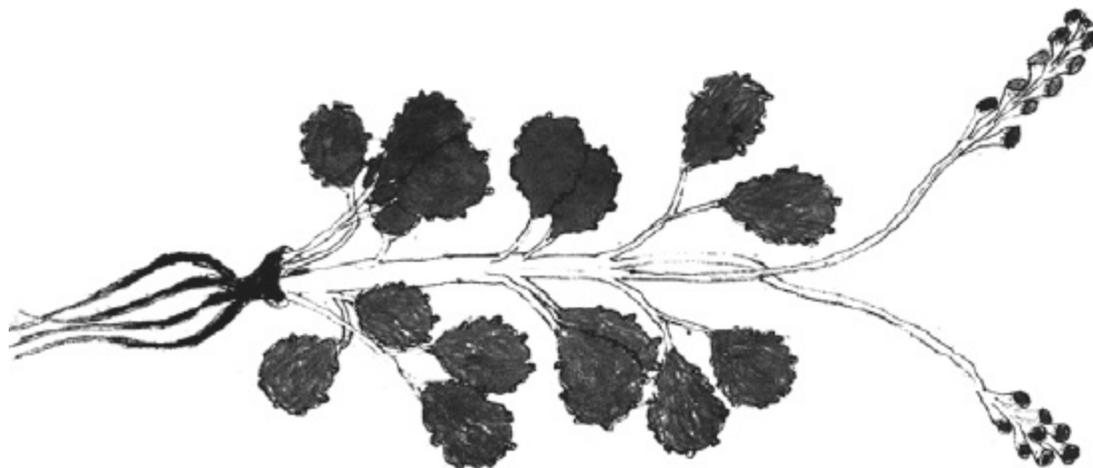
– Я только что оттуда. Шла мимо и заглянула внутрь. Зачем я это сделала? Я разрушила частичку своих детских воспоминаний. – Видно было, что она расстроена, и хоть и отвернулась к окну, я заметил в ее глазах слезы. – Там сейчас ничего этого нет... абсолютно ничего... Там сейчас стоит бочка селедки. Большая картонная коробка со спичками. И несколько ящиков уксуса. Это все... Хотя нет... Там есть соль. Большой деревянный ящик соли, которую набирают тувелькой и заворачивают в газету. Между прочим, селедку тоже упаковывают в газеты. В польские и украинские.

– А пан Зумпф?

– Он по-прежнему улыбается, но улыбка уже не такая... под глазами мешки, он уже не говорит «целую ручки, чем могу служить?», он уже ничего не говорит, когда видит людей, только вопросительно смотрит... но меня узнал... «А-а, панна Лия... приятно вас видеть... как мама?..» Потом подошел, взял меня за руку и прошептал: «Они все забрали... все... приехали ночью тремя грузовиками и забрали... а привезли вот это». Кто забрал? «Милиция. Для себя»... Они ведут себя как разбойники с большой дороги. Захватывают жилье, которое им нравится, а людей вывозят. Конфискуют мебель и вещи. А еще я встретила по дороге свою школьную подругу Двойру, она рассказала о Ребекке, дочери шинкаря Соломона... Ты помнишь ее?

– Еще бы!

– Ребекка примчалась к ней ночью, она сбежала из транспорта, который направлялся в Сибирь. Отец с матерью бежать не захотели. Двойра прячет ее у себя. Просила у меня какую-нибудь одежду. Пойду вечером, занесу. А в шинке Соломона – «Закусочная». А Владислав Залевский, владелец знаменитой кондитерской на Академической, знаешь, кто он теперь? «Кондитерский рабочий», его обязанность – следить за шоколадной массой в котле. А на фризиерне пана Торбы на Городецкой, куда ты ходил стричься, написано «Парик... махер... ская». Неужели это одно и то же?



Ее отец был толстяком с большой, круглой как мяч головой, которую он тщательно выбривал. На короткой шее виднелась массивная золотая цепочка, на одном из пальцев – золотая печатка. Дочь явно пошла в мать – та была еще довольно красивой, сохранила стройность и пышные волосы. Оба вошли в дом, как в музей, сразу стали озираться по сторонам, непонятно, что они здесь ожидали увидеть. Когда сели за стол, разговоры действительно пошли о погоде и потом перешли к политике, будущий сват сетовал на власть, он за них голосовал, а они вон как... Но у него еще все впереди, а потому он советовал бы не торопиться с браком, потому что если его восстановят в должности, он сможет и Марка пристроить, а что – на таможне компьютерчики тоже нужны. К удивлению Марка, эта идея всем пришлась по душе, даже Данка пожалала плечами, а Ярош кивал головой и бормотал что-то о том, что скоро пост, а в пост не годится... Потом разговор снова перешел на политические темы, потому что отец Данки никак не мог успокоиться, что так жестоко были преданы его идеалы, пришлось разочароваться в том, во что верил, хотя он всегда держал руку на пульсе времени и был членом всех подряд провластных партий, но вместе с тем и патриотом...

Ярош слушал его, как врач слушает пациента. Когда тот наконец умолк, мать Данки наклонилась к Ярошу и спросила, не хочет ли он показать ей сад. Он сразу согласился, заподозрив, что это, пожалуй, входит в некий предварительно обсужденный с отцом сценарий, так как тот сразу же стал с особым увлечением рассказывать о том, как, работая на таможне, ездил на охоту в пограничную зону, куда простому смертному хода нет.

– У вас здесь хорошо, уютно, – сказала она, прохаживаясь между деревьями. – Знаете, Данка слишком эмоциональна... Я бы сказала, порывиста. У нее было немало увлечений. Хотя, возможно, это и трудно назвать увлечениями. Словом, прилетает и рассказывает, что познакомилась с кем-то таким... таким... таким... А проходит несколько дней – уже все, сидит дома, на телефонные звонки не отвечает. И так вот продолжается с самой школы. Мы, знаете ли, не вмешивались в эти ее увлечения. Иногда, возможно, что-то подсказывали, советовали. Но она сама очень быстро разочаровывалась. Мы не против, чтобы они с Марком поженились, нет... Но, зная нашу Данку... Однажды она нам заявила, что вообще не собирается замуж. Будет заниматься наукой, а для ученого замужество – смерть. Так и сказала. Смерть!

Она подошла к старой яблоне и погладила шершавый ствол.

– Как я люблю такие старые деревья, они напоминают мне детство. От них исходит какое-то особое тепло, ведь они так много видели на своем веку. Ведь я не ошибаюсь? Этот сад посажен давно?

– Да, в тридцатых годах. Вон та груша, уже полузасохшая, перестала родить, и я собрался ее срубить, и даже срубил уже сухую ветку, а она взяла и снова стала родить.

– Мой дед всегда пугал топором деревья, которые не родили. Странно, что это помогало. Такое впечатление, что деревья что-то слышат... – Она на минуту замолчала, а потом сказала: – А знаете... Мне очень хотелось с вами познакомиться. Я столько о вас наслушалась от нее. Она в восторге от ваших лекций. Представьте себе, даже записывала их на диктофон и потом прослушивала дома. А это ее увлечение арканумским языком... Это так интересно! В самом деле! У меня ведь филологическое образование, правда, я никогда не работала, потому что рано вышла замуж. Но и меня увлекло... Этот удивительный несуществующий мир, который открывается перед тобой отчасти, как айсберг... а большая часть остается, как всегда, под водой... Однажды, когда она болела гриппом, у нее была высокая температура... прошлой зимой... она еще страшно переживала, что пропустит ваши лекции, и уговорила подругу записывать их... Так вот... ночью, а я спала у нее, она начала что-то говорить на непонятном языке... что-то странное, похожее на немецкий, хотя я немецким не владею... А может, это был арканумский... я не знаю... – Она снова замолчала, сделала несколько шагов, подбрасывая носками туфель опавшие листья, потом обернулась и сказала уже сухим тоном: – К чему я все это говорю?.. Данка вся в науке. Она другая. Не такая, как мы. И я понимаю ее. Она – мое невоплощенное Я. Но она все же не я. Она не принесет себя в жертву на алтарь семьи. Ибо знает, что это ее похоронит как ученого, переводчика. Мы, женщины, существа нежные... Нам трудно выжить в бытовых условиях, в клетках... Мы там чахнем и превращаемся в наседок. – И снова пауза, а еще – шелест ветра, треск сороки, глухой звук от упавшего яблока, глаза, устремленные на Яроша, и вывод: – Я не знаю, будет ли она хорошей женой для вашего сына. – Пауза, покачивание на каблуках, ладонь на стволе вишни, тишина, ветер утих, вероятно, тоже прислушивается, и: – Скорее всего, нет. Как-то трудно поверить, что она сможет измениться и принести науку в жертву тихому семейному счастью.

Ярош слушал все это, со всем соглашаясь в душе, и хоть Марко и его сын, но действительность и правда не такая розовая – Данка другая. И совсем недавно она это показала. Она сомневается, колеблется... А тот поцелуй? Что это было? Да и было ли? Но как отец он должен был что-то сказать... Что?.. «Время покажет?»

– Время покажет, – пробормотал он. – Никто никого не торопит. Они не так давно начали встречаться...

– Да, каких-то полгода... Хотя... хотя я со своим мужем встречалась всего два месяца... Но я – это я... Что хотела, то и получила. И по-своему счастлива. Но такие люди, как наша дочь... несколько экзальтированные... должны пройти длительный период знакомства и ухаживания... Разве я не права?

Ярош машинально кивнул, но, спохватившись, что его могут разоблачить, добавил:

– Но ведь мы не знаем еще... не знаем, возможно, мой сын способен принести себя в жертву... науке... то есть своей жене-ученому... Разве такого не бывает?

– Мне не приходилось слышать. Я знаю одно: почти все писательницы, художницы, женщины-ученые одиноки. В крайнем случае, разведенные матери-одиночки. Ну, есть единицы... единицы, которые связали свою судьбу с кем-то, кто близок им по духу... Но это

единицы. А есть и такие, что прикидываются порядочной женой, матерью, а сами таскаются по заграницам и продолжают коллекционировать страсти. – При этом она так выразительно посмотрела на Яроша, что он покраснел: неужели она намекает на ту студентку, которая стала писательницей и описала их отношения? Неужели читала и разгадала, кто есть кто? Ну и пусть, какое это имеет значение, он сам ни на что не претендует.



Базар за Оперным называли не только Кракидалами, но и невесть почему Парижем, не утратил он своего значения и своего имени и во время войны, львовяне продавали здесь массу всевозможных вещей, выстроившись в две шеренги, а между ними ходили покупатели – в основном советские офицеры, солдаты, чиновники и их жены, которые здесь, «в Париже» превращались в европейских дам. Среди продавцов можно было встретить и актеров театра, и директоров банков, и уважаемых профессоров – каждый что-то выносил из дома на продажу и каждый громко расхваливал свой товар. Одни нуждались в продуктах, другие собирали деньги на взятку для освободителей, чтобы спасти кого-то, определенного на выселение в Сибирь. Но Кракидалы привлекали еще по одной причине – именно здесь было место дружеских встреч и источник политических новостей и сплетен, здесь сновали своего рода маклеры, которые умели налаживать контакты с чекистами и работниками тюрем, здесь можно было узнать последние новости лондонского радио и дату и время очередной милицейской облавы, купить немецкий паспорт и найти проводника через границу.

На рынке с утра до вечера разносились возгласы: «Цьмага, баюра, вудзя^[105]!», «Бачевский, Бачевский, Бачевский!», «Баюра, баюра, баюра!», «Цьмага местная и заграничная!», «Сахарин пастилковый! Водка чистая wyborova!». Какой-то веселый человек выкрикивал во весь голос: «Продается средство от клопов, блох, тараканов и всякой другой сволочи. Смерть блохам, смерть вшам и клопам тоже!», но после того, как к нему подошел какой-то товарищ и поинтересовался, кого он имеет в виду, упоминание о «всякой другой сволочи» исчезло.

Предприимчивые львовянки подобрали гору блестящих разноцветных пуговиц, кружев, ленточек, ремней, бальных перчаток, искусственных цветов, цветных приколов и гребешков для волос, декольтированных ночных сорочек и халатиков – и все это выносили на продажу ненасытным советкам, которые такого дива дивного никогда не видывали, а кроме собранных в доме вещей, львовянки продавали еще и то, что приготовили сами, потому что не было такой хозяйки, которая не умела бы испечь торты, пляцки и пирожные, вот и не удивительно, что на Кракидалах можно было встретить и пани профессоршу, и пани адвокатшу, и даже саму пани Пшепьюрскую^[106], которые без всякого смущения торговали вкусностями. Ах, как же ими лакомились дамы из советского рая! На каждом шагу можно было видеть чавкающие рты или измазанные кремами и крошками физиономии офицерских баб. Торговала мамиными пирожными и Миля и жаловалась при этом:

– Из-за этих Кракидал только толстею, да и только. Потому что, если пирожных никто не покупает, мне скучно, и я их ем. А мама пеняет, мол, ей пирожных не жалко, вот только денег не видеть.

Поэтому и неудивительно, что советы, едва прибыв во Львов, тут же начинали

интересоваться, как попасть на Кракидалы, то бишь, как они говорили, «на Кракадилы», здесь можно было купить очень дешево замечательные вещи, и они, приобретя поношенные европейские костюмы и плащи, второпях переодевались в подворотнях и только тогда выходили в город, но это не спасало их от баяров, которые, быстро раскусив непросвещенность освободителей, подсовывали им самый разнообразный чудовищный хлам, убеждая в его исключительной ценности. К этому выгодному гешефту приобщилась и наша четверка, Ясь раздобыл в разбомбленной аптеке клистирные трубки и бакелитовые насадки для резиновых спринцовок, у всех этих приспособлений был маленький краник, позволяющий открывать и перекрывать доступ жидкости из сосуда. Сначала мы не могли просечь Яськину идею, но он нас убедил, что товар – первый класс и должен пойти, если мы будем рекламировать чубарикам эти трубки как выдающееся достижение современной техники в области курения. Так оно и вышло, мы, объясняя, как работает такой усовершенствованный мировой наукой «мундштук», крутили краником в разные стороны перед глазами ошеломленного бойца и убеждали:

– Вот это техника! Хочешь – куришь, не хочешь – не куришь.

После чего солдаты с удовольствием и восторгом курили воткнутые в «мундштуки» газетные самокрутки с вонючей махоркой, беспрестанно крутя эти краники. Когда же наши трубки кончились, нам удалось продать несколько печатных машинок под видом устройства для печатания денег, делали мы это, конечно, в потемках, чтобы клиент не догадался, что его надувают. Потом Ясь рассказал, что он обнаружил у Люции дома большой ящик с поломанными часами и будильниками, которые остались после ее дедушки-часовщика, Вольф этим известием очень заинтересовался и загорелся желанием распродать этот скарб.

– Да кому же ты продашь часы, которые стоят? – спрашивали мы.

– Да кому угодно, – отвечал Вольф. – Нужно только отломать секундную стрелку, чтобы она нам не мешала, тогда подносишь часы чубарику к уху и цокаешь зубами. Вот так: цок-цок-цок!

– Ну, смотри, чтобы он тебя самого не ровен час не цокнул, – засмеялся Йоська, и мы согласились понаблюдать за этой деятельностью Вольфа, пообещав присоединиться, если дело у него пойдет. И что вы думаете? Пошло! Еще как пошло! Кому-то в такое, может, и трудно поверить, но представьте себе человека, который никогда не имел часов и никогда не слышал их тиканья, а надо сказать, что советы просто в раж входили от часов, правда, у них было очень своеобразное представление о красоте и они считали, что часы должны быть большими, и чем больше – тем лучше, поэтому носили на руках впечатляющие луковицы, а некоторые даже пристраивали к запястью будильник да еще рукав подкатывали, чтобы видно было, какой он фунё кацалабский^[107].

Как-то раз произошло чрезвычайное событие, примчалась к нам запыхавшаяся Голда и сообщила, что у них в доме лежит труп, моя мама только руками всплеснула, а бабушка тут же залила кипятком какое-то зелье, чтобы напоить перепуганную Голду, потому что та никак не могла отдышаться и махала платком у лица, из обрывков фраз, которые она то выкрикивала, то произносила шепотом, до нас дошло только одно: труп принадлежал энкаведисту, который уже не раз приставал к Лии, а теперь он выждал, когда она была в доме одна, и попытался ее изнасиловать, и Лия, защищаясь, хряснула его сковородкой по голове, но хряснула не доньшком, а кантом, вот и рассекла ему висок, он лежит плашмя, вытянувшись во весь рост, с залитой кровью харей, и не дышит. Именно в таком неприглядном виде и застали его Голда с Йоськой, вернувшись из магазина. И опять все

взгляды обратились ко мне, давая понять, что моя миссия спасителя еще не завершилась и впереди у меня новые свершения и новые испытания.

– Ну что ж, – вздохнул я, – идите туда и ждите меня, а я помчусь к пану Кнофлику. Глядишь, и на этот раз он нас выручит.

На похоронном заведении пана Кнофлика развевался красный флаг, а на вывеске красовалась свежая надпись «Красный Харон».

– А как ты думаешь? – кивал на вывеску пан Кнофлик. – Теперь это мой оберег. Уже сюда заглядывал не один чубарик да все спрашивал: «Как мне увидеть товарища Харона?» Я отвечал всегда одинаково: «Товарищ Харон на савещании в Маскве». И имею священный покой. А на днях притащился какой-то советский жид и спросил: «А не тот ли это Гриша Харон, который был начальником Житомирского НКВД?» Я кивнул. А он тогда: «Передайте ему привет. Если будут проблемы, я в Госснабжении. Решаю все вопросы».

– Но я к вам снова по очень деликатному делу, – я понизил голос, а пан Кнофлик тут же увел меня в свой кабинет и приготовился слушать. – Голда Милькер опять влипла в неприятную историю, на этот раз из-за дочери. Когда к ним в гости пришел один энкаведист, Лия решила угостить его яичницей, взяла в руки сковородку и только собралась поставить ее на плиту, как энкаведисту приспичило ее обнять, но он поскользнулся на капельке масла и хряпнулся головой прямо в кант сковородки. Да так неудачно, что теперича лежит пузом кверху, а дух его витает где-то над Высоким Замком.

– Вот это да! – покачал головой пан Кнофлик. – Вот так незадача! Мы должны его похоронить чин по чину. И тебе ужасно повезло, потому что у меня как раз имеется очень удобный гроб – глубокий и широкий. Приготовили его для одного имостя^[108], который лежал при смерти, а был он очень крупный, такой толстый, что в ту дверь не пролез бы. Но он передумал умирать и сейчас снова скачет, и жрет макагиги^[109] с марципанами. А гроб стоит. Знаешь, что мы сделаем? Положим твоего гостя снизу, а сверху – пани Топольскую. Думаю, он не будет против, если придется ему лежать под дамой?

– Куда уж там! Это еще тот шалопут был. Ни одной юбки не пропускал.

– Ну, это люкс. Ты только привези мне его сюда.

– Подождите, а семья пани Топольской не будет возражать?

– Какая семья? Нет никакой семьи. Это была одинокая женщина, старая дева, но предусмотрительная, и не забыла отложить деньги на свои похороны. В завещании так и написала: «хочу лежать удобно, просторно и мягко». Все три пункта будут соблюдены. Но скажи: тот гость был в военной форме?

– Ну да, еще и при пистолете.

– Тогда ты должен прихватить для него одежду. Тут в пакете есть замечательный гарнитур пана Цепы, когда его на него надевали, он лопнул на спине по швам, и семья решила купить ему другой, хотя я их убеждал, что для пана Цепы это не играет роли, ведь его спину на этом свете уже никто не увидит. А они знаешь, что мне на это ответили: а на том свете? И я прикусил язык. Ну, бери, – и сунул мне в руки пакет, но все еще не отпускал, потому что ему пришло в голову, что не мешало бы этого нашего гостя загримировать – вдруг по дороге встретится какой-нибудь его дружок, и пан Кнофлик вручил мне в придачу рыжую бороду, седой парик и коробку с красками для лица.

Что вам сказать! Покойник выглядел теперь лучше, чем при жизни. Прежняя его скуластая рожа, налитая кровью, теперь излучала покой, очень хорошо подходя образу умиротворенного и довольного прежней жизнью дедушки, черный гарнитур был впору, как

влитой, а из нагрудного кармашка торчала белая роза. Черные очки довершили картину, и когда «дедушка» оказался в тачке, которую мы с Йоськой толкали перед собой, насвистывая, все прохожие вежливо кивали головами, улыбались, а некоторые даже снимали шляпу, потому что «дедушка» был как живой, и грех было не поздороваться с таким приятным мужчиной. Даже пан Кнофлик залюбовался им и причмокнул с довольным видом, помог нам вынуть труп из тачки и переложить его в гроб. Рядом на столе ждала своей очереди пани Топольская. Она была при теле, одета в темно-синее платье с белыми кружевами, видно было, что приготовила его именно для такого торжественного момента, в восковых пальцах держала образок, а сухие, крепко сжатые губы, похоже, ни разу в жизни не были целованы. Не успел я об этом подумать, как вдруг у всех у нас, кроме пана Боучека, волосы встали дыбом, а пан Кнофлик ухватился за сердце, потому что наш «дедушка» неожиданно ожил и сел в гробу. Он держался руками за стенки гроба и удивленно озирался по сторонам, не в состоянии понять, куда он попал. Потом ощупал свое лицо, снял очки и, еще раз оглядевшись, пролепетал:

– А где я?

Переглянувшись с Йоськой, я уже начал искать глазами какую-нибудь хорошую дубину, чтобы отправить «дедушку» обратно в том же направлении, в котором двигалась его грешная душа, да какого-то черта повернула назад, чтобы доставить нам еще больше неприятностей, но пан Кнофлик остановил меня:

– Подожди, – а потом обратился к «дедушке»: – Мы нашли вас без сознания на улице. Вы помните, кто вы и где живете?

Энкаведист встряхнул головой и стал изучать свои карманы, но там ничего не было.

– А документы у меня были?

– Нет, – ответили мы в один голос. – Ничего не было. Наверное, вы из больницы ушли.

– Из какой больницы?

– Да есть у нас больница, в которой как раз и держат таких, как вы, кто память потерял.

– Да, я ничего не помню. Я что – умер?

Тут пан Кнофлик радостно потер руки, набрал номер кульпарковской лечебницы и сообщил, что нужно забрать полоумного, который, наверное, от них и умотал.

– Сейчас за ним приедут, – шепнул он нам.

– Можно я ишо палежу? – спросил «покойник» и снова улегся в гроб, сложив руки на груди. Так его и застали санитары, приехавшие из сумасшедшего дома. Пан Кнофлик рассказал, что мы подобрали этого человека, когда он был без сознания, думали, что он мертвый, а он ожил и теперь без памяти. Врачи наклонились над гробом и закивали головами:

– Знаем его. Это дурачок Гилько. Сбежал от нас еще лет пять назад. Ну, вставай! – крикнули они ему.

Энкаведист снова встал и оторопело обвел глазами присутствующих:

– Ка-а-к меня завут?

– Да не прикидывайся, Гилько, а то сейчас вгону тебе такой укол, что вспомнишь, как твоя бабка девкой была, – сказал один из санитаров, и после этих слов они подняли его из гроба, подхватили под руки и, ловко облачив в смирительную рубашку, поволокли к машине без окон. Энкаведист продолжал орать что-то невнятное, но никто уже не обращал на него внимания.

– Ага, – подытожил пан Кнофлик. – Осталась наша пани Топольская без кавалера. Как

при жизни под мужиком не была, так и после смерти на мужике не полежала.



В среду после лекции Данка подошла к Ярошу и сказала шепотом, что должна с ним поговорить, Ярош смутился и покраснел, но кивнул:

– Хорошо, встретимся через час у «Мазоха».

Что она собирается ему сказать? Он почувствовал волнение и нерешительность. Когда пришел в кафе, Данка уже ждала его, заняв столик на улице:

– Я заказала нам испанское вино. Может, что-нибудь еще?

– Нет, спасибо. Ваша мама произвела на меня положительное впечатление. Похоже, она ваш преданный друг.

– Это действительно так. Вы на нее тоже произвели положительное впечатление. Кажется, нам удалось без особых потерь выбраться из щекотливой ситуации. – Тут она посмотрела на Яроша исподлобья, а на ее губах заиграла хитрая многозначительная улыбка. Ярош сделал вид, что не заметил ее. Им принесли вино, и он поднял бокал:

– За Арканум?

– За Арканум, – сказала Данка и, пригубив вино, сразу же перешла к делу: – Между прочим, это и есть тема нашего разговора. Вчера у меня была очень странная встреча. Секретарша из деканата сообщила, что меня просит зайти декан. Я пришла. Кроме декана, в кабинете сидел какой-то мужчина. Когда он поднялся мне навстречу, декан сказал, что оставит нас наедине, и вышел, а этот тип сообщил, что он из СБУ.

Ярош не удержался от удивленного возгласа:

– Ха! Он уже и до вас добрался?

– Вы знаете, о ком речь?

– Подполковник Кныш?

– Да.

– Что же он хотел от вас?

– Чтобы я держала его в курсе всех наших исследований, связанных с Арканумом, а еще того, как продвигается перевод...

– «КаэС»?

Данка рассмеялась:

– Он меня этим «КаэС» просто-таки достал! Маразматик какой-то, вам не показалось?

– В отличие от вас, я имел значительно больше возможностей изучать людей, и скажу

вам, что все то, что мы принимаем за чистую монету, – игра, которой они вынуждены овладевать в совершенстве. А особенно Кныш, который по возрасту должен был еще в КГБ работать.

– Ужасно мерзкий тип. Такое впечатление, что, глядя на человека, он его раздевает.

– Ну, это нормально, когда мужчина раздевает взглядом красивую женщину.

– Вы тоже меня раздевали взглядом? – засмеялась Данка.

– Это было на Чертовой скале, – ответил Ярош улыбкой. – Я вас раздел и одел. Сейчас вы одеты, можете не стесняться.

– Ой, спасибо, а то я распереживалась. – Она вдруг наклонилась к Ярошу и прошептала: – Я вам скажу, а вы улыбайтесь и не поднимайте глаз. Сыграем в интим. Вон там на улице прохаживается человек и делает вид, что разговаривает по мобилке, а на самом деле он ждет, когда освободится какой-нибудь столик. Он меня пас от самого университета. – Потом она села прямо и продолжила: – А когда я заявила этому Кнышу, что не собираюсь ничего этого делать, он сказал, чтобы я сначала посоветовалась с папой. Я спросила, а при чем тут папа. А при том, сказал он, что из-за моего упрямства папа, возможно, больше никогда не попадет на государственную службу. Понимаете?

Ярош посмотрел на улицу, мужчина с мобилкой действительно ходил взад и вперед, но как только освободился один из столиков, он поспешил его занять.

– Я думаю, – сказал Ярош, – что мы смело можем этого типа игнорировать. Как и того, за столиком. Чего нам бояться?

– Кныш требовал, чтобы я дала расписку, что буду держать наш разговор в тайне. Я отказалась. А он сказал буквально следующее: «Ну, что ж... Для ваших арканумских увлечений совсем не обязательно еще и студенткой быть. Наоборот, университет у вас лишь отбирает драгоценное время». Я вышла, хлопнув дверью, а только позже поняла, что он имел в виду. Меня могут исключить?

– Не думаю, чтобы дошло до такого. У вас же не было никаких проблем с учебой?

– Нет. Ну, разве что с физкультурой... Там я просто отмазалась... точнее, папа отмазал.

– Может, поговорим о чем-нибудь более приятном? Вы уже выбрали себе тему дипломной?

– Конечно. Угадайте с трех раз.

– Творчество Люцилия на фоне эпохи?

– Ага. И вы – мой руководитель.

– Ну не Кныш же!

Оба рассмеялись, тип за столиком взглянул на них искоса и закурил.

– В воскресенье, – сказал Ярош, – я был слишком взволнован... или раздражен... Не совсем внимательно прочитал ваш перевод жизнеописания Люцилия, написанный Альцестием. Но вчера я наконец вчитался... Мне кажется, вы слишком серьезно отнеслись к тексту... Альцестий в действительности стебется... ерничает... он никогда не был Люцилию другом, всегда считал его своим конкурентом... Это такая же ситуация, какая была у нас с Шевченко и Кулишом. Кулиш написал поэму «Тарас в аду», где подтрунивал и над самим Шевченко, и над Костомаровым. У Шевченко в аду подвешен к шее бочонок с водкой, но выпить он не может, потому что не дотягивается. Нечто похожее видим и у Альцестия. Эти его истории о Люцилии... Это просто какая-то пародия на жизнь... Альцестий, якобы со слов Люцилия, повествует о разных случаях из его жизни, даже из детства. Но там отчетливо просматривается ирония. Если Люцилий ему что-то и рассказывал, то не в такой форме. Ну,

вот вы представляете себе, чтобы сын рассказывал о своей матери как о любовнице короля?

– Что-то такое я и заподозрила, потому что там слишком много таких деталей, которые не произносятся вслух...

– Я позволил себе отредактировать ваш перевод... то есть правки мои были не такими уж и существенными, но, по крайней мере, они отражают, возможно, именно то, что хотел выразить Альцестий. То есть я убрал всю патетику и пышность фраз.

– Ой, а можно посмотреть?

– К сожалению, нет... Я ведь не планировал этой встречи... думал, что в пятницу, когда у нас будут практические занятия...

– Но я не дожидусь пятницы! Я знаю, что вы скажете: пришлю имэйлом. Нет, я хочу услышать отредактированный перевод из ваших уст. Я буду держать в руках свой перевод и сверять с вашей редакцией. И знаете, где это мы воплотим в жизнь? В вашем саду. Под той старинной грушей, которую вы хотели срубить. Мама говорила, что там еще полно груш. Надеюсь, наши головы не пострадают?

Она говорила это со смехом, и глазки ее светились и играли на солнце, Ярош залюбовался ею и, прежде чем что-то осознал, согласился.

– Только знаете, что сделаем? – сказал он. – Вот вам деньги, возьмите и выйдите, будто в туалет, а на самом деле рассчитайтесь. А потом быстро идите на Подвальную. Я вас догоню. Этот тип, пока что-то сообразит, не успеет быстро рассчитаться.

Ярош с удовольствием наблюдал, как неизвестный засуетился, увидев, что он встал, стал махать официанту, но пока тот подошел, Ярош уже свернул за угол. На Подвальной они сели в такси и через несколько минут оказались на Кривчицах, а там Ярош вынес из дома и положил под грушей старый матрас, на котором оба и разместились с вином и рукописями. Пани Стефа на соседнем подворье подвязывала астры, но не забывала время от времени поглядывать в их сторону, улыбаясь при этом с довольным видом.

– Ну что – начнем? – сказал Ярош и принялся читать свою редакцию перевода. – «Палачи и жертвы». Название я оставил ваше, хотя в оригинале было «Лисе а оло» – «Рыцари и головы». И я не уверен, какой из вариантов лучше. Итак, идем дальше...

«В детстве мама ходила с Люцилием в королевский дворец. Там она оставляла его в огромном зале, велел подождать, пока она вернется. Люцилий охотно соглашался ждать, ведь стены были расписаны причудливыми растениями и животными, казалось, что ты попал в густой-прегустой первозданный лес – крупные лапчатые листья, хищные папоротники и вьющиеся стебли таили в себе тела леопардов, и только внимательно приглядевшись, можно было различить их гибкие силуэты, уловить напряженный блеск злобных глаз, а вверху порхали яркие птицы, которых в Аркануме никто не видел. И Люцилий, разинув рот, смотрел на это чудо, и никогда ему не бывало скучно.

А в это время его мать извивалась в королевских объятиях. У короля было немало наложниц, но ни одна не разжигала в нем такого желания, как Анастазия. В первую очередь его доводило до безумия то, что она совсем не стеснялась своей наготы и позволяла рассматривать себя со всех возможных позиций, она сама раздевала короля, укладывала его на постель и лобзала с головы до ног так опьяняюще, что тот закрывал глаза и взлетал куда-то в небеса, чтобы плыть вместе с облаками и исчезать за горизонтом. У других его любовниц не было ни капли подобных фантазий.

Интересно, что дома Анастазия вела себя очень скромно и больше походила на забитую

молчаливую женщину. Ее муж, военачальник Туллий, находился по большей части в походах, дома засиживался редко, а кроме того, был вдвое старше своей жены. Слуги, которым он искренне доверял, берегли Анастасию как зеницу ока и если видели, что она куда-то собирается, тут же набивались в сопровождающие. Поэтому она и брала с собой маленького Люцилия, чем усыпляла бдительность челяди. Мальчик ни разу не усомнился в том, что его мама занята прическами королевских дочерей, ведь именно такое объяснение слышал он из ее уст. Вместе с просьбой никому об этом не говорить. К счастью, Люцилий умел молчать и не выносил из королевского дворца никаких других впечатлений, кроме воспоминаний об удивительном первозданном лесе на стенах.

Как-то Люцилий подошел очень близко к изображению серны, лежащей в траве с перегрызенной плоткой, из которой текла кровь, и коснулся пальцами раны, словно хотел заживить ее. Рука невольно надавила на стену, и тут же отворилась дверь. Люцилий, не раздумывая, шагнул в полумрак комнаты. То, что он увидел, запомнилось ему на всю жизнь. Посреди комнаты стоял дубовый стол, а вокруг него сидело семь рыцарей, все они неподвижно застыли с протянутыми руками, сжимающими деревянные кружки, на столе в мисках чернело и зеленело неведомое, прорастая буйной зеленью.

Люцилий крадучись прошел мимо рыцарей и толкнул дверь в противоположной стене. На этот раз его взору предстал зал, заваленный отрубленными головами. Однако, в отличие от рыцарей, головы не лежали без движения, они вращали глазами, моргали, щурились, скалили зубы, смеялись, визжали и сопели, а когда увидели Люцилия, то вдруг, как по команде, зашипели, зарычали и защелкали зубами, а некоторые даже покатались к мальчику, пытаясь укусить за ноги.

Почему-то подумалось, что головы эти отрубили именно те уснувшие рыцари. Не дожидаясь, пока острые клыки вцепятся ему в икры, Люцилий опрометью выскочил из зала и захлопнул дверь. Вслед ему неслись проклятия и брань. Пробегая мимо рыцарей, мальчик зацепился за чей-то меч, достигавший пола, и упал прямо на ногу рыцаря. Враз все семеро ожили и медленно-медленно стали подносить кружки к губам, но в момент, когда кружки коснулись уст, их десницы снова замерли и больше не шелохнулись.

Люцилий выбежал из комнаты. И как раз вовремя – появилась его мама.

– Мама! Мама! Что я видел! – закричал мальчик.

– Тихонько! – коснулась она пальцем уст. – Здесь нельзя шуметь. По дороге все расскажешь».

– Ну, вот видите, – завершил чтение Ярош, – будто бы то же самое, да все же не то. В оригинале нет ведь и намека на то, что это записано со слов Люцилия, а у вас дважды после имени Люцилия употреблено слово «говорит»... Действительно, иероглиф «кт» можно читать, как «кайте» – говорит... Но не в тех случаях, когда над ним черточка, потому что это уже «кайяте» – подошел, приблизился...

– А-а, я подумала, что черточка относится к тому иероглифу, над «кт»... Эти черточки над и под иероглифами одинаковые.

– Если вы внимательно присмотритесь, то убедитесь, что черточки вверху уже тех, что внизу. Поэтому у вас закралось еще несколько ошибок.

– Потому что вы эти иероглифы напечатали так мелко, как маковое зернышко. Хоть бери и под лупой читай, – надула губки Данка. – Стихи Люцилия я перевела без ошибок, потому что там вы так не мельчили.

– Я везде старался передать не только сам текст, но и то, как он выглядел на табличке. Стихи были написаны на более узких табличках, поэтому и иероглифы разместились свободно. А тут более широкие таблички. Может, вам действительно стоит носить очки? – улыбнулся Ярош.

– Издеваетесь? – теперь она окончательно надулась. Но лишь на минутку, и снова предъявила упрек: – А почему «райские» птицы стали «яркими»?

– Какой рай мог быть в воображении язычника?

– Но ведь эти птицы так и называются – «райскими»...

– Сейчас да, а в те времена это было невозможным. Арканумцы не имели никакого представления о рае.

– А я вам скажу, – перебила их пани Стефа, оказавшись вдруг у самой сетки, – что там, в раю, мне уже и место заготовлено. Даже во сне не единожды видела. Жаль только, что не встречусь там со своим покойным мужем.

После этих слов она поковыляла в глубь сада, а Ярош и Данка, переглянувшись, отправились в дом.

– Я есть хочу, – заявила девушка.

– У меня нет ничего готового, но могу нажарить дерунов. Есть замечательная простокваша.

– Деруны? Это долго! – поморщилась Данка.

– Какое там долго? Минут двадцать.

– Не может быть. Моя мама готовит деруны часа два.

– Ну, если семья большая...

– Где там! Три человека.

– А я приготовлю за двадцать минут.

– Хорошо, я засекаю время. Если не успеете, дадите мне почитать книжку, которую я сама выберу.

– А если успею?

– Ну-у, тогда... тогда... Тогда получите то, о чем и не догадывались. Увидите невиданное, услышите неслыханное, отведаете неотведенное.

– Еще один мамин пляцек?

Данка рассмеялась и покачала головой:

– Никогда не угадаете. Время пошло.

Ярош выбрал четыре крупные картофелины, быстро помыл их и почистил специальным ножом с подвижным лезвием, который привез из Америки, нож послушно двигался по всей поверхности картофеля, состригая длинные пряди кожуры так, что спустя минуту картофель был почищен. Еще раз его ополоснул и принялся тереть на мелкую терку, крепко прижимая, благодаря чему картофелины прямо на глазах расползались и уменьшались в размере. Потом поставил на огонь две чугунные сковородки, влил немного масла, а тем временем добавил к тертому картофелю яйцо и ложку муки, посолил, перемешал и стал выкладывать деруны. На сильном огне они жарились только по полминуты с каждой стороны, не прошло и двадцати минут, как миска с дерунами оказалась на столе. Данка была поражена.

– Вам нужно выступать в кулинарных шоу, как Джейми Оливер.

– Вы тоже смотрели его передачи?

– Я в восторге от него, он так все ловко делает. Хотя я и не готовлю, но с удовольствием просмотрела весь сериал. Вы выиграли. И вас ждет сюрприз.

– Прекрасно. Но, может, сначала перекусим?

Ярош разлил в чашки простоквашу, и деруны захрустели на зубах, Данка всем своим видом демонстрировала, как это все вкусно:

– У моей мамы они какие-то не такие... Тоже вкусные, но не такие...

– Это, между прочим, одна из величайших загадок: почему у каждого, кто бы их ни готовил, деруны выходят разные? Я даже когда-то колебался: чему себя посвятить? Изучению мертвых языков или исследованию дерунов?

– Боже мой! – театралью заломила руки Данка. – Защитив диссертацию на тему дерунов, вы бы преподавали в каком-нибудь кулинарном техникуме, и мы никогда бы не познакомились.

– Почему нет? Вы бы познакомились с Марком. А Марк познакомил бы вас со мной.

– Но чем бы меня мог заинтересовать деруновед? Или же дерунолог?

– Ага, я вас интересую только как арканумолог?

– Не только. Но об этом позже, – с загадочной улыбкой сказала девушка.

Когда они поели, Данка собрала тарелки, помыла их, а потом исчезла в ванной. Ярош налил себе вина и выпил его залпом, почувствовал, как колотится его сердце, что-то заставляло его волноваться, что-то, что должно было вот-вот произойти, предчувствие этого неизвестного пугало его и внушало сомнение, стоит ли поддаваться, не пора ли, пока не поздно, вырваться... и сбежать, забиться куда-нибудь в угол...

Вот и Данка, на ее лице играет радостная улыбка, она приближается к нему медленными шагами, и он видит, как из платья выпирают ее груди, как вырисовываются ее бедра, и он не в силах отвести глаз, а она не останавливается, она приближается вплотную, обвивает его шею своими тонкими руками, и снова он чувствует на своих губах ее поцелуй, но на этот раз поцелуй длится долго, он отвечает на него, его руки обнимают ее за талию, он прижимает Данку к себе, ее язычок проникает к нему в уста, дрожит и щекочет, он чувствует ее грудь на своей груди, она прижимается к нему своим животом все крепче, и все там в нем напрягается, упирается в нее, прямо в ту ложбину, что между ногами, тогда его ладони медленно опускаются по ее спине, не задевая ни за одно препятствие, потому что под платьем ничего нет, ладони ложатся ей на ягодицы, сжимают, и тогда она вдруг, повиснув на нем, поднимает ноги и обвивает его тело, и пока он несет ее к кровати, они не размыкают ни объятий, ни уст, ни рук, ни ног, и они падают на постель, она высвобождает его член и принимает в свой жар, в свой мед, в свой рай, и тогда он наконец получил то, о чем не догадывался, увидел невиданное, услышал неслыханное, вкусил неизведанное.



Во Львове сущий Вавилон, население выросло вдвое за счет беженцев из Польши и колонизаторов из Союза, все чаще можно видеть синие и зеленые фуражки энкаведистов. Снуют по улицам красноармейцы, которые своими серыми лицами напоминают чахоточных, взгляд у них тупой и хмурый, сапоги у всех тяжелые и грязные, старшие чины одеты чуть лучше и выглядят более сытыми, но теперь все они заняты только одним: закупить дефицита, которого в жизни своей не видели. Во всех ресторанах и кафе, которые превратились в до отказа переполненные «закусочные» и «чайные», полно большевиков, которые только то и делают, что жуют, жуют и жуют, пожирая все без исключения, и это неудивительно, ведь когда уравнили рубль со злотым, то обед за два с половиной рубля кажется сказкой, а к тому же советские женщины готовить не умеют, и почти все семьи питаются в столовых, во львовских кофейнях и комнатах для завтрака воцарился специфический запах, которого прежде тут не было, завис едкий дым от махорки и стало раздаваться громкое чваканье, чавканье и хлебание, кто-то сморкается прямо на пол, зажав одну ноздрю большим пальцем, кто-то сплевывает во время еды, почти все вытирают жирные губы рукавами, смачно отрыгивают и ковыряются грязными ногтями в желтых зубах. Галичане стараются обходить стороной такие заведения, чтобы эта какофония звуков не портила им аппетита, предпочитают пройтись чуть дальше от центра, где в маленьких переулочках можно еще отыскать «закусочную», не оскверненную кирзовыми сапогами.

Советские люди, прибывшие в Галичину, вызывали у нас изумление, они совсем другие, они не привыкли здороваться на улицах, приподнимая шляпу или фуражку, не просят прощения, если кого-то толкнули, везде, где есть очередь или большое скопление людей, ведут себя, как дикари, ругаются и хамят, а самым популярным словом среди милиции, дворников и вообще любого советского чиновника является «давай»: «давай назад», «давай вперед», «давай прахади», и всем они тыкают, независимо от того, какого возраста человек, войдя к галичанам в дом, никто из них не снимет шапки. Простых рабочих по внешнему виду они принимают за инженеров или даже за буржуев, потому что те одеты гораздо лучше их служащих.

– Вы заметили, как выглядят их женщины? – спросила Рута, когда мы однажды вечером всей своей компанией сидели в «Атласе», доживавшем уже свой звездный час, и делились впечатлениями о наших освободителях. – Все в красных беретах, надвинутых до бровей, лица неприветливые, тонкие губы, серые и заспанные глаза, худощавое накрашенное лицо, длинная узкая юбка, френч и сапоги. Свою принадлежность к «классу» интеллигенции обозначают коротко подстриженными волосами и грубо накрашенными губами. Наша Галичина кажется им сказочной страной. У нас поселилась одна дама из «Укрстраха», жидовка, но ни слова по-

нашему не может. У нее был при себе маленький чемоданчик, а в нем – ты бы видел! – такое тряпье, у нас им разве что полы бы мыли. Было там две пары хлопчатобумажных трусов до колен, которые у них называются довольно загадочно «блюмерс». Обе – ярко-васильковые. Как потом оказалось, те, что были на ней, были такого же цвета. Но особенность этих трусов в том, что у них вместо резинки длинная хлопчатобумажная тесьма, которую она должна трижды обернуть вокруг талии. Можете себе представить, какая роскошь для женщины! Пояса для подвязок к чулкам сшиты из отбеленного полотна, лифчиков вообще нет. Чулки у нее такие блестящие, просто глаза слепят, а еще – они не связаны до самого конца, на кончике у них имеется дырка, через которую видны пальцы. Мне ее стало жалко, и я ей подарила пару трусов, так она их просто-таки к лицу прижимала на радостях. А вчера наш курс повели в театр на пьесу Корнейчука «Богдан Хмельницкий». Театр переполнен. Куча всяких клерков и старших чинов Красной армии. И немало советских женщин, которые уже успели принарядиться в наших магазинах. Но ты бы видел, какое это было зрелище! На одних – длинные вечерние платья, скользящие по голенищам кирзовых сапог, на других – муслиновые платья светло-розового цвета, и ни одна даже не догадывается, что это женские ночные сорочки! А третьи надели на себя ночные вышитые сорочки «милянез», с большим декольте. В отсутствие лифчиков, особенно если наблюдать за этим с балкона, картина открывается незабываемая. А когда в таком «платье» товарищ попадала на просвет, можно было разглядеть, какое у нее исподнее, а там – зачастую не польские тоненькие трусики, а советские майталесы до колен.

– Наша новая преподавательница, которая приехала из Харькова, накупила себе всяких нарядов и теперь каждый день дефилирует в чем-нибудь новом, – подхватила Лия. – Однажды пришла в шифоновом платье, в другой раз – в новом хала те, потом – в матросской блузке и плиссированной юбочке, как какая-то гимназистка, но вершиной ее гардероба было, конечно, длинное до пола вечернее платье с вырезом на спине по самую талию, и когда она слишком резко двигалась, то из выреза выглядывал краешек голубых майталесов. Наши не могли удержаться, чтобы не хихикать, а она, бедняжка, не могла понять причины и только психовала.

Тут уже каждый из нас нашел, что сообщить на эту благодатную тему.

– А я слышал, что «ответственные работники», которые поселились в гостинице «Жорж», однажды явились на завтрак в ресторан в пижамах. Официанты их деликатно выпроводили со скрываемым злорадством. Сейчас каждый наш самый бедный пролетарий стал чувствовать себя культуртрегером по сравнению с дикарями-азиатами.

– А слышали шутку? Почему большевички носят красные береты? Чтобы вши тоже имели свой «красный уголок».

– Ну, это шутка, а я вам правдивую историю расскажу, видел собственными глазами. Спрашивают какого-то большевика: «А мука у вас есть?» – «Есть, много!» – «А сахар?» – «О! Сколько угодно!» – «А керосин?» – «Есть, много, много!» – «А Копенгаген?» – «Сколько хатишь!» А другого спросили: «А апельсины у вас есть?» – «А то как же». – «А где же их делают?» – «Так на фабриках».

– А я вот ехал в трамвае и поинтересовался у красноармейца: «А у вас можно купить косинус?» А тот и не задумался: «Да, есть в магазинах». – «Ну, и почему?» – «По три рубля фунт». Нынче утром иду мимо памятника Яну Собескому. Как известно, все советы думают, что это памятник Хмельницкому и фотографируются на его фоне. Иду и слышу – один другому говорит: «Ты сматри, и здесь памятник Хмельницкому!» А поляк ему на это: «То

пшечеж не ест Хмельницки, але Собески!» – «Ну, канешна, советский Хмельницкий, советский. У нас всё советскае».

– Ой, слушайте, а со мной что сегодня было! Тот придурковатый капитан, что у меня поселился, угрожал мне пистолетом за саботаж. Я говорю: да что стряслось? А он ведет меня к клозету, дергает за цепочку и верещит, что вода не течет непрерывно, поэтому он никогда не успевает голову помыть.

– Да, ты не первая, кто рассказывает, что они унитаза используют как умывальник, даже воду из него пьют и еще жалуются, что он слишком низко. По соседству с нами поселилась офицерская семья, и вот как-то раз офицерша пригласила меня на чай. Сидим, болтаем о чем-то, потом она встает и говорит, что сейчас сделает еще кипятку, и с чайником отправляется за водой, но не на кухню. Через минуту вынесла откуда-то полный чайник и понесла на кухню. Это мне показалось подозрительным, и я спросила, где она берет воду. «Да там, в комнатке». – «У вас там есть кран?» – «Да с радничка». – «Какого срадничка?!» – опешила я. Тут она заводит меня в клозет, а там, кроме белой раковины, ничего нет.

– Да, и при этом еще считают, что уровень культуры в Галичине очень низкий, потому что тут нет вошебоек. Просто не понимают, как львовяне могли обходиться без такого ценного учреждения. А теперь невозможно уладить любое административное дело без свидетельства о том, что ты прошел обработку против вшей. Кто-нибудь из вас уже был в этой вошебойке на Рутовского? А то я слышал, что каждый, кто там побывал, прокликает ее на чем свет стоит за одежду, испорченную какими-то ужасно вонючими дезинфекционными средствами и горячим паром.

– Ну, слушайте, это ведь монголы какие-то. Все, чего не понимают, – уничтожают. У них, видите ли, вызвали раздражение машины в лавках, на которых резали ветчину, колбасу, сыр. «Кто это выдумал так тонко резать?» И машины исчезли.

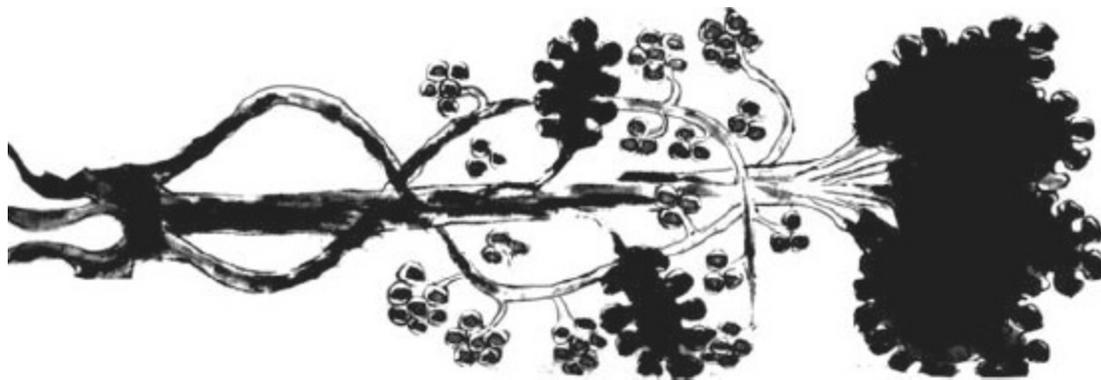
– А ко мне подходит красноармеец и спрашивает: «Вы инженер?» Да какой там инженер, говорю. «И так харашо адет?» А я, верите, в том же самом, что сейчас на мне, – в свитере.

– Что и говорить, наша бедная прислуга выглядит одетой богаче, чем жена офицера. Когда у нас уже не стало возможности держать прислугу, пошла наша Верунька в услужение к советскому полковнику. Его жена, прознав, что у ее прислуги в сундуке куча рубашек, платьев и обуви, не могла поверить, что все это она приобрела сама, и обвинила ее, что та якобы обокрала предыдущую хозяйку. Верунька вынуждена была призвать нас в свидетели, и мы подтвердили, что все это она купила себе сама. И тогда баба устроила скандал мужу, что у нее, жены полковника, есть лишь одна драная сорочка. Визжала, как обезьяна в джунглях. Полковник так разозлился, что выгнал ее. А потом взял и женился на нашей Веруньке, и теперь она пани полковничиха.

– А один офицер привел на базар жену и заинтересовался шляпами, которые распродавались с большой скидкой. Шляпы уже вышли из моды, но офицерская жена по этому поводу не переживала, потому что ничего подобного она все равно за всю свою жизнь не видела. Продавец пытался помочь ей выбрать шляпу и при этом давал советы: «Тен капелюш пенькны, але пани бардзо бляда^[110]». Офицер, поняв лишь последнее слово, выхватил револьвер и закатил истерику. Еле-еле его успокоили.

– Они привыкли, что у них там все дефицит. Вчера на Кракидалах подходит солдат к бабе, которая булочки продает, и спрашивает: «Можно купить?» – «А чего ж нет? – отвечает баба. – Покупайте, пожалуйста». Солдат недоверчиво подходит ближе, робко берет булочку и

снова спрашивает: «Можно?» Потом платит, но через минуту возвращается и спрашивает: «А можно еще одну булку купить?» – «Можно», – говорит баба. Он прячет в карман и вторую булку и спрашивает: «А третью можно купить?» – «Можно и третью, и четвертую, хоть все». Солдат вылупил глаза и процедил сквозь зубы: «Вот как тут живут, можно купить, сколько угодно».



Генерал выключил диктофон, откинулся на спинку кресла, закурил, взглянул сквозь легкие клубы дыма на подполковника Кныша и вздохнул:

– Ну, я так понял, что у тебя дело не продвинулось. Ни Курков, ни Профессор ничего путного тебе не рассказали.

– Работаем. Разрабатываем также его студентку и старого еврея. Со всеми проведены беседы.

– Все это очень медленно продвигается. А мне тут все чаще сообщают о появлении людей, которые вдруг начинают вспоминать что-то из своей предыдущей жизни. Как назло, она пришлась именно на военные и послевоенные годы. Уже из Киева звонили, спрашивали, что это за херня. Мол, у нас же сейчас новая политика, сглаживаем все острые углы с Россией, а тут опять – Катынь, расстрелы заключенных, большевистский террор... И все это из уст очевидцев! Откуда это берется?

– Это все из-за той музыки. Мы стараемся таких людей изолировать... ну, особо активных... На Кульпаркове для них отвели отдельное помещение. Пусть себе делятся воспоминаниями в своем кругу. Там у нас есть «Сектор А» и «Сектор Б». В «А» находятся определенно сумасшедшие, среди которых трое Вечных Жидов, так сказать Агасферов, два Нострадамуса, один пророк Вернигора и одна Михальда.

– А эти двое – кто они такие?

– Вернигора – легендарный пророк, живший в XIX веке, а Михальда – была такая очень популярная перед войной вещунья, которая жила в библейную эпоху. Они рассказывают всякие истории из прошлого, которые видели собственными глазами. А в «Секторе Б» – там уже люди, которые действуют под своими именами, но вспоминают только то, что видели в предыдущей жизни.

– А между прочим, я припоминаю интересный случай, – сказал генерал. – Это было где-то в начале 60-х. Получаем мы письмо из психиатрической лечебницы: так, мол, и так, я, лейтенант НКВД Калесниченко Василий... в декабре 1939-го в результате травмы потерял память и оказался в больнице для умалишенных на Кульпаркове под именем Илько Дубневич. Впоследствии память ко мне вернулась, я вспомнил, кто я такой, но мне не верят. Ну, мы проверили – был такой Калесниченко Василий, который пропал без вести в декабре 1939-го. Считалось, что его замордовали подпольщики. Приехали мы к этому больному, допросили... Назвал он нам всех своих бывших начальников, сослуживцев, описал расположение кабинетов в московском наркомате. Словом, все сошлось.

– И что? Его выпустили?

– А зачем? Почти все, кого он вспомнил по своей службе, были либо расстреляны, либо погибли на фронте. А сам он клялся-божился в своей любви к Сталину. Что с таким было делать? Оставили в психушке. А вот теперь я и думаю: а не был ли это аналогичный случай?

Генерал наклонился, открыл дверцу в тумбе стола, вынул бутылку «Мартеля», наполнил две рюмки, одну протянул Кнышу:

– Без ста граммов не разберешься... Я понимаю так. Эта, скажем, чудодейственная мелодия «Танго смерти» звучала перед тем, как те люди в своей предыдущей жизни погибли. Так?

– Выходит, что так, – кивнул Кныш, выдыхая проспиртованный воздух.

– А звучала она в Яновском концлагере. Так? – Кныш кивнул и напрягся, пытаясь уловить ход генеральской мысли. – А исполняли эту мелодию еврейские музыканты. Так? – Кныш кивнул и тоже закурил, чтобы не выдать своего волнения. – Исполняли ее, когда немцы ликвидировали гетто. Значит... – Генерал налил по второй рюмке. – Значит, все те, кто слышал ее перед смертью, а теперь услышал снова и вспомнил свою предыдущую жизнь, евреи?

Кныш наконец уловил нить и вцепился в нее зубами, но генерал умолк, ожидая ответа.

– Нет, не обязательно. Я, видите ли, глубоко изучал этот вопрос. Национальность здесь ни при чем. Играет роль только пол. Человек может возродиться впоследствии кем угодно, пусть хоть студентом из Зимбабве. Есть только один нюанс. Людей, которые общались в предыдущей жизни, которые были близки или были родственниками, в следующей жизни какая-то сила снова притягивает друг к другу, они, сами того не осознавая, снова вступают в контакт, дружат или влюбляются.

– А возраст? Возраст играет роль?

– Нет, как это ни странно. Человек может встретить свою предыдущую жену и в образе сверстницы, и гораздо моложе. Мать может встретить сына, который будет старше нее. Не знаю, от чего это зависит.

– Так у вас что там – даже пары супружеские?

– Нет, вы забыли, что для того, чтобы кто-нибудь из этих перевоплощенных людей прозрел, он должен услышать мелодию. Если услышал кто-нибудь один, то он и прозревает, только он один. Ему не дано узнать в ком-то близкого человека из предыдущей жизни, пока тот человек тоже не прозреет.

– Пока тоже не услышит эту мелодию?

– Да.

– И все эти данные...

– Из трактата Калькбреннера, я вам уже докладывал.

Генерал кивнул и снова разлил в рюмки коньяк.

– Но откуда эта музыка? Кто ее исполняет? Где ее можно услышать? Вы с этим разобрались?

– Пока нет. Мы получаем противоречивую информацию. Например, узнаем, что исполняли это танго в таком-то ресторане, допрашиваем музыкантов, берем ноты – не то. Люди, которые, скажем так, прозрели после того, как слышали эту мелодию, точно припомнить, где именно ее слышали, не могут. Дело в том, что на них внезапно сваливается та их предыдущая жизнь – все знания и воспоминания. Для многих это шок, и то, что произошло в течение последних часов, они не помнят. Кое-кто вспоминает, что шел по улице, и вдруг – слышит мелодию, которую слышал перед смертью, и – бац! – он уже не тот,

кем до сих пор себя осознавал. Более того – начинает огорошивать своих близких какой-то невероятной информацией. А в придачу еще и искать таких же, как он, потому что в нем пробуждается невероятная тоска по тем, кто был для него дорог, кого он оставил в день своей смерти. И такие люди самые опасные.

– А бывает такое, что кто-то вспоминает не только последнюю предыдущую жизнь, но еще и другие, предыдущие?

– Конечно. Правда, редко... Тогда человек вдруг открывает для себя, что понимает еще какой-то язык, кроме родного, или начинает использовать слова, которые вышли из употребления.

– Вы, когда говорили с Профессором, сообщили ему об этих случаях?

– Нет, что вы! Я только рассказал об одной даме, которая оказалась на Кульпаркове и принялась выкрикивать испанские фразы. Но это все, что мы от нее заполучили. Мы не можем установить точные ноты, чтобы самим провести успешный эксперимент.

– А трактат?

– Понимаете, мы не все еще расшифровали. Есть несколько нот, которые не поддаются расшифровке. Точнее, две из двенадцати. А без них эффект лишь частичный. Неполный. Да и к тому же их может исполнить только истинный виртуоз, а различить не может никто.

Генерал удивленно наклонился вперед:

– Как – никто?

– Я имею в виду – осознанно... Эти ноты – как двадцать пятый кадр. При желании их можно встроить в любую мелодию. Но унтерштурмфюрер Рокита любил именно танго, вот они эти ноты туда и вставили. У нас сейчас на мушке находится Профессор, т. е. его работа над «КаэС». Возможно, разгадка кроется там.

– А он что?

– Говорит, что еще не завершил исследование. Хотя, возможно, и врет.

– Вы же понимаете, что всегда нужно держать руку на пульсе... И вмешаться именно в тот момент, когда он завершит работу. Ни на день позже. После этого – ясное дело, все его наработки должны оказаться у нас. Любой ценой. Вы в курсе, что мы его еще при Союзе допрашивали?

– Нет, – удивился Кныш. – Впервые слышу.

– Я так и знал. К сожалению, вся документация в 1991-м перешла в Москву. Так вот – мы уже тогда заинтересовались его арканумскими увлечениями и посоветовали, поскольку это стратегическая проблема, чтобы больше он этим не занимался. Он пытался объяснить, что Арканум, как и другие древние культуры, это его специализация. Тогда ему вручили первый том «Большой Советской Энциклопедии» и предложили найти статью «Арканум». Он и не искал, потому что хорошо знал, что ее там нет. Тогда ему сказали: «Чего нет в “БСЭ” – того не существует вообще. Об этой цивилизации не написано ни в одной советской книжке. Откуда вы черпаете информацию?» Он объяснил, что из источников, которые были опубликованы ранее, а также из зарубежных. Тут его и взяли за жабры: «Какие такие зарубежные источники? Кто вам их поставляет?»

– А он что?

– Оказалось, что эти источники легальные. Некоторым научным библиотекам было разрешено получать научные журналы из-за границы. Конечно, эти библиотеки были не у нас, а в Москве. И в этих источниках были только снимки арканумских текстов, ничего больше, потому что никто их не мог расшифровать... Вот он и мотался туда и копал, копал...

В Москве и Берлине Арканумом занимались еще с 30-х, годами бились над расшифровкой. Но цель-то была какая – расшифровать тексты и использовать их, не обнаружив при этом. А он сам всего добился, опубликовал, прославился... Ну, да теперь уже другая ситуация. Должны перехватить.

Кныш, очевидно, почувствовав всю значимость своей персоны, если сам генерал угощает его, закинул ногу на ногу и закурил, потом опрокинул рюмку и сказал:

– У нас был такой план. Подсунуть ему студентку, которая а) будет красивая, б) будет иметь слабое место, благодаря которому можно будет на нее надавить. Мы нашли такую студентку методом глубокого исследования. После этого занялись его сыном. Он любитель покурить травку. Вот его и взяли на горячем. А потом поставили задачу: закадрить ту девушку и познакомить ближе со своим отцом. А между тем ее отца, который работал на таможне, мы уволили. Но вышла накладка... он, то есть сын Профессора, втюрился в нее... Правда, ситуация сама собой разрулилась, потому что она в свою очередь втюрилась в Профессора. Но оказать на нее влияние мы не смогли. Разговор оказался безрезультатным. Я даже намекнул ей, что она может вылететь из университета...

– Ну, это вы зря. Не те времена.

– Да-а, были времена! Один звонок – и вопрос решен.



Вскоре освободители принялись освобождать львовян от их жилья и имущества, они приезжают целыми семьями, всего лишь с одним-двумя картонными чемоданами, и заполучают себе жилье, обычно грубой силой с помощью милиции. Началась эпоха уплотнения, хозяевам оставляют одну-единственную комнату и превращают квартиру в коммуналку, и это в лучшем случае, потому что, когда двинулись транспорты на восток, то для того, чтобы попасть в списки на отправку, не обязательно было проявить себя врагом пролетариата, достаточно было иметь дом или квартиру, которые понравились какому-нибудь начальнику, или иметь хорошую мебель, и тогда всей семье предлагали подброду-поздорову упаковать пару чемоданов и ушиваться подальше от центра, хоть и в землянку, или забирали ночью, бросали в товарняк и отправляли в Казахстан. А заграбастав новое жилье, освободители первым делом выбрасывали из него в подвал книги – и те, что «на непанятном языке», и те, что «на панятном», но изданные украинскими националистами, – позже, зимой, они топили ими печки. Особую ненависть у братьев с востока вызывали зеркала, которые ни за что не желали расставаться с отражениями своих бывших хозяев и время от времени пугали новых хозяев неожиданными видениями, будто с того света, хотя на самом деле все же с этого, и не один офицер или его баба впадали в истерику, заметив промелькнувшее в зеркале отражение чужого лица или как чья-то фигура вдруг вынырнет в глубине и исчезнет, чтобы спустя какое-то время юркнуть тенью снова, мебель тоже приобщалась к тихому сопротивлению зеркал и не давала покоя, она скрипела, громко трещала среди ночи, вгоняя хозяев в ступор, заставляя подскакивать и прислушиваться, косяки нагло подстерегали и коварно подставляли свои канты, о которые можно было так больно удариться плечом или лбом, порожки, поднявшиеся вверх, чтобы сделать подножку, водопровод и канализация забивались, плитка в ванной покрывалась слизью, на которой скользили босые ноги, а в трубах иногда слышался шепот, угрожающий и неразборчивый, шепот, который потом еще долго стоял в ушах и не выветривался... И тогда новые жильцы, горя жадной мести, выламывали паркет и растапливали им печки, крушили мебель, а все, что в этих квартирах было ценного, продавали, и, разорив до основания, переселялись известным уже образом в другую квартиру, но и там, и там их подстерегали подножки и ловушки, и в своей бессильной ярости они проклинали этот ненавистный мир, который заграбастали, но не покорили...

Поэтому и не удивительно, что для львовян было большим счастьем заполучить в квартиранты какого-нибудь военного или милиционера, который бы их при случае защитил, никто не чувствовал себя в безопасности, но каждому казалось, что именно он не имеет никаких оснований для того, чтобы чего-то бояться, так же думали и мы, пока не явилась к

нам поздним вечером пани Конопелька и не сообщила, что мы все трое, кроме Йоськи, находимся в списках на арест. Я – потому что меня уже задерживала польская полиция по подозрению в покушении, Ясь – потому что знают, что он унтер-офицер, а Вольф – потому что он немец. Все очень просто. Пани Конопелька посоветовала этой же ночью исчезнуть и сообщила, что на станции в Зимней Воде нас будет ждать проводник. Мама моя – сразу в слезы, но пани Конопелька быстро ее привела в чувство и велела собирать одежду, белье и продукты, а мне приказала бежать к Яське и Вольфу.

Дядя Яськи отвез нас на машине к Зимней Воде, как раз светало, на путях стоял одинокий вагон, у вагона ждал какой-то человек в сером плаще, он махнул нам рукой, и мы сели в вагон, где уже было несколько человек с торбами. Примерно час спустя подъехал поезд, вагон прицепили, и мы тронулись. Ехали часов пять, а когда наконец остановились, то при выходе заплатили за переезд. Проводник собрал всю группу, и мы отправились между домами, огородами, пока не остановились передохнуть в каком-то сарае, там достали еду и перекусили. Потом стали ждать, пока стемнеет, и снова двинулись в путь, но на этот раз шли уже не так долго и вскоре оказались в доме, где жили родители нашего проводника, а село было как раз напротив Ярослава, оставалось лишь перебраться на другую сторону Сяна. По мосту перейти мы не могли, потому что у нас не было пропусков, поэтому наш проводник перевозил людей в лодке, которую тут «лодкой» никто не называл, а только «крыльями», а там уже ждал человек, который отправлял в Ярослав. На тех перевозках и переходах зарабатывали все – железнодорожники, проводники, перевозчики, хозяйка сарая и даже родители проводника.

Переночевав в сарае, мы узнали, что должны подождать, потому что «крыльев» еще не было, хозяйка предложила нам обобрать «крумпли», так она называла картошку, а если доплатим, так еще и мяса может дать. Когда стемнело, прибежал проводник, велел брать торбы и быстро следовать за ним. В лодке была куча каких-то мешков, очевидно с контрабандой, так что мы вшестером с проводником с трудом разместились, одну пару весел взял проводник, а вторую поручил мне и Яське, Вольф должен был вычерпывать воду, которая затекла в лодку. Когда мы причалили, проводник скомандовал идти прямо до излучины и не оглядываться, у излучины стоял человек, который велел нам идти за ним. Вскоре мы встретили немецкого солдата, который перекинулся парой слов с неизвестным, кивнул нам головой и сказал: «Шнель, шнель, ляуфен зи гераде цум лихт» («Быстро, быстро, бегите прямо на свет»).

Остановились мы только у какого-то большого здания, похожего на школу, в конце длинного коридора за столиком сидел пожилой мужчина и вел регистрацию, мы быстро вписали себя в книгу и зашли в класс, там стояли кровати с подушками, одеялами и чистыми полотенцами. Здесь мы и заночевали. Утром какие-то люди привезли кофе, булки с маслом, омлет и мармелад, потом мы сели на поезд и оказались в Кракове, а там с головой окунулись в привычные батярские гешефты, наладив контакт с краковским гетто. Может, кто-то и попытается нас осудить за то, что мы наживались на чужой беде, но кошелеков мы не набивали, хватало только на жизнь, а как по мне, мы делали доброе дело, потому что переправляли в гетто еду. Зимой 1941-го полиция нас застукала, нам с Яськой удалось удрать, а наш толстяк Вольф не смог пролезть между штакетинами и застрял, мы пытались его вытащить, но по ту сторону сила была большей.

Прошло несколько дней, мы затаились и никуда не рыпались, как вдруг стучит как-то к нам в дверь наша хозяйка и сообщает, что у ворот стоит какой-то немецкий солдат и что-то

выспрашивает у сторожа, а когда я выглянул в окно, узнал Вольфа – он был в военной униформе. Я окликнул его, и через миг он оказался в нашей комнате. Когда полиция узнала, что имеет дело с чистокровным немцем, то живо его отправила в армию, сначала он должен был пройти подготовку, а потом его куда-то отправят.

– И как же ты застрял между теми штакетинами? – допытывались мы у него. – Мы видели, что ты мог пролезть!

– Да чего уж там, я знал, что выпутаюсь. А что, было бы лучше, если бы я не застрял? Если бы я не прикрыл собою вас? Вы бы оказались в концлагере. А так они обрадовались, что меня поймали, и все силы сосредоточили на том, чтобы меня выдернуть.

– Э! – воскликнул Ясь. – Не хочешь ли ты, сукин сын, сказать, что пожертвовал собой ради нас?

Вольф скромно опустил глазки и вздохнул. Мы с Ясем переглянулись, нет – чего-чего, а такого самопожертвования мы от него не ожидали. Расстались мы со слезами на глазах и продолжили свое благородное дело спасения жидов от голодной смерти уже вдвоем, но в мае 1941-го мы соблазнились первоклассной сделкой: подвернулся подходящий случай переправить в советскую зону целый грузовик резиновых сапог. И почти все удалось, но на той стороне наши коллеги, если их можно так назвать, решили, что дешевле будет нас сдать милиции, чем с нами расплатиться. Когда мы переправляли на лодке последнюю партию сапог, нас на берегу уже ждали, а через несколько часов мы уже вдыхали запах параши в Бригидках. Когда-то просторная при Польше тюрьма не вмещала всех заключенных, подавляющее большинство которых были политическими.

Сначала мы с Яськой считались обычными уголовниками, но очень скоро энкаведисты разыскали данные о том, что я был арестован поляками по подозрению в покушении, и я уже стал политическим, меня перевели в камеру, набитую людьми так, что мы вынуждены были весь день только стоять, ночью при ярком свете мы садились, раскинув ноги, а между ногами садился другой, у того между ног – третий и так от стены к стене. Безжалостно донимали вши. Большинство составляли украинцы, простые крестьяне, священники, учителя, было среди нас и несколько польских полицейских, все они получили смертный приговор, и всем им дали бумагу и карандаш, чтобы писали прошение о помиловании на имя Сталина, они исправно писали, веря, что это как-то поможет, но всех их по очереди расстреляли под шум моторов. Еще были офицеры, которые пытались сбежать в Румынию, пришли в камеру в хороших сапогах, но после первых допросов вернулись в тапочках.

Энкаведист, который меня допрашивал, поинтересовался как бы между прочим, где лучше условия: в польской или в советской тюрьме, я ответил, что тюрьма есть тюрьма и трудно здесь рассчитывать на удобства, но в польской тюрьме мы могли не только спать на нарах, но еще и газеты получали, книжки читали.

– Что? – вытаращил он глаза. – И книжки читали?

Изумленно качая головой, подсунул мне бумагу и велел описать, как я оказался в ОУН. Я возразил:

– Это недоразумение, польская полиция разобралась с этим, и меня отпустили. Меня арестовали по ошибке.

– Не думай, что здесь дураки сидят, – сказал он. – В их актах написано, что они не нашли доказательств твоего участия в покушении. Но это не означает, что ты невиновен. Нас интересует твой дядя. Это он руководил бандой? Он планировал покушения? Говори! А Люция? Мы знаем, что стреляла она. Где она может скрываться?

– Откуда мне знать, если меня арестовали на самой границе? Меня же здесь не было.

– Хочешь сказать, что не поддерживал с ними отношений? Твоя Лия рассказала нам кое-что.

Я остолбенел.

– Лия? Вы ее арестовали?

– Конечно. Принадлежность к преступной сионистской организации. Ее братца, к сожалению, не удалось разыскать. Интересная у вас компания была – сплошные детки повстанцев.

Следующие допросы проходили уже ночью, дважды меня сильно избили, так, что я истекал кровью и не мог идти самостоятельно, меня заносили и бросали на пол.

Каждую неделю отец Мирослав, мой дядя, тайно отправлял мессу, сейчас он уже ничем не напоминал того отца-батяра, которого я помнил с детства, во время молитвы кто-нибудь из нас становился у двери и закрывал спиной «глазок». Однажды со двора до нас донеслись тихие женские голоса, я попросил, чтобы меня подняли к окну, и увидел, что там прогуливаются заключенные девушки, среди них я не сразу узнал Лию. Она выглядела измученной и печальной, лицо осунулось, я крикнул: «Лия! Лия!», она оглянулась и стала испуганно искать меня глазами, наконец увидела и прижала ладонь к губам. Что это значило? Воздушный поцелуй или знак, что она молчала и ничего не сказала? Я смахнул слезу и остаток дня просидел в тяжких раздумьях.

Воскресенье 22 июня 1941 года я не забуду до конца своих дней. Едва забрезжил рассвет, прогремели взрывы, стали разрываться бомбы, даже стены задрожали. Всех охватило невероятное возбуждение, мы вскочили, пытались дотянуться до окна и хоть что-нибудь увидеть. После полудня захлопали двери камер, энкаведисты стали выводить по несколько заключенных во двор и там под грохот моторов грузовиков расстреливать. Разносились отчаянные вопли, мольбы, просьбы о помиловании, слушать эти крики не было сил. Вызвали и из нашей камеры всех польских офицеров, они молча подходили к греко-католическому отцу Мирославу, ведь другого здесь и не было, застывали и принимали благословение. Энкаведисты подгоняли их, но в камеру заходить боялись, чувствуя, что в такой момент люди могут быть способны на отчаянные поступки. Потом вызвали нескольких студентов духовной семинарии. В камере становилось свободнее, теперь уже все подходили к отцу исповедоваться, не дожидаясь, пока вызовут. Мы все находились в каком-то оцепенении, между собой не разговаривали, разве что с Богом. Я составлял мысленно список всех своих грехов, передо мной всплывали лица тех, кому я доставил какие-то неприятности, они смотрели мне в глаза, но молчали, и я не знал – отпускают они мне мой грех или нет, грехи приходили по очереди, но того, главного, все не было и не было, и я тешил себя мыслью о чистоте своей души, когда вдруг меня озарило – может, твой самый большой грех ты еще не совершил, может, именно сейчас его зерно зреет и собирается прорасти, и когда ты снова окажешься на допросе, твой самый большой грех выползет из тебя, как змея. Мне становится страшно от этой мысли, все предыдущие плохие поступки сразу стали мелкими, они наверняка исчезнут совсем, если я вынесу все и никого не выдам, потому что, если хорошо подумать, то я догадываюсь, где можно найти дядю и Люцию, но если я выстою, то само собой разумеется, простятся мне все прежние грехи, а если проболтаюсь, то те грешки по сравнению с этим, самым большим, станут незаметными. Я знал, что я не герой и не святой, и все, что я когда-то сделал плохого, не перевесит грехов, которые совершили другие, следовательно, я такой, как и все, подозреваю, что я еще к тому же и трус, по крайней мере, в

снах я именно такой, потому что в жизни мне пока не довелось испытать свою храбрость или обнаружить, что у меня ее вовсе нет. Я пытался прогнать из головы эти жестокие мысли, ведь они меня мучили и казнили невесту за что, но перспектива совершения преступления преследовала меня и будет преследовать до тех пор, пока меня снова не позовут на допрос, и я проверю себя и узнаю, кто я. Я стал вспоминать резкие слова, которые бросал в лицо родным, а они их быстро забывали и никогда мне этого не вспоминали, сейчас мне хотелось упасть перед ними на колени и просить прощения, а еще меня пронизывал страх за Лию, худенькую, болезненную девушку с тонкими чертами и хрупкими руками, возможно, ее допрашивают так же, как и меня, издеваются и насилуют. Скрипнули двери, все замерло, отец бормотал молитву, а убийцы выкрикнули несколько имен, среди них и мое, я крикнул, не поднимая головы: «Нет его!» И почувствовал, как меня заливают холодный пот, как дрожат мои пальцы, кто-то из них сказал: «Ушел!», дверь закрылась, я не поднимал головы, не зная, какими глазами смотрят на меня мои сокамерники, может, и осуждают, ну так и что – ложь может раскрыться очень скоро, я выиграл у смерти, возможно, всего несколько часов или минут. Подумав о смерти, я почувствовал, что мне становится легче, но больше всего не давал покоя не страх смерти, а страх перед пытками, что касается смерти, то я бы предпочел выбирать, какой смертью мне умереть, лучше, если в бою, когда идешь в атаку, когда несет тебя вперед какая-то мощная сила, но к смерти от пули в затылок я не был готов.

Вдруг до моего сознания дошло, что я прислушиваюсь к звукам скрипки, доносившимся откуда-то издали, звуки эти заглушались повизгиванием и звонками трамваев, голосами людей, но скрипка продолжала играть, а я в этих звуках узнавал танго, которое так часто играл Йоська, танго смерти.

В ночь с понедельника на вторник внезапно воцарилась тишина, уже не хлопали двери, не слышно было шагов, голосов, шума моторов. Во дворе раздались женские голоса, кто-то крикнул, что энкаведисты оставили тюрьму. Началось движение, во всех камерах заключенные пытались выбивать двери, мы выломали из печи железную плиту и колотили ею изо всех сил, но тщетно. А тем временем в коридоре уже слышалась беготня, суета. Я поднялся к окну и увидел во дворе толпу заключенных, они почему-то мешкали и не решались подойти к воротам. Вдруг я заметил Яся, он и еще несколько заключенных волочили железный шворень, спустя минуту наши двери уже были выломаны, и мы бросились друг другу в объятия, но времени было мало, энкаведисты могли вернуться, а на дворе уже начинало светать.

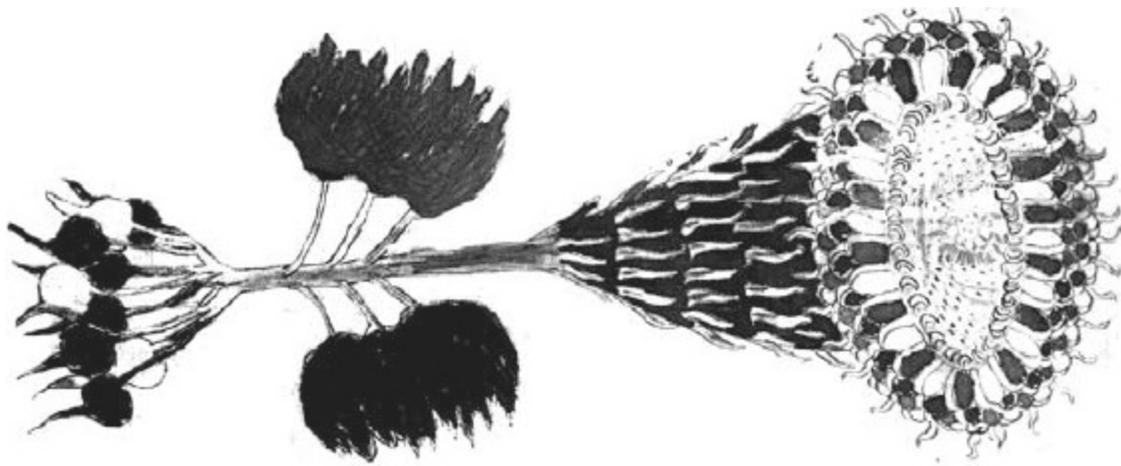
– Где Лия? – спросил я, когда мы выбежали во двор.

– Мы ее камеру тоже взломали, она ждет нас у ворот на другой стороне улицы, бежим скорей.

Мы выскочили на улицу и увидели два советских танка, снаряды пронесли над нашими головами, кто-то бросился назад во двор, но мы с Ясем бежим куда глаза глядят, лучше погибнуть под пулями, чем возвращаться в этот ад. С разбегу влетаем в какие-то ворота, там уже Лия: «Сюда, сюда!» – машет она рукой и ведет в сад, в конце которого деревянный забор. Возле забора ветвистая акация, хватаемся за ветку, подтягиваемся и оказываемся в другом саду, а из него через ворота выбегаем на Браеровскую. Здесь ни души. Мы спасены. Сторож из Яськиного дома открывает нам ворота и шепчет: «На чердак! На чердак! Только тихо, а то советские жида... тьфу, евреи... те – что на первом... еще не уехали, еще торгуются – драпать или нет... Ты, Яська, к себе не ходи, я сам пойду и скажу маме».

Обессиленные падаем на чердаке на какие-то мешки и старую мебель и смотрим друг на друга, и только позже начинаем обниматься, и слезы застилают нам глаза, я не могу сдержаться и плачу навзрыд, а Лия гладит меня по голове, и я чувствую, как наши слезы смешиваются, как содрогается ее тело, я провожу рукой по ее спине и говорю:

– На твоих ребрах теперь можно Баха играть, – и мы хохочем сквозь слезы и отчаяние.



Перед подполковником Кнышом в кабинете главного врача учреждения для умалишенных сидел мужчина лет шестидесяти и заметно волновался, забрасывая то левую ногу на правую, то правую – на левую, при этом глазки его испуганно бегали, а когда встречались с пронизательным взглядом Кныша, прятались, как улитки, под веки. Кныш по старой, еще приобретенной в КГБ привычке выдержал довольно долгую паузу и только тогда раскрыл папку и прочитал вслух:

– Цибулько Владимир Петрович, 1950-го года. Место рождения – Коломыя. Место прописки – Львов, улица Князя Мстислава, 6. Специальность – учитель танцев. Женат, двое детей. Так?

– Так, – кивнул человек и попытался сосредоточиться, поняв, что вот, наконец, и начался настоящий допрос.

– Ну, расскажите мне, что с вами случилось. Как вы попали на Кульпарков. У вас обнаружили раздвоение личности?

Мужчина вздрогнул и провел ладонью по лицу.

– Какое раздвоение? Нет никакого раздвоения!

– Вот здесь написано: выдает себя за Зельмана Милькера, еврея, погибшего в Яновском концлагере.

– Э-э, простите... это не совсем так... Нет, я не перестал быть Цибулько Владимиром Петровичем. Я только обогатился, если можно так сказать, еще одним сознанием... Я вдруг открыл в себе знания, которых до сих пор не имел, – я могу во всех деталях рассказать о довоенном Львове. Назову вам все цены во всех магазинах, где, что, на какой улице стояло. А хотите – отведу на место концлагеря и покажу, где какой барак был? Вы понимаете, какая огромная польза может быть от меня? Вот я и пришел с этим в горсовет. Мол, готов поработать для истории города. Ну, тут и началось... Сначала журналисты, телевизионщики, а потом – санитары... Они взяли меня как раз в тот момент, когда я узнал, что мой племянник выжил...

Кныш внимательно слушал и все больше мрачнел.

– Ага, вы же считаете себя Зельманом Милькером?

– Нет, что вы. Я Цибулько Владимир Петрович. А Зельман Милькер – это мое второе «Я». Ну, вот как у вас. Первое ваше «Я» – подполковник СБУ, а второе – семьянин, отец семейства. Ведь эти оба «Я» не пересекаются? Правда же? Вот и у меня так. Они у меня

существуют параллельно. И не конфликтуют. Я имею множество доказательств того, что не вру. Вот, например... В сентябре 1939-го я, как член КПЗУ, неумышленно отравил восемь бойцов Красной армии.

Кньш вытаращил глаза.

– Да, неумышленно. Я только украсил цветами комнату, в которой они спали после перепоя. Но цветов оказалось слишком много. Вот мы и похоронили их в двух могилках под видом жи... простите, евреев, как теперь принято говорить. Могу могилы показать. Пора бы уже там какую-нибудь тумбу красную установить. А хотите, я вам на идише прочитаю стихотворение Ицика Мангера^[111]? Я еще со школы помню.

Раздвоенный Цибулько уже даже наморщил лоб и приготовился декламировать, но Кньш его остановил:

– Постойте. Объясните мне одну вещь. Когда ваше второе «Я» вели на расстрел, что оно перед смертью слышало?

– Что слышало?.. – человек задумался. – Что слышало... Как что! Крики и рыдания – вот что я слышал. Нас было несколько тысяч, расстреливали партиями, и женщин, и детей... Все плакали, выли, детей пытались успокоить... Кошмар...

– И это все, что вы слышали?

– Еще пулеметная очередь была. Это последнее, что я слышал.

– А музыка? Музыка была?

– А-а, музыка? Ну, конечно же – оркестр играл. Но, знаете, он играл постоянно, непрерывно. Никто и внимания не обращал. Это уже как шум ветра или шелест деревьев.

– Не можете вспомнить, что именно играл оркестр?

– Марши какие-то... Вальгауз, наш комендант, очень любил марши.

– А танго?

– Танго... было и танго... Это уже Рокита настаивал, чтобы танго играли. Вот и племянник мой там играл – Йоська! Вы бы меня с ним свели, я б вам сразу доказал, что не вру.

– Хорошо, – сказал Кньш, закурил и постучал зажигалкой по столу. – Теперь припомните момент, когда вы осознали, что в вас всплыло это вот второе «Я».

– Я и сам не знаю. Вот иду себе по улице, иду, и вдруг – бац! – и готово! Я уже не тот, кем себя считал столько лет. То есть тот, но не вполне.

– Вы что-то услышали в тот момент? Может быть, какие-то звуки...

– Звуки... Меня чуть джип не переехал «Мицубиси-паджеро». Когда он забибикал, я подпрыгнул. А между прочим, я переходил на «зеленый». Это меня вывело из равновесия, до этого я чувствовал себя вполне спокойно, думал о чем-то приятном. А когда перешел улицу, почувствовал, как у меня давление подскочило. Не знаю, вы слышали, что «паджеро» на латиноамериканском сленге означает «пидарас». Меня всего просто затрясло от ярости. И вот тогда это и произошло, я хотел было крикнуть ему вслед: «Ты, паджеро!», а закричал что-то совсем другое: «Мамзер!^[112] Мишигин!» Представляете? А тут вдруг слышу – что-то наплывает на меня... Так, знаете ли, нежно-нежно меня обволакивает, как куколку шелкопряда... Я замер, и тогда до меня дошло, что это играет скрипка. Я музыку люблю, но никогда не прислушивался к уличным музыкантам. А тут замер, стою и вбираю ее в себя, как солнечную ванну.

– А кто играл? Видели?

– Нет. Скрипка играла где-то вдалеке. Я даже не знаю, откуда доносилась музыка – с

улицы или из окна.

– Где это было?

– Как раз возле церкви Анны.

– Ближе к Клепаровской?

– Да, я как раз перешел на ту сторону улицы. Вот тогда, собственно, я и стал другим человеком. Какая-то сила повлекла меня на Замарстыновскую, я был убежден, что живу именно там, но когда постучал в дверь моего дома, увидел незнакомых людей. Тогда я сообразил, что что-то тут не так. Я извинился, вышел, обшарил карманы и, к счастью, нашел неоплаченную квитанцию за газ. Тогда я отправился по указанному адресу и попал домой. А потом свалились на мою голову и другие проблемы. Вы же видите, что я не сумасшедший? Поговорите с ними, чтобы меня выписали. Если вы настаиваете, я могу держать эти свои новые знания при себе. Единственное, что хотелось бы, – это встретиться с Йосиком. Моим любимым племянником.

– И что вы ему скажете? Что воскресли, как Лазарь?

Кныш встал, взял папку под мышку и направился к двери, а человечек кричал ему вслед:

– Не оставляйте меня здесь! Не оставляйте! Я готов все забыть! Слышите? Все! – И шепотом добавил: – Кроме моего любимого Йоселе...



Теперь воспользуюсь дневником Йоськи и прилежно перепису все то, что происходило в городе, пока я сидел в каталажке. Йоська, которого, как и Лию, должны были арестовать, спрятался на чердаке и просидел там целый месяц.

«На рассвете 22 июня 1941 года Львов начал снова, как и в сентябре 1939-го, сотрясаться от взрывов, в небе загудели немецкие самолеты, и бомбы упали на вокзал и на Скниловский аэродром, превратился в руины пассаж Миколяша с двумя десятками зрителей, которые находились в кинотеатре, хотя летчики целились в Главную почту, но смазали, и вдобавок уничтожили еще и церковь Святого Духа возле почты, а вместе с ней еще три сотни домов. Фронт не успел приблизиться к городу, а высокая элита освободителей уже бросилась бежать, пакуя на грузовики награбленное – ковры, покрывала, люстры, постельное белье, сервизы, картины, посуду, одежду... Эти грузовики напоминают пирамиды, а так как упаковывались в спешке, по дороге много чего падает и бьется. «Давай! Давай! Давай! Давай!» – слышится отовсюду, подгоняют друг друга, кричат, матерятся, неукротимый страх гонит их на восток, и они готовы даже давить своих солдат, которые, отступая, мешают им продвигаться вперед, равно как и грузовики с амуницией, прикрытые ветвями.

Майор, который квартировал у дяди Зельмана, расплатился с ним и сказал, чтобы тот потратил все деньги на еду. В городе паника, водопровод поврежден, воды хватит разве что недели на две.

Наступает ночь. Полосы света пересекают небо. Трамваи стоят.

24 июня, вторник. Вчера я стоял на Казимировской напротив Бригидок и играл на скрипке. Меня никто не трогал, потому что я предусмотрительно надел черные очки, а под ногами у меня лежали костыль и шляпа, люди бросали мне копейки, а я играл для Орика, Яськи и Лии в надежде, что они услышат и им будет не так страшно. А сегодня рано утром прибежала тетя Ривка и сообщила радостную новость: Лия спаслась, Ясю и Орику тоже удалось бежать. Господь услышал мои молитвы».

Мы покинули наше укрытие 29 июня, когда наступило второе июньское воскресенье войны. На улицах царило оживленное движение, милицейские будки опустели, машины стояли в пробке. Уже неделю тянулись непрерывные вереницы большевистской армии, ползли пушки и танки, лица воинов уставшие и мрачные, в глазах читались страх и нерешительность, уже никто не бросал на толпы львовян победные взгляды, не пытался заговорить, войско двигалось молча, молча следили за их отступлением люди, один лишь раз послышался возглас кого-то из толпы, и касался он пленных польских воинов, которые брели с лопатами и кирками на плечах, на головах у них были «рогатовки», которые отличали их от

других, потому что одежда была запыленной и выцветшей, а ноги сбиты, без сапог и ботинок, обмотанные разноцветным тряпьем. «А их зачем вы за собой тащите? Отпустите!» – крикнул кто-то, но охранники, которые плелись рядом с пленными, не обратили на его крик никакого внимания, зато обращали внимание, когда кто-нибудь из львовян пытался передать пленным кусок хлеба или сигареты, тогда вмиг вспыхивал на солнце штык и раздавался окрик: «Нельзя! Атайди! Назад!». А за пленными поляками шли деревенские парни, которых вчера силой забрали в армию, одетые в гражданское, каждый нес на плечах какую-то котомку, глаза их нервно бегали, словно ища возможности бежать, но их тоже караулили.

Люди становились на цыпочки и ждали, когда же появятся пленные немцы, но их не было, а после полудня толпа уже стала разбредаться, несмотря на жару и духоту, окна домов закрыты, хотя никто этого не требовал, но недавний опыт подсказывал, что лучше не высовываться, тем более что с разных концов города доносились выстрелы и взрывы, а несколько дней назад, когда чересчур любопытные горожане наблюдали из окон на площади Бильчевского за большевистскими машинами, пулеметчики осыпали их шквальным огнем. По улицам теперь бродила только городская шушера, батыры и воры, они любили риск, тем более что в магазинах оставалось немало добра, вот на тех тихих улочках, по которым не двигалась армия, и кипела работа как в муравейнике: выламывали железные шворни и решетки, вырывали двери и окна, врывались внутрь и тащили все, что под руку попадало, при этом не обходилось и без драк, просто вырывали друг у друга из рук, все вдруг забыли, что они люди, и вели себя, как звери, дрались, царапались и кусались, повсюду белела рассыпанная мука, хрустели под ногами сахар и соль, ноги путались в рулонах коленкора, скользили на брусках мыла, а потом люди разбегались, оставляя после себя разбитые столы и полки, кое-кто, будто вымещая свою ярость, вызванную большевистской оккупацией и долгими стояниями в очередях, напоследок еще и поджигал товар, и едкий дым стелился по улицам, а пламя пожирало все, что удавалось сожрать, военные смотрели на эти вспышки огня и не вмешивались, думая, что все идет по плану, врагу не должно достаться народное добро. Чем ближе к вечеру, тем больше множились грабежи, а те, кто не принимал в них участия, надивиться не могли, откуда весь этот товар берется, если его нигде не было, а если и появлялся где-то, то выбрасывали его на несколько часов, и он снова исчезал. Те, кто сделал первую ходку с награбленным, возвращались уже с мешками, выварками, ведрами, одеялами, колясками, прихватив с собой семью, и старых, и малых. В первую очередь расхватывали продукты, но и бочки с пивом тоже не пропадут, равно как и водка, то тут, то там уже собирались у такой бочки веселые компании и причащались, наливая в кастрюли, вазы, шляпы и горсти... Мы с Ясем, Йоськой и нашими мамами тоже решили не зевать и принялись тащить что только можно – муку, крупы, макароны, мыло, соль, сахар, спички. Йоська приволок целый рулон ситца и поделился с нами.

30 июня, в понедельник, немцы уже вступили во Львов. Я вышел в город и увидел, как люди встречают их с цветами, девушки раздают каждому по цветку, а то и целые букеты, обнимают и целуют, и не только украинки, но и польки, даже жидовки, мне самому хочется пожать руку какому-нибудь воину, который избавил нас от большевистской напасти, но что-то меня сдерживает. Звучат приветственные возгласы и аплодисменты.

За передними колоннами немецких солдат с задорной песней промаршировал украинский отряд, это были сплошь молодые ребята, бежавшие с Галичины перед приходом Красной армии, все, как дубочки, высокие, крепкие, они были хорошо одеты, у каждого на

плече короткий карабин, а передние несли на ремне пулеметы. Такой же бравый вид имели и немецкие солдаты, они шли свободно и непринужденно, тоже все молодые, их светлые кудри не были прикрыты ни шапками, ни шлемами, воротники у всех расстегнуты, рукава закатаны. Ни одна армия никогда не вступала так в город. И они тоже пели что-то веселое, бодрое. После впечатления, которое оставила нам большевистская армия, казалось, что военные идут не на войну, а на прогулку.

Люди вдруг ожили, оделись в праздничные наряды, многие прицепили сине-желтые ленты, уже никто не должен был прикидываться пролетарием, повсюду слышалось «Слава Украине», вот и сине-желтые флаги появились, студенты-химики из политехники сделали желтую краску и красят ткани, потому что синюю ткань еще можно достать, желтой же – нет, а девушки сидят и шьют флаги, за ними прибегают другие студенты и сразу же вывешивают на центральных улицах.

Но над ратушей развевается красный флаг со свастикой, над воротами ратуши тоже, только пополудни над воротами по обе стороны немецкого флага появились два украинских и на башне на четырех углах. На Оперном театре – немецкий флаг. На Гетманских Валах уже успели сжечь памятник советской конституции.

Слух о замордованных во львовских тюрьмах узниках разлетается мгновенно, к нам прибежала тетка Елена и сообщила страшную новость: дядя Лёдзё, как выяснилось, оказался в тюрьме на Лонцкого, арестовали его за несколько дней до начала войны, и вот мы с мамой и тетей бежим на Лонцкого, сразу за Главной почтой толпа людей, перед воротами почты стоит украинская милиция с ремнями и карабинами, а ближе к тюрьме начинает чувствоваться трупный запах, люди рассказывают ужасы. Немцы не запрещают заходить на территорию тюрьмы и смотреть на зверства недавних освободителей. Такое впечатление, что ты попал в ад или в одну из картин Брейгеля или Босха – горы истерзанных заключенных, не только мужчин, но и женщин, девушек и даже детей, девушки все перед смертью изнасилованы, некоторые распяты на стене, подвешены на крюки, несколько малышей насажены на колья, из девичьих влагалищ торчат бутылки, железяки, палки. Один львовский священник лежит с выколотыми глазами, другой – прибит гвоздями к стене, из распоротого живота вывалились и свисают красные внутренности, и я узнаю нашего дядю – отца Мирослава, и меня поражает то, какое прекрасное и какое спокойное его лицо, хоть и принял он такую мученическую смерть, и я, глядя на него, перекрестился, как на распятого Иисуса. Везде разбросаны бумаги, сквозняк врывается в окна и двери и подбрасывает их. Всюду стоит тяжелый смрад, каждый, кто заходит сюда, прижимает к лицу платок, невозможно выдержать здесь дольше чем несколько минут, а люди все прибывают и прибывают, и уже не только львовяне, но и крестьяне, некоторые добирались своими телегами и, узнав кого-то из родных, выносят и кладут на телеги, мужчины делают это молча и хмуро, а женщины кричат в истерике, проклиная убийц и вопрошают у Бога: «За что!», но Бог и на этот раз молчит. Телеги уезжают, за ними следуют понурые родственники, львовяне останавливаются, снимают фуражки и шляпы, крестятся, как во время встречи с похоронной процессией.

Немцы пригнали жидов выносить трупы из тюрьмы, среди них я увидел и Йоську, в его глазах был такой испуг, что я подошел к немецкому офицеру и сказал:

– Это музыкант, композитор. У него руки не приспособлены к такому труду. Нельзя ли его отпустить?

Офицер посмотрел на меня с изумленной улыбкой:

– Физический труд еще никому не повредил.

По его произношению я понял, что он австриец, и продолжил:

– Вы бы знали, как он исполняет Штрауса! А Гайдна!

– Да вы хитрец! – засмеялся офицер. – Вы догадались, что я австриец, и теперь пытаетесь меня растрогать? А что бы вы делали, если бы я оказался пруссаком?

– О, тогда бы я пропал! – сказал я, намекая на то, что прусская музыка известна разве что специалистам.

– Хорошо, позовите его.

Когда Йоська подошел, я заметил, как дрожат у него пальцы, офицер спросил:

– Вы музыкант и композитор? И любите австрийскую музыку?

Йоська сразу догадался, в чем дело, и закивал:

– Люблю больше всего. Она такая жизнеутверждающая, такая светлая...

– И кто из австрийских композиторов вам больше всего нравится?

– Игнац Якоб Гольцбауер, – гордо продекламировал Йоська, а офицер просто остолбенел.

– Действительно? Я никогда о нем не слышал.

– Он родился в 1711 году в Вене, был дирижером оркестра венского Бургтеатра, придворным капельмейстером в Штутгарте и в Мангейме, где и умер в 1783 году. Написал шестьдесят восемь симфоний, двадцать одну мессу и тринадцать опер, среди которых «Сын леса», «Гюнтер фон Шварцбург» и «Танкред», – протараторил Йоська как по-писаному и, может, продолжил бы и дальше, но офицер, явно ошеломленный, остановил его:

– Можете идти. У вас хороший товарищ.

Йоська пошел, а тем временем людей перестали пускать в здание тюрьмы, потому что жида уже всех вынесли во двор, а оттуда начали выносить и складывать перед тюрьмой. Люди переходили от трупа к трупу, пытаюсь кого-нибудь узнать, хотя это было трудно, трупы были ужасно изуродованы. Вот какая-то женщина узнала своего сына только по ботинкам, которые пошил ему отец, лицо опухшее, без носа и без глаз, она падает на него и причитает:

– О Господи! О Боже милостивый! За что ж он такие муки терпел! Юрасик мой! Где твои ясные глазки?! Где твои белые зубки! Где твои золотые кудри? Исчадия ада! Что же вы надела ли! Чтоб вас земля в себя не приняла!

Плач доносится отовсюду, и проклятия, проклятия, проклятия... Вдруг, когда уже со двора забрали все трупы, воздух рассекает крик – во дворе нашли присыпанную землей яму, полную трупов, Люди хватают в руки кто что может, любое орудие, которым можно раскидывать землю, и вот перед их глазами предстает еще одно жуткое зрелище – это уже не трупы, это именно человеческое мясо в лохмотьях и голое, руки у всех скручены за спиной колючей проволокой, у всех – и у девушек тоже. Немцы зовут жидов и снова приказывают доставать трупы из ямы и раскладывать во дворе, но никто на это спокойно смотреть не может, за работу берутся все, мы с мамой тоже, ведь нашего дядю мы так и не нашли, в душе еще теплится надежда, что ему удалось спастись. И снова толпы людей набиваются во двор, и снова всматриваются в каждого, заливаясь слезами и прикладывая к носу платок, фуражки или просто ладони, потому что смрад бьет в ноздри, кто-то не выдерживает и возвращается, а так как узнать по лицу уже невозможно, то осматривают одежду, выворачивают карманы, любая вещь – расческа, бумажка, платок, огрызок карандаша – может пригодиться. Так и мы узнали моего дядю, маминого брата, только благодаря свитеру, который когда-то принадлежал моему папе и мама собственноручно нашла ему кожаные заплатки на локтях. Тут же объявилась и тетка и присоединилась к хору рыданий, сотрясавших стены тюрьмы.

Только моя бабушка, профессиональная плакальщица, плакала молча, глядя на тело своего сына – отца Мирослава, впервые она плакала без слов и крестилась, когда мы снимали распятого отца и когда заправляли в живот его внутренности и перевязывали каким-то тряпьем, чтобы они не вываливались, и плач тот был самый жалобный из всех, которые она при жизни исполняла, потому что потеряла она сразу обоих сыновей, а я, глотая слезы, побежал искать телегу, нашел быстро – как раз должна была ехать одна телега на Яновское кладбище с телом молодой девушки, я упросил мужика, чтобы он разрешил положить на телегу и двух моих дядей, мужик согласился, и мы всех их пристроили сидя, в ряд, у той девушки были черные губы, а когда телега затряслась по мостовой, с девушки сполз цветастый платок, который покрывал ее плечи и грудь, и я увидел на месте груди страшные опаленные раны, отец ее шел возле лошади, понунив голову, и не оглядывался, мама снова завернула девушку в платок и края платка привязала к краям телеги так, чтобы девушка не раскачивалась. На кладбище таких, как мы, было немало, трупы свозили из всех трех тюрем, могильщики не успевали копать могилы, им помогали родственники погибших, священники и монахи правили службу Божью и не могли сдержать слез.

После этих поспешных похорон я возвращался домой как очумелый, оставив позади маму и бабушку, я брел, пошатываясь, а перед глазами стояли тела замученных, и та девушка с черными губами, девушка, которую я узнал не сразу, такая она была истерзанная и окровавленная, но там, на кладбище, моя мама и бабушка обмыли ее водой из колонки, прежде чем похоронить, и я узнал ее и захлебнулся слезами от отчаяния, ведь те черные губы я целовал, и тех груди я касался ладонями. «Господи, Господи, – шептал я, – а тебя за что? За что тебя, Миля?», но я не сказал ее отцу, что знал девушку, только помог ему выкопать могилу и засыпать ее, а он в свою очередь помог нам похоронить дядей. А по дороге я увидел сцену, которая меня потрясла. Какой-то мужчина узнал у церкви Анны большевистского сексота и, как разъяренный зверь, набросился на него и стал бить, тот выбежал на середину улицы, но нападавший не отставал, догнал и пнул сапогом так, что агент потерял равновесие и упал, нападавший уже пинал его ногами и в голову, и в спину, и в живот, а тот закрывался руками, сворачивался калачиком и кричал, а вдоль дороги шли люди, кто-то останавливался, прислушивался к крикам, к разъяренным словам того, кто бил, и шел дальше, никто не отваживался встать на защиту, даже немецкие солдаты, они только взглянули на эту сцену и двинулись дальше, ухмыляясь. И тогда я почувствовал, как во мне просыпается зверь, лютый зверь, который хочет крови, жаждет мщения, чтобы выместить на ком-то свою боль и свою отчаяние.



Уже поднимаясь по лестнице в квартиру Милькера, Ярош услышал звуки ссоры, старик с кем-то ругался, его голос то становился громче, то стихал, женский голос что-то робко отвечал, словно оправдываясь, потом застучали каблуки по полу, дверь на лестничную клетку резко распахнулась, и из нее выскочила раскрасневшаяся и разгневанная девушка, сжимая в руках скрипку, а вслед ей неслось:

– Можете больше не приходите! Из вас никогда ничего не получится! Лучше идите чебуреками торговать!

Ярош отступил к стене, а девушка промчалась мимо него вихрем и застучала каблуками по лестнице, брызжа обрывками слов и фраз. Милькер встретил его на пороге, тяжело дыша.

– Вот коза! Вот коза! Ни капли терпения нет. Она что думает? Что музыка – это игрушки? Музыка – это жизнь! Не она тебе, а ты ей должна отдаваться! – кричал он вниз, перегнувшись через перила. – Это не она живет для тебя, а ты должна жить для нее! Дышать ею, пить ее и есть! Ты вся должна стать музыкой! Вся! С ног до головы! До последнего своего вдоха! – потом кивнул Ярошу, чтобы тот заходил, и уже в комнате продолжил: – Уже почти! Почти! Еще бы немного! Но она не имеет терпения, говорит, что лучше сыграть уже не сможет. А я уверен – сможет. Оставалась самая малость. Всего несколько нот... И дело не только в том, чтобы воссоздать танго, а в том, что если она сможет сыграть эти ноты, она станет тем, кем и мечтала стать, – мастером.

– И что теперь? Будете другую ученицу искать?

– Зачем другую? Она вернется. Я ее уже хорошо изучил. Вернется...

Милькер знал, что говорит, ведь Ярка оказалась в его плену, в каком-то невероятно магическом плену, теперь она знала о нем очень много, о его жизни, об утраченных друзьях и погибшей семье, гуляя с ним по городу до урока и после, она узнавала много такого, о чем и не подозревала, хотя уроки эти ее хорошенько изматывали, потому что старик заставлял играть одну и ту же мелодию десятки раз, всякий раз находя какой-то недостаток, который был замечен только ему, а когда он вынул из футляра свою старую скрипку, которая своей поверхностью напоминала изборожденное шрамами лицо воина, и протянул ей, а она

провела робко смычком, то почувствовала, что скрипка издает какие-то удивительно тоскливые звуки, ничем не похожие на те, которые рождались ее скрипкой, и когда она попыталась сыграть на ней ту же самую мелодию, которую играла уже множество раз, ее вдруг охватил непонятный страх, она увидела, как загорелись глаза у старика, просветлело лицо, и руки сложились, как для молитвы, он явно поплыл в облаках, лениво покачиваясь, как перышко в воздухе, но у Ярки закружилась голова, показалось, что она теряет рассудок, рука невольно резко взмахнула смычком и извлекла что-то острое, как нож, то, что резануло по сердцу старика, и именно тогда он разозлился, наорал на нее, было такое впечатление, что она этим резаным звуком грубо вырвала его из каких-то тайных грез, она пыталась объяснить, что еще не привыкла к его скрипке, но он и слушать не хотел, и тогда она убежала. На улице засомневалась, раздумывая, куда идти, в конце концов направилась в скверик неподалеку и, сев на скамью, задумалась.

Сумерки окутали улицу, вот от Милькера вышел профессор и зашагал в сторону центра, Ярка увидела, как из тени по другую сторону улицы выплыл мужчина невысокого роста и сначала последовал за профессором, но вдруг остановился и, задрав голову, посмотрел на окна Милькера, в которых как раз зажегся свет. Ярка тоже взглянула вверх и увидела такое, от чего еще долго не могла прийти в себя: на фоне полупрозрачной шторы виднелся силуэт мужчины, который держал одной рукой скрипку и водил по ней смычком, зажатым в зубах.



Вечером в дверь постучали, мама подошла к двери и спросила: «Кто там?», с тех пор, как началась война, уже никто во Львове не открывает дверь без этого вопроса. Женский голос сообщил: «Это я, Фейга!» Мама открыла, Фейга была женой лавочника Огрештейна, брата Голды, вид у нее был довольно комичный, потому что, несмотря на лето, она была одета в теплую шубу да еще и поздоровалась так, что мы дар речи потеряли: «Слава Украине!», она пришла попросить, чтобы мама припрятала шубы, потому что пошли слухи, что будут грабить жидов, и при этих словах сбросила с себя целых три шубы. Мама поинтересовалась:

– А что, если нас ограбят?

Фейга махнула рукой:

– Значит, так и будет. Зато я знаю, что вы меня не обманете.

– Вас кто-то видел, когда вы ко мне шли?

– Да что я, дура? Никто не видел. Будьте здоровы. Слава Украине!

Но на этом визиты не кончились, потому что позже прибежала жена адвоката Риттенбаха и принесла целую корзину белья, которую тоже просила припрятать, но когда мама поинтересовалась, есть ли в корзине что-нибудь кроме белья, пани адвокатша замялась, но потом сказала, что там есть еще кое-что из серебряной утвари и «всякие золотые безделушки», тогда мама заставила ее все это вынуть, показать ей, потом мама прилежно переписала все вещи в тетрадь и только тогда приняла их на хранение.

– Ого, – вздохнула моя бабушка, – скоро у нас будет целый склад жидовских вещей.

Слух, которым с нами поделилась Фейга, подтвердился: целые стаи уличного сброда взялись за благородное дело – бить жидов, били все – и украинцы, и поляки, – били, потому что должны были бить, потому что должны были выместить всю свою ненависть к большевикам, отплатить кому-то за свои страдания, за свои муки, за смерть своих родных, а так как пресса по немецкой указке подсказала, кто именно виноват во всех большевистских преступлениях, теперь это стало чуть ли не священным долгом. По улицам носились растрепанные женщины, с которых сорвали одежду, срывали с них все, даже трусы сдирали и заставляли бежать нагишом, немцы смеялись и фотографировали, это действительно было комическое зрелище, множество львовян высыпало на улицы, повысовывались из окон и любовались этой увлекательной картиной. Кто-то кричал из окна:

– Да что вы духулеры раздеваете одних старых перечниц? А ну-ка, какую-нибудь молодуху разденьте! Или какую девчонку, чтобы было на что посмотреть!

Очень скоро выяснилось, что били по большей части не местных жидов, а тех, кто прибыл во Львов вместе с освободителями и получил жилье в центре Львова, их с особым

азартом волокли на улицу и вымещали свою злость, особенно неистовствовали те, кого заставили переселиться на окраины, они силком вышвыривали из своих квартир «савецких служащих» и гнали палками, как приبلудных собак. А так как этими «служащими» были пожилые люди, то и не было среди них девушек к справедливому возмущению отдельных эстетов.

Йоська с Лией и мамой пересидели несколько дней у нас, именно тогда я и предложил Лии пожениться. Это было для нее большой неожиданностью, сначала она даже возмутилась:

– Нашел подходящий момент! Столько времени вокруг меня увивался и наконец созрел? Когда с жидами такое вытворяют?

– Именно сейчас. Может, если выкрестишься, это будет лучшим выходом.

– Что? Чтобы я выкрестилась?

И тут она выплеснула на мою горемычную головушку целое ведро той сионистской пропаганды, которой ее пичкали несколько лет. Но что там какая-то пропаганда против любви? Мы же любили друг друга, поэтому Лия после не слишком продолжительных дискуссий в конце концов согласилась выкреститься, но только на время войны. А, мол, после войны снова будет правоверной еврейкой при условии, что я, даже когда она станет христианкой, совершенно ничего не буду заставлять ее делать в субботу, именно тогда, когда у нас, христиан, как раз больше всего работы по дому. Я попытался протестовать, потому что, черт возьми, я что – сам должен буду трусить дорожки и обед готовить? Нет, сказала она, обед она сварит в пятницу вечером, а дорожки трусить – это и так мужская работа. Сказано – сделано, мы обвенчались в церкви Святой Параскевы, и как раз вовремя, потому что власть наконец навела знаменитый немецкий порядок. 10 июля, в четверг, комендатура города объявила, что продуктовые магазины должны быть открыты с 7 до 19 без перерыва, а для жидов с 14 до 16, делать запасы запрещается. 12 июля появилось объявление коменданта города в отношении жидов на трех языках: все жида старше 14 лет должны носить на груди с правой стороны голубую звезду Давида. Жидом считается каждый с третьего поколения, а также те, чьими предками были двое жидов и состоящие в браке с жидом или жидовкой. Вот так я, Орест Барбарыка, сын петлюровца, стал жидом. Мама моя лишь головой покачала:

– Кто знает, может, и я на пару с тобой жидовкой стану?

Но ни я, ни Лия звезды не цепляли, Яська помог мне выправить документ, что Лия украинка, в общем-то она и не была похожа на жидовку. К сожалению, для Йоськи такая афера могла бы закончиться трагически: его худое острое лицо и торчащие уши сразу вызвали бы подозрение, а тогда уж достаточно было приказать спустить штаны – и пиши пропало.

С 17 июля все жида должны были получать всего килограмм хлеба в неделю, для них были открыты отдельные магазины и столовые. В ночь с 25 на 26 июля состоялась акция, которая всех не на шутку испугала – две тысячи жидов были вывезены на Лонцкого. Какова была их судьба – никто не знал. А 9 августа, в субботу, начался великий Исход – переселение жидов в гетто. Клепаров входил в зону гетто, поэтому мы с мамой и Лией вынуждены были оставить свое жилье и переселиться на Браеровскую по соседству с Яськой. В гетто люди ужасно бедствовали, продавали последнее, чтобы прокормиться, мы с Лией навещали Йоську и его семью и приносили им еду. Я никуда не отпускал Лию одну, но однажды она не послушала меня и пошла в гетто, ей как раз удалось раздобыть мешочек пшена. Вернувшись, принялась возбужденно и даже восторженно рассказывать, что побывала в синагоге и

услышала, как раввин на проповеди объявил сбор желающих выехать в Палестину, и жида ринулись записываться, и вся ее семья уже записалась, Йоська, правда, сомневается, но их мама уже пакует вещи.

– Думаю, это для нас лучший выход, – говорила она мне. – Давай и мы поедem. Из Палестины сможем выехать в Америку. Кто бы в этой войне ни выиграл, нас ничего хорошего не ждет.

– Постой. Ты знаешь, куда делись те жида, которых вывезли на Лонцкого?

– Они уже все в Палестине. Раввин и глава юденрата^[113] показывали нам открытки от них с видами... Еще там был целый мешок писем.

– В конвертах?

– Нет. Почему же в конвертах? Эти письма шли не по почте, их перевезли на корабле до Констанцы, а оттуда поездом сюда. На каждом письме указана фамилия адресата. Эти из юденрата выкрикивали фамилии, люди брали письма, целовали их и радовались. Письма были такие жизнерадостные... Мама получила письмо от тети Фейги, она написала, что живет на берегу Тиверийского озера в просторном доме и с удовольствием примет нас, места хватит всем.

Что-то меня во всем этом настораживало. Я спросил:

– А фотографии какие-нибудь были?

– Да, были.

– Из Палестины?

– Нет... Были фотографии людей с чемоданами перед грузовиками, их должны были везти на поезд. Все улыбаются, бодрые.

– Не кажется ли тебе странным, что письма из Палестины сопровождаются снимками из Львова? Почему твоя любимая тетя не прислала фотки на фоне своего просторного домика? Или хотя бы под пальмой?

Лия нахмурилась и закусила губу. Я велел ей сидеть дома и не рыпаться, а сам отправился к Ясю, рассказал ему о своих подозрениях и потащил его в гетто. Там жизнь кипела, как в муравейнике, звенела, гудела и звучала на все голоса, в которых можно было даже различить оригинальную мелодию. Толпа без умолку галдела, восхваляя свои товары в будках, в воротах, на лотках, тележках, на подносах, подвешенных на груди, в корзинах, ведрах, мешках, ящиках, а то и просто на земле, одной из характерных черт настоящего львовянина – независимо от того, украинец он, поляк или жид, – была его исключительная скупость, которую алчностью даже не назовешь, потому что скупость эта была доведена до какого-то высокохудожественного абсурда, когда любой хлам, любая отжившая свой век вещь вызвала в практичной голове хозяина надежду на то, что он ее еще когда-нибудь починит, что она еще когда-нибудь пригодится, и она находила свое почетное место в одном из ящиков или тюков и оставалась там годами, сразу же после смерти хозяина эта вещь могла очутиться на свалке, да и то не обязательно, благодарные потомки могли решить ее судьбу иначе. Но теперь, когда нужда пришла в каждый дом, когда не хватало новых вещей, весь Львов превратился в огромную барахолку, и старые вещи, извлеченные из дальних углов, обретали новую жизнь. Еще не так давно во львовских сундуках можно было обнаружить пожелтевшие воротнички степенных австрийских пенсионеров, их цилиндры и фракы, монокли и щеточки, которыми ваксилили усы, потертые дамские перчатки до локтей, стоптанные туфли, цветные открытки, поношенные кошельки, огрызки карандашей, стеклянные пробки, засохшие кисточки или же такие бесценные реликвии, как засушенные цветочки с могилы Юлиуша

Словацкого, листочек с венка на могиле Маркиана Шашкевича, дамское устройство для отливки пуль времен польских восстаний, – все это продавалось и покупалось, потому что львовянин просто не мог, собирая всю жизнь всякий хлам, не приобрести еще какую-то бесценную деталь того покойного мира, который объединял его с дедами и прадедами и свидетельствовал о давности рода. Вот и разбегались глаза от изобилия разнообразных товаров: кастрюли, миски, ботинки, рубашки, брюки, плащи, фантастически развешенное белье, липовые шоколадки, крашеные конфеты, овощи, селедка. Но больше всего было такого хлама, на который мог позариться разве что полоумный, – сломанные автоматы с танцующими фигурками, стеклянные шары, маски, помутневшие зеркала, манекены без рук или ног, старые граммофоны, детали от велосипедов, поломанные печатные и швейные машинки, дверные ручки и ключи, гнутые гвозди, ржавые инструменты, старые обшарпанные детские коляски, которые можно было использовать разве что для перевозки мешков с картошкой, потрепанные книги и старые журналы, поломанная мебель, выцветшие гравюры, иконы без рам и сами рамы, часы, которым уже никогда не суждено было ходить, колечки из фальшивого золота и серебра, парики и всякое тряпье, шнурки и корсеты, в ведрах – напитки, замешанные на уксусе и сахарине, кастрюли с готовыми блюдами, а в коробках – тыквенные семечки, печенье. И тут же под открытым небом работали сапожники, портные, часовщики, были даже мясные палатки, где висели огромные куски мяса, преимущественно конского и несвежего, какая-то требуха, сердца и лошадиные головы. А среди этого гомона звучала музыка, кто-то играл на губной гармошке, кто-то на сурдинке, кто-то на скрипке, а кто-то пытался что-то петь, и везде царил специфический запах жидовского гетто, удушающая смесь пота, старой одежды, селедки, лука, чеснока и заплесневелого сыра. Здесь можно было приобрести и подпольный алкоголь, и документы, какой-то человек разложил на столике пояса со звездой Давида, выкрикивая: «Пояса! Пояса! Из бумаги! Из материи! Первый класс!» Старый жид остановился возле него в нерешительности, какой же выбрать, продавец ему: «Берите из материи!», но жид печально покачал головой: «А переживу ли я эту материю? Нет, давайте бумажный», и, заплатив, отошел, сторбившись так, будто на плечи ему свалились все беды мира.

Меня удивляло, что все базары и в гетто, и вне его всегда были переполнены, хотя именно они представляли собой наибольшую опасность, поскольку немцы постоянно устраивали облавы, и тогда в ловко расставленные сети попадали невинные люди. Сначала прямо перед базаром выстраивалась колонна крытых военных грузовиков, вплотную друг к другу, так, что проскочить между ними было невозможно, обычно на такую колонну никто внимания не обращал, ведь грузовики проезжали ежедневно, но эти останавливались, и из них выскакивали вооруженные солдаты, образуя живую цепь, одновременно из всех переулков выбегали жандармы, и таким образом замыкалась ловушка, тогда базар охватывала жуткая паника, слышались отчаянные крики, ругань, кто-то кому-то подавал знаки, звал, кто-то откликался, люди бросали свой товар на произвол судьбы и метались, выискивая хоть какую-нибудь лазейку, под ногами чавкали овощи, рассыпались крупы, переворачивались кастрюли с супом, вареной картошкой и требухой, ноги скользили, кто-то падал, об него спотыкались, а немцы тем временем образовывали несколько коридоров и пропускали всех, кто имел документы, а тех, кто не имел, сажали на грузовики и в лучшем случае увозили на принудительные работы, а в худшем – в концлагерь.

Йоську мы застали, когда он собирался в «Бристоль», где каждый вечер играл в оркестре, он со смехом показал нам распоряжение райхсмюзикфюрера, касающееся

танцевальной музыки, пан райхсмюзикфюрер был очень обеспокоен тем, что в заведениях массового отдыха звучит музыка, которая насквозь пропиталась жидо-большевистскими мотивами негритянского джаза, а посему отныне надлежит «в репертуаре эстрадных и танцевальных оркестров запретить композиции, в которых ритм фокстрота, так называемый «свинг», составляет более 20 %, в репертуаре оркестров необходимо отдавать предпочтение композициям в мажорной тональности в противовес минорной, а тексты должны выражать оптимизм и радость жизни, а не типичный жидовский пессимизм, что особенно проявляется в медленных композициях, называемых «блюзами», которые оказывают вредное влияние на прирожденную арийскую дисциплину. Музыка варварских рас пробуждает темные инстинкты, чуждые немецкому народу, это касается также жидомасонских инструментов, издающих пронзительный визг, и соло на барабанах, так называемого «drum breaks», а также пощипывания струн на контрабасе, так называемого «пиццикато», вместо игры смычком. Рекомендуются всем оркестрам ограничить использование саксофонов, заменив их виолончелями, скрипками и другими народными инструментами». А потом Йоська показал мне такое же распоряжение советского министерства культуры, которое было распространено в начале 1940 года, где джаз был назван вражеской провокацией, и тогда в их ресторане вывесили плакат: «Сегодня слушаешь ты джаз, а завтра Родину продашь». Кто бы мог подумать: как много общего у Сталина и Гитлера!

Голда тем временем пекла какие-то пирожки в дорогу, напевая что-то исполненное оптимизма. Йоська подтвердил все, что рассказала Лия, письмо Фейги никаких подозрений не вызывало, написано было ее рукой с присущим ей многословием. Тетя выбрала именно эту местность, потому что была там когда-то на отдыхе и хорошо знала окрестности.

– Вот как. А не мог бы ты нам прочитать это письмо вслух? – попросил я, думая, что письмо будет на идише, но каково же было наше удивление, когда оказалось, что Фейга написала свое письмо на польском!

Письмо было длинное и напичканное сведениями, которые вряд ли могли бы вызвать горячий интерес даже у родни, особенно описание обеда, которым угостили переселенцев перед отправкой на поезд. Зато не было описания самой поездки, которая должна была длиться довольно долго со многими пересадками. Домик, в котором поселилась Фейга с мужем и детьми, стоит на берегу озера как раз недалеко от того места, где в него впадает река Иордан, а из окон виден город Тиверия. «Замечательное место и для жизни, и для отдыха, – писала Фейга. – Мы вас ждем, берите с собой только самое ценное, не тащите много одежды, потому что здесь все есть и очень дешево, а много чего и даром отдают».

– Мама сразу бросилась к «Жидовской энциклопедии», нашла озеро и битый час рассматривала местность, где мы будем жить, – сказал, улыбаясь, Йоська.

– Орик! Ясь! – кричала из кухни Голда. – Вы бы приехали с тележками и забрали кое-что. Потому что мы всего не утащим. Я так думаю, что шуба мне в Палестине ни к чему. А еще есть куча хорошей посуды. Куда ж я ее потащу? А ты, Ясь, можешь забрать себе то кресло-качалку, которое тебе так нравилось.

Мы попросили Йоську показать и нам «Жидовскую энциклопедию», очень хочется посмотреть, где именно они поселятся. Озеро своими очертаниями напоминало африканский континент.

– Смотри, – ткнул меня в бок Ясь, – Иордан не впадает в озеро с юга, а вытекает из него. А из окон домика на южном берегу озера невозможно увидеть город Тиверию... на западном побережье.

Мы подняли головы и увидели, что Йоська побледнел, потому что не мог взять в толк, как он сам этого не заметил, хотя уже рассматривал карту, и тогда страшная догадка поразила его: вне всякого сомнения, мудрая Фейга не нашла другого способа предупредить семью о том, что тут дело темное. Когда Йоська подошел с энциклопедией к Голде и пытался ей втолковать то, в чем мы были теперь уже уверены, она и слушать его не захотела, что-то кричала, чего мы не понимали, а потом обхватила лицо руками и зарыдала, судорожно вздрагивая. Все ее розовые мечты пошли прахом. Но... что же будет с дедушкой Абелесом, дядей Зельманом и другими родственниками, которые записались на завтра на отправку в Палестину? Йоська ее успокоил, пообещав не идти в этот вечер в «Бристоль», а вместо этого навестить родственников и знакомых и рассказать о письме Фейги, а может, просмотреть и другие письма, где могут обнаружиться такие же намеки.

Вернувшись домой, я рассказал Лии новость, узнав, что Йоська с мамой не едут, она впала в какую-то глубокую задумчивость и не отвечала мне, а когда мы легли спать и я обнял ее, она молча мне отдалась, не проронив ни звука.

На следующий день мы узнали, что лишь малая часть из тех, кого Йоська пытался образумить, поверила ему, все остальные, подбадриваемые функционерами из юденратов, взяли чемоданы, сели в грузовики и уехали в неизвестность. Ни одного немца или полица при этом не было. Почему же у людей могли возникнуть сомнения? Они точно так же доверяли своим раввинам, когда те их убеждали в сентябре 1939-го и в июне 1941-го никуда не бежать, потому что немцы – интеллигентный, высококультурный народ, который всегда будет помнить, как много евреев было среди их самых выдающихся деятелей культуры и науки, а поэтому евреям ничто не угрожает.

– Это наша беда, что мы всегда были очень хорошо организованными и законопослушными, – вздохнул Йоська. – Мы слушали своих раввинов и не позволяли себе усомниться.

– Слушай, – сказал мне Ясь, – у меня есть знакомый фольксдойч, он работает на Лонцкого. Хотя он такой же фольксдойч, как я мавр, только и того, что фамилия у него Руффер. Может, у него разузнаем, куда тех жидов увезли. Он каждый вечер сидит в шинке «Селедка на цепи».

Я знал этот шинок, он пользовался популярностью благодаря своему расположению на торговой площади Брестской унии, где ежедневно толпились люди. По вечерам, когда торговцы расходились, в шинке собиралась уже публика почище – актеры, писатели и даже представители власти. А все потому, что Василий Найда, хозяин заведения, передал управление делами студентам Ивану Вересюку и Тарасу Мигалю^[114]. У первого был красивый баритон, и он выступал солистом на сцене оперного театра, а второй был писателем. Благодаря им в шинке стали собираться люди искусства и литераторы. К тому же оба студента обладали предпринимательской хваткой. Я частенько общался с Тарасом, потому что он быстро протоптал дорожку в продовольственный комитет, который контролировал продовольственные карточки. Израсходованные карточки продавцы наклеивали на листы бумаги и возвращали в комитет, где они должны были уничтожаться, но чиновники нашли способ перепродавать эти карточки на черный рынок, их отклеивали от листов и использовали повторно при покупке продуктов в магазинах, предназначенных для немцев, вот так и процветал черный рынок. У Мигалья всегда были эти карточки, и он знал, как их выменять у знакомого мясника – хозяина мясной лавки Масюкевича на улице Стефана Батория. Вот у него я и покупал карточки за полцены.

Мы действительно застали Руффера в шинке, он был слегка под газом, я купил у Тараса из-под полы бутылку водки Бачевского, прихватил несколько бутербродов с селедкой, и мы принялись спаивать фольксдойча. Слово за слово удалось выведать, что тем двум тысячам жидов, которых привезли на Лонцкого 26 июля, выдали обед, потом каждой семье вручили отпечатанное на машинке удостоверение с печатью, на котором был указан их новый адрес, жилплощадь, количество комнат и т. д. На стене даже большую карту развесили, чтобы каждый мог хорошо изучить, в какой местности ему придется жить. Сразу же поднялась кутерьма, потому что выяснилось, что кому-то хочется быть поближе к родственникам, а кому-то наоборот, но им сообщили, что со всем этим они разберутся на месте, проблем не будет, Англия и Америка выкупили для них тысячи помещений и требуют немедленно их заселить, а Германия просто-таки вынуждена придерживаться соглашения и тоже заинтересована в том, чтобы как можно быстрее отправить их всех на землю обетованную. Именно поэтому посоветовали всем написать письма родственникам, чтобы те не волновались, а писать нужно было только на польском, украинском или немецком, мол, чиновники будут просматривать письма, ведь идет война и кто-то может передавать какие-то шпионские послания, а еще писать нужно так, будто они уже находятся в Палестине, давая детальное описание своего жилища. Объяснялось это тем, что письма из Палестины будут идти очень долго, и кто знает, не захватят ли арабы – может, и через полгода – это жилье, к тому же неизвестно, удастся ли сформировать новый караван, потому что грузовики и вагоны могут отправить на фронт, а сейчас есть такая замечательная возможность. Кое-кто высказывал сомнение, стоит ли писать именно такое письмо, но несколько раввинов следили за процессом и сурово отчитывали неосознательных граждан, которые не хотят помочь ближним.

Потом всех посадили на грузовики, а куда повезли – Руффер не знал. Единственное, что еще удалось из него выудить, так это то, что грузовики вернулись вечером забрызганные грязью и привезли полные чемоданы. Когда Руффер спросил у одного водителя, почему жида не забрали с собой чемоданы, тот рассмеялся и ответил, что там, куда они поехали, разве что колбасы на деревьях и медовых рек нет, так на кой черт им было волочить весь этот хлам? Потом все чемоданы распаковали, перебрали содержимое и рассортировали его. Одних только ювелирных изделий собралась полная бочка.

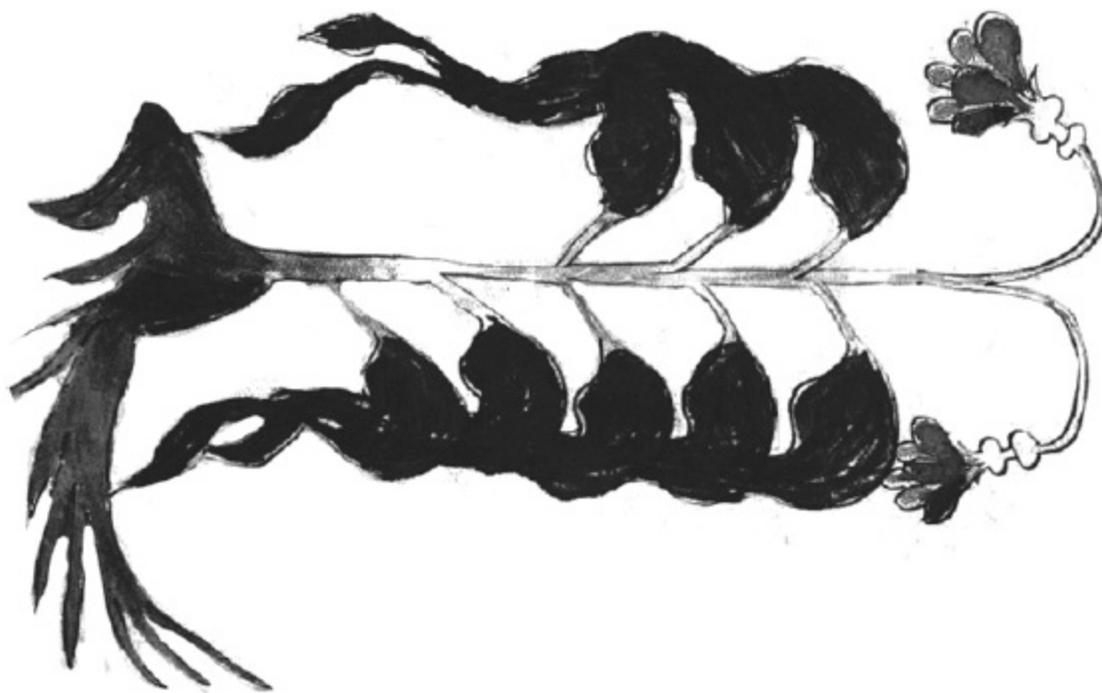
– Видно, там, в Палестине, их ждет настоящий рай, – сказал Руффер, а я подумал: он и в самом деле такой дурак или только прикидывается?

Со временем выживать становилось все труднее, но, к счастью, появился Вольф, он лишь несколько дней смог пробыть во Львове, жил у нас, потому что маму его вывезли в Казахстан, он даже не смог попасть в свою квартиру – ее занял советский чиновник, который и при немцах не пропал, работал в комендатуре. Перед тем, как отправиться на Восток, Вольф сообщил нам интересную вещь: грамм золота в Варшаве стоил 200 злотых, а во Львове 60 рублей. Злотый и рубль были пока в равной цене. Нам достаточно было лишь обменяться взглядами, чтобы ухватиться за новое дело. Если нам удастся заработать нужную сумму, то можно будет купить португальские паспорта для Йоськи с мамой и Рутой. Надо было торопиться, скоро стало известно, что жидов, которых якобы забрали в Палестину, вывезли в Лисинецкий лес, или, как говорили, «на Пески», и там, в песчаном карьере, расстреляли. И тут я вспомнил тот припев, который написал для Йоськи:

А как не станет нас с тобой,

укроют пески тела,
встретимся там, где маки рекой,
там, где их тень легла.

Так вот и начали сбываться эти слова – пески покрывали тела, а на песках расцветали маки...



На этом рукопись обрывалась, все еще находясь под впечатлением от прочитанного, Ярош загорелся издать эти записки и снова навестил Милькера, спросил, не будет ли он против.

– Нет, – сказал старик. – Буду только рад. Но здесь нет конца.

– Ничего, вы мне расскажете, что было дальше. А эти слова... о маках... действительно вошли в текст «Танго»? – спросил Ярош и процитировал: «...встретимся там, где маки рекой, там, где их тень легла».

Милькер внимательно посмотрел ему в глаза, словно хотел что-то сказать, но ограничился лишь кивком.

– Этим объясняются все эти ваши маки? – продолжил Ярош. – Встреча должна состояться в их тени?

Милькер молча налил себе свекольного кваса, выпил и сказал:

– Это всего лишь слова... слова и больше ничего... хотите знать, что было потом?..

Ярош кивнул и включил диктофон.

– Я жил в гетто, но имел пропуск, и пока играл в «Бристоле», мог видаться и с Ориком, и с Яськой. В марте 1942-го появился в Яновском концлагере унтерштурмфюрер Рокита, ему было чуть за пятьдесят, с его круглой красной физиономии никогда не сходила угодливая улыбочка. Когда-то он был скрипачом во всяких кнайпах в Катовицах и Закопане, но это не мешало ему издеваться над узниками, относиться к ним, как к скоту. Когда в лагерь попал талантливый студент консерватории Максимилиан Штрикс, его отец Леон, который играл вместе с Рокитой в кнайпах, пытался спасти сына, но Рокита сказал, что если тот хочет видеть сына чаще, пусть организует в лагере оркестр. Штрикс быстро собрал оркестр частично из заключенных, а частично из тех музыкантов, которые были на свободе. Вот так я и попал туда.

В конце лета 1942-го площадь гетто решили сократить, и Клепаровская оказалась вне жидовской части, мы с мамой переселились на Замарстынов. Вскоре Штриксу и остальным

музыкантам с воли запретили возвращаться домой, мы стали узниками с той лишь разницей, что имели особые права и жили в отдельном блоке. Относились к нам несколько лучше, а Рокита заботился о том, чтобы мы были прилично одеты. Нам приказали нашить желтую звезду на рубаше, украинцы носили голубую, а поляки – красную. А тем, кого должны были казнить, ничего не нашивали.

Оркестр играл заключенным, когда они направлялись на работу и когда возвращались, но играл еще и при селекции – когда заключенных осматривали и отбирали немощных и непригодных к труду, их вели в Долину Смерти и там расстреливали, а мы играли под стук пулеметов и автоматов. Как я уже рассказывал, партитуру «Танго смерти» мы написали с профессором консерватории Штриксом и дирижером Львовской оперы Кубой Мунди, вставив ноты из манускрипта Калькбреннера.

Дважды в неделю оркестр давал на плацу концерт для эсэсовцев и их семей, а также на вечеринках, которые в своих люксовых помещениях устраивали для гостей комендант лагеря оберштурмфюрер СС Вильгауз и Рокита. Вечеринки эти не раз продолжались до утра, и оркестр прямо оттуда спешил на плац, чтобы сыграть заключенным, которые уже были готовы к отправке.

Однажды я пережил нечто ужасное, когда увидел в женском лагере Лию и Руту, мне удалось с ними перекинуться парой слов, и я узнал, что все наши уже мертвы – и мама, и бабушка, и дядя Зельман с женой – всех их расстреляли там, в Долине, а мы им играли... Что тут скажешь, каждый из оркестрантов пережил этот ужас. А примерно месяц спустя среди заключенных, которые собрались на плацу, я заметил Яську и Орика, с тех пор я видел их уже каждый день, но поговорить с ними не имел возможности, а они теряли силы, таяли на глазах, одежда их превратилась в лохмотья. Чем я мог им помочь? И чем помочь Лии и Руте? Эта мысль постоянно преследовала и терзала меня.

И вот Вильгауз решил, что заключенных, непригодных к труду, нужно переселить за пределы лагеря, там их будет подкармливать комитет, который занимался поставкой продуктов в лагерь. Разрешено было также родственникам присылать для них пакеты с едой. Лягерфюрер выбрал для этих изможденных узников подходящее место – похоронный зал на жидовском кладбище. Зал этот был огромный, но крыша у него была дырявая, окна выбиты, ветер свободно гулял из конца в конец, а немало узников имели язвы, которые гноились и смердели, поэтому большинство из них предпочли лежать на кладбище под открытым небом, чем на сквозняках. Многие из них там и умерли. Собственно тогда и выпала возможность помочь друзьям, я видел, что они доходят. Я встретился с доктором Рапапортом, который уже не раз в своих отчетах записывал беглецов в покойники, и попросил, чтобы он признал Яську и Орика нетрудоспособными и отправил за пределы лагеря, а оттуда уже легче было бежать. Он так и сделал, несколько дней Яська и Орик пробыли на кладбище, матери приносили им еду, они набрались сил и однажды ночью исчезли, а пан Рапапорт записал их покойниками. И очень вовремя, потому что вскоре всех нетрудоспособных вывезли в Лисинецкий лес и расстреляли.

К сожалению, Лии и Руте я таким способом помочь не мог, молодые женщины работали в швейной мастерской и не ослабевали настолько, чтобы их можно было отправить из лагеря.

В начале мая 1943-го в течение недели откуда-то свозили жидов и отправляли в Долину Смерти, где целую неделю держали без воды и без пищи, собралось их там около восьми тысяч, а 8 мая всем приказали раздеться догола, загнали в яр под горой и там всех

расстреляли. И во время расстрела играл наш оркестр, а я даже не знал, что среди расстрелянных была и моя любимая Рута... Только Лии там не было, она еще оставалась в лагере. Всем им я играл на вечность...

В первой половине ноября в лагере еще оставалось пять тысяч заключенных. Именно тогда группа наших ткачей, поняв, какая их ждет участь, решили, что они не пойдут, как телята на заклание, и договорились с охранниками лагеря, что те помогут им бежать. Охрана лагеря состояла из украинцев, выходцев из Советской Украины, попавших в плен. Галичан в охрану не брали, так как они могли сочувствовать местным жидам и вступить с ними в сговор. К сожалению, об этом плане стало известно командованию лагеря, и немцы 18 ноября попытались захватить ткачей, но те стали сопротивляться и убили двух немцев, тогда немцы решили ликвидировать весь лагерь. Украинские охранники отказались участвовать в этом действе, даже помогли части жидов бежать из лагеря, бежали с ними и несколько охранников. Тогда немцы разоружили остальных охранников, что-то около сотни, посадили на поезд в Клепарове и отправили в Люблин. Жиды упорно оборонялись, забаррикадировавшись в мастерских и бараках, бросались на немцев с ножами и бритвами, с кольями и металлическими прутьями, резали им горло и разбивали головы. В это время Лия, бедная моя сестренка, завладела автоматическим карабином и стала стрелять по немцам, пока пули не закончились, а потом пули прошили ее саму.

И все то время, пока длился бой, мы не прекращали играть, потому что так приказал унтерштурмфюрер Рокита, некоторые уже не выдерживали и садились на землю, но продолжали играть, Рокита сначала подходил и бил их ногами или по голове плетью, но потом отстал и только издали наблюдал, не знаю, какая сила поддерживала меня, я не падал и не садился, а музыка поднимала меня над землей, мне казалось, что я стал невесомым. Я играл им всем на скрипке, чтобы они попали в вечность.

Борьба продолжалась три дня, было уничтожено сорок немцев, погибли почти все жиды, трупы днем и ночью вывозили автобусом на песчаный карьер в Лисинецкому лесу, там уже давно совершались казни и там же сжигали трупы. Для жидов, обслуживавших печи, был построен специальный барак, но он пустовал, так как за несколько дней до восстания этот отряд ликвидировали, чтобы не оставлять свидетелей. А так как играть уже было не для кого, то повезли на расстрел и половину оркестра, а десятка два музыкантов и несколько каменщиков, которые не принимали участия в восстании, потому что находились за пределами лагеря, вывезли в тот барак. Там уже выставили немецкую охрану.

И тогда случилось чудо, потому что чудо всегда подстерегает нас, и стоит на него надеяться даже в минуты глубочайшей тревоги и полного отчаяния. Я увидел Вольфа! Он только сегодня прибыл во Львов, два месяца пролежал в госпитале после ранения на фронте. Остальные охранники тоже были лагерными новичками и не принимали участия в ликвидации лагеря. Они не проявляли к нам той жестокости, к которой мы уже привыкли, и, когда Вольф стал их убеждать, что нас нужно отпустить, они не протестовали и стали размышлять, как это организовать, тогда Вольф предложил улепетывать всем вместе, и мы разбежались кто куда. Всего во время ликвидации и вместе с нами бежали 160 жидов, часть из них потом отловили, но большинство жидов укрылось в канализации, там, где было главное русло Полтвы и где уже пересиживала не одна жидовская семья. Запах был не из лучших, но человек привыкает ко всему, как бы то ни было, немцы такого не ожидали.

Тем, кто бежал из лагеря, пришлось жить в канализации восемь месяцев, до 27 июля 1944 года, пока немцы не оставили Львов, а те, кто поселился там раньше, прожили в

канализации почти два года. Еду им поставляли львовяне, кто-то приносил даром, а кто-то за деньги, ведь жида пришли туда целыми семьями и прихватили с собой драгоценности, поэтому могли покупать еду. А когда немцы оставили Львов и все они наконец вышли из темных зловонных подземелий, дети подняли страшный крик: так их поразил шум улицы и ослепительный солнечный свет, теперь они хотели только одного – вернуться обратно в каналы...

Сначала мы с Вольфом укрылись в каналах вместе со всеми, но потом Вольф попросил у кого-то гражданскую одежду, переоделся и навестил маму Ореста. Вернулся с едой, одеждой для меня и для себя и с новостями. Ясь в это время находился в Армии Крайовой, с ним не было никакой связи, Орест – в УПА, но мама Ореста имела с ним связь через Люцию. Ночью мы выбрались из канала и отправились к Винниковскому лесу, в условленном месте нас ждала Люция, она отвела нас в партизанский лагерь. Там я встретил еще нескольких львовских жидов, из тех, что восстали в лагере. Но самая большая радость была, когда мы обнялись с Орестом. Мы смеялись и плакали, я по сестре, а он по любимой...

Когда нас с Вольфом принимали в отряд, командир удивлялся, что немец идет в партизаны, но ему рассказали, кем был отец Вольфа, и он уже не возражал, только велел, чтобы мы выбрали себе новые имена. Я сказал: «Соломон». А он: «А почему не «Царица Савская?» А я говорю: «Потому что Соломон». А Вольф, естественно, стал Волком. У нас было несколько схваток с немцами, а накануне вступления большевиков во Львов бойцы АК подняли восстание против немцев и выбили их из многих районов, чтобы захватить власть в городе раньше большевиков, но они были вынуждены отступить в лес. Тогда, собственно, мы и встретились с Яськой. Его отряд был разгромлен большевиками, сам Яська был ранен в ногу и не мог идти. Люция забрала его в село, а когда он подлечился, фронт уже был далеко, Яське не оставалось ничего другого, как присоединиться к нам. Потом были бои с энкаведистами, в 1947-м мы решили прорываться через Карпаты на Запад, но приближалась зима, мы разбились на отдельные группы и засели в укрытиях. Зимой партизанить было невозможно, следы выдавали нас. Так мы и оказались все четверо в одном схроне. У нас теперь было много свободного времени, чтобы пообщаться.

День, когда мы должны были погибнуть, приближался так, как приближается любой день смерти, с той лишь разницей, что мы этот день предчувствовали очень четко и готовы были к его приходу, мы знали, что умрем, что нас убьют или мы сами себя убьем, чтобы не отдаться им в руки. Сидя в схроне, заметенном снегом, в тепле и уюте, мы чувствовали себя как глубоководные рыбы на самом дне моря. Иногда по вечерам, когда сеял снег и скрывал следы, мы выходили из схрона наружу, тогда-то и подъехал на подводе местный лесник и обнаружил нас. Он сразу догадался, кто мы. Орик его остановил и предупредил, что если он нас выдаст, то другие партизаны за нас отомстят. Лесник клялся и божился, что не скажет никому ни слова, и мы его отпустили. А через несколько дней мы услышали лай, энкаведисты окружили нашу землянку и требовали сдаться. Даже привели с собой матерей Орика и Яськи, чтобы те уговорили нас. Обещали амнистию, но мы знали, что это неправда, что нас или приговорят к расстрелу, или дадут двадцать пять лет лагерей. Тогда Орик и сказал: «Мы так долго не могли смириться с поступком наших отцов, которые выбрали смерть вместо предательства, и вот теперь сами оказались перед выбором: смерть или неволя». Но мы не дискутировали на эту тему. Мы знали, что выбор у нас один. Я заиграл «Танго смерти», а потом прогремел взрыв, я потерял сознание. Очнулся уже на снегу, энкаведисты рыскали в схроне в поисках документов, но мы их успели сжечь. Когда меня

подняли и положили на носилки, я увидел обеих матерей – они лежали с простреленными головами. Но и они перед смертью услышали мою игру на скрипке.

– То была эта скрипка? – спросил Ярош, кивая на скрипку, лежащую на диване.

– Нет. Эту я спрятал под полом, когда нас выселили из квартиры. А то была скрипка, на которой я играл в концлагере, мне ее подарил Куба Мунд. К сожалению, ее уничтожило взрывом... Ну, а потом мне дали двадцать пять лет лагерей, из которых я отбыл десять. А после этого еще пять лет прошло, прежде чем мне разрешили вернуться во Львов. Мне пришлось снимать жилье, потому что моя квартира была занята. К счастью, та семья, которая там поселилась, прониклась моей судьбой, и когда хозяину предложили работу в Киеве, он срочно прописал меня у себя. Вот так я снова оказался дома.

Ярош, выходя от Милькера, столкнулся на лестнице с Яркой, она уже не пыхала гневом и даже улыбнулась ему.

– Он на вас возлагает большие надежды, – сказал Ярош девушке.

– Я знаю. Но мне не хватает выдержки. Кроме того... кроме того, когда я играю это танго... – Девушка вздохнула и покачала головой, словно собираясь с мыслями. – Когда я играю его, со мной творится что-то невероятное... мне кажется, я исчезаю, растворяюсь в пространстве, и тогда становится так страшно... последний раз я будто поднялась в воздух и раскачивалась там на невидимых паутинках... а когда попробовала закричать, то не смогла издать ни звука... хотя все это время непрерывно играла.

– Да, – кивнул Ярош, – мне знакомо это ощущение.

– Вы слышали мое исполнение?

– Нет, я слышал танец дервишей.

– Какая связь между танцем дервишей и танго?

– Все, что их объединяет, – это те двенадцать нот, которые можно встроить в любую мелодию или танец. А эффект будет одинаковый.

– Но мне страшно. Такое чувство, будто что-то должно произойти, что-то удивительное, что-то увлекательное, но вместе с тем ужасное.

– У меня тоже такое же ощущение. Но, похоже, обратного пути нет. Встреча непременно состоится там, где цветет гашгаш, под тенью его.

– Что это значит? – удивилась девушка. – Что такое гашгаш?

Но Ярош уже спускался по лестнице.

Ярка застала Милькера за поливом маков. Увидев ее, он приветливо улыбнулся и сказал:

– Да, не хватает только выдержки, детка. Только выдержки. А награда не заставит себя ждать.

– Какая награда? Не нужна мне никакая награда. Этот ваш профессор какой-то чудак. Что-то сказал мне... о каком-то гашгаше...

– Гашгаше?

– Он еще отбрасывает тень... и, мол, в той тени...

– ...состоится встреча?

– Именно так. Что это значит?

– Я же говорю – лишь выдержки вам недостает. И не более. А встреча состоится... должна состояться... Я чувствую это. Совсем скоро. Можно я вас угощу чаем? Прежде чем мы отправимся с вами в город...

– Снова играть для людей?

– Уже недолго осталось, – Милькер налил в чашку чай, добавил ложечку меда и

протянул девушке. – Вы уже близки к тому моменту, когда заиграете как следует. Фактически осталось осилить лишь две ноты. Они, правда, трудные, но вы их сыграете. Вы их должны сыграть, потому что они уже сидят в вас. Тут, – он положил ладонь между ее грудей, и Ярка почувствовала, как тепло разливается по ее телу, но то ли это было тепло от чая, то ли от его прикосновения, понять она не могла, единственное, что осознала для себя, – прикосновение ладони старика было ей приятно, и она едва удержалась, чтобы не остановить его, когда он убирал руку. Она полностью принадлежала ему, и она с этим смирилась.



Вечером Ярош передал рукопись Данке, которая сама вызвалась набрать текст на компьютере, а еще расшифровать диктофонную запись рассказа Милькера. Данка уже успела прочитать рукопись и была под большим впечатлением, ей казалось, что она читает записки какого-то близкого родственника, иногда в памяти всплывали видения чего-то подобного, чего-то, что она могла и сама видеть и прочувствовать, но, очевидно, не видела, сны ее отныне стали странными и запутанными, она просыпалась среди ночи и не могла вспомнить, где она, не только тогда, когда ночевала у Яроша, но и когда ночевала дома. Мать была уверена, что Данка перетрудилась, и убеждала ее оставить на время песни, но Арканум уже держал ее крепко, также, как записки неизвестного ей Ореста и чувство к Ярошу.

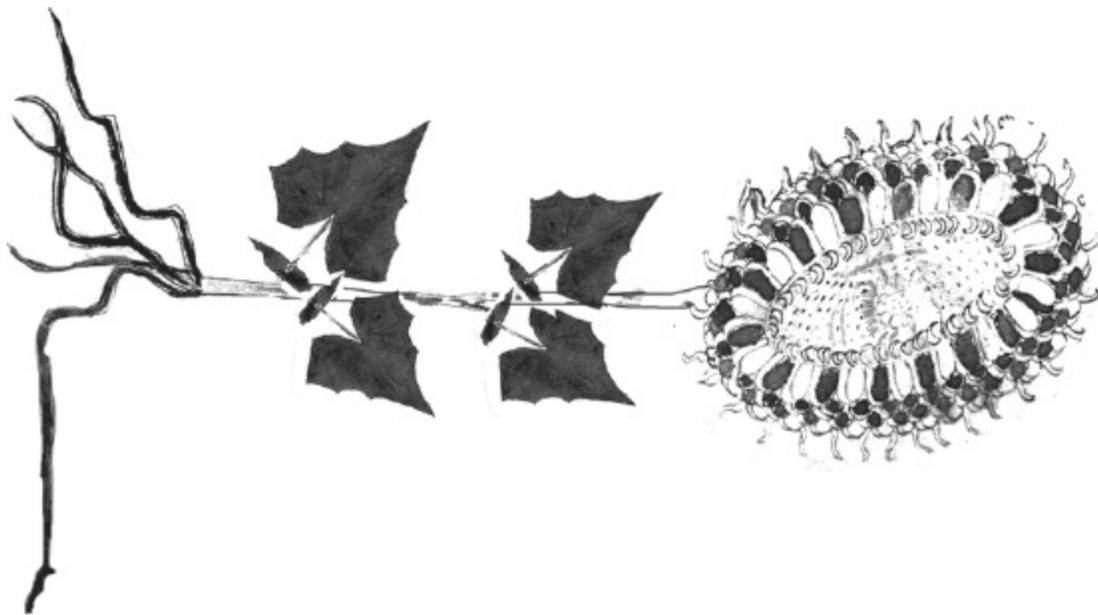
Когда она рассказала родителям об их отношениях, то, к ее удивлению, это не вызвало скандала, отец, который так и не восстановился в должности, уже успел умерить свой гонор, поэтому только буркнул: «Ну, что же, профессор, это, конечно, лучше, чем тот молодой вертопрах», а мама сказала:

– Тебе виднее. Но ты же не собираешься оставаться его любовницей? Он еще тебе не предлагал пожениться?

– Нет. Только предложил переехать к нему. Я думаю, это разумно.

– Боюсь, наш папа этого не поймет.

– Честно говоря, я сама боюсь своих чувств. Ни к кому раньше ничего подобного не испытывала. Не могу и дня прожить без него, без его голоса. Особенно, когда прочитала эти записки о довоенном времени. Они каким-то странным образом повлияли на мои чувства. А теперь, когда я их набираю, мне хочется все время быть рядом с ним.



В тот день Марко впервые обратился к отцу «папа», и Ярош почувствовал волнение, ему захотелось тоже что-то сказать в ответ, но он не мог подобрать слов, чувствовал себя виноватым, и это его сковывало, но Марко был настроен вполне миролюбиво и предложил встретиться где-нибудь за чашкой кофе.

– Должен тебе признаться, – сказал он, затягиваясь сигаретой, – я попал в переплет. Полгода назад. Меня загребли с «травкой», припугнули, что пришьют распространение наркотиков, хотя это была обычная марихуана, а потом... потом дали задание.

Ярош напрягся и приготовился узнать о чем-то ужасном, но то, что он услышал, рассмешило его.

– Мне сказали, чтобы я снял Данку, а потом познакомил ее с тобой. Но так уж случилось, что она мне понравилась, ну и мы начали встречаться... то се... Знаешь, не такой уж я крутой программист... надо было о чем-то подумывать... Так вот, когда я услышал, что ее отец начальник таможни, сразу воодушевился. Ты можешь меня осуждать, но я не пошел в тебя. Кроме того, я подумал, что ее отец и так меня отмажет. Но после того, как я вас познакомил, Данка неожиданно стала меня избегать. Я не долго бился над этой загадкой... Я понял, что на самом деле она меня, а не я ее использовал. Она хотела сойтись с тобой ближе и добилась своего, а я был лишь трамплином, – он горько усмехнулся, помолчал, погасил сигарету в пепельнице и продолжил: – Но я хочу тебе сказать, что совсем не сержусь. Фактически получилось все так, как они спланировали. Я выполнил задание, мы квиты.

– А что с травкой?

– Завязал. Да я и не очень втянулся, так просто – баловался. Вот и все, что я хотел сказать. Это чтобы ты не брал в голову. Ты ведь наверняка переживал?

Ярош кивнул:

– Все произошло как-то стихийно... Я ни в коем случае не хотел бы причинить тебе боль.

– Верю. Читал в одной книге... Называется «Весенние игры в осенних садах»... Автора забыл. Прикольная книжка. Не читал? Ну да, ты же таких книг не читаешь, я знаю. Так вот, там чувак пишет, что клин нужно вышибать клином. Вот я и вышиб. У меня есть новое

увлечение. Отец у нее, правда, не таможенник, а заместитель начальника дороги, но тоже не последний человек, правда же?

– Ну что ж – поздравляю. Ты далеко пойдешь. А как насчет чувств?

– Я ее люблю. Не смейся. Любовь – это знаешь что? Это такая болезнь. Она длится очень недолго. А потом... потом уже наступает симбиоз двух существ. Кто-то пальма, а кто-то лиана. Вопрос лишь в том, кто из кого пьет соки.

– У меня такое подозрение, что пить соки собираешься ты?

– По твоей милости. Вот если бы ты выучился на юриста, хирурга или на крайняк стал народным депутатом, соки пили бы из меня. – Заметив удивленный взгляд Яроша, он рассмеялся, а потом поднялся и продолжил: – Да нет, я шучу. Мне пора. Будем дружить семьями? Ладно?



В приоткрытое окно врывается шум растревоженных ветром деревьев, ветви трепетали и стучали в стекла окон, а вскоре пустился ливень и застучал по крыше. Ярош проснулся и подумал, что дождь может залить подоконник. Осторожно, чтобы не разбудить девушку, встал, закрыл окно, а потом спустился в ванную. На кухне на столе увидел в корзиночке груши, которые собрала Данка. Идея завтрака родилась мгновенно – смешал яйца, муку и молоко, добавил жидкого меда и, обмакнув в тесто кусочки груш, обжарил их на сковороде. И тут зазвонил мобильный: Курков.

– Привет! Я уже во Львове. Нужно где-то пересечься.

– Хорошо. Я свободен. Подарю тебе классную книгу воспоминаний о Львове.

– Что? Уже вышла?

– А ты знаешь о ней?

– Догадываюсь. Ты мне сбрасывал какие-то куски.

– А, я забыл. Так где встречаемся?

– Ну, как где? Там, где цветет гашгаш, под тенью его, – Курков засмеялся и отключился...

Ярош попытался его перенабрать, но тот оказался вне зоны. Потом позвонил издатель и сообщил, что везет ему книги, как и обещал. На удивление оперативно, удивлялся Ярош, за каких-то четыре дня книжку напечатали. Теперь уже он позвонил Милькеру и сообщил приятную новость. Старик несказанно обрадовался.

– Жду вас в три. До обеда у меня есть еще кое-какие дела.



Последние звуки танго затихают, и воцаряется тишина, нежная и хрупкая, Ярка медленно опускает руки, все еще сжимая скрипку и смычок, а в ушах продолжает звучать та же печальная мелодия, казалось, этой мелодией прониклись уже все стены и мебель, даже маки узнали ее и развернули свои раскрытые лепестки к скрипке, как подсолнухи к солнцу. Ярка стоит перед учителем, как громом пораженная, ибо то, что почувствовала во время игры, ее сначала ужаснуло, а потом вызвало множество вопросов, на которые она, прежде всего, сама себе должна была ответить, но не знала как. Это не было похоже на то, что она чувствовала прежде, тогда пугала таинственность и неизвестность, сейчас же все стало на свои места, все прояснилось, выстроилось в один ряд, но в голове гудело от наплыва эмоций, невысказанные слова толпились в мозгу, набухали, выстреливая стеблями.

– Неужели это правда? – произносит она сквозь слезы.

Слезы текут и по лицу Милькера, печаль и радость в его глазах, губы дрожат, но ни единое слово так и не срывается с них. Маки медленно опускают головки. Милькер протягивает к девушке руки, она послушно, как лунатик, подходит и прижимается к его груди, он гладит ее по голове, она утыкается носиком в его шею и замирает, все еще не выпуская из опущенных рук скрипку и смычок, несколько минут оба стоят неподвижно, и кажется, весь старый дом из уважения к ним застыл, как цапля, притих и не смеет потревожить их ни малейшим звуком, ни скрипом, ни шорохом, тишина длится до тех пор, пока на лестнице не раздаются чьи-то шаги, девушка выпрямляется и вопросительно смотрит на старика, Иосиф кивает, она отступает на два шага, дрожащими руками прикладывает скрипку к подбородку и взмахивает смычком. Мелодия танго взлетает в воздух, тонко звенит в оконных стеклах, скользит по книгам, маки снова оживают и поднимают головки, лепестки шевелятся в такт, еще чуть-чуть, и они, разбившись на пары, пустятся в пляс, солнце выныривает из-за деревьев и плещет щедрыми лучами в окна, длинные тени падают на пол. Дверь открывается, и входит Ярош с несколькими экземплярами воспоминаний Орика Барбарыки. Войдя, замирает, потом с удивлением смотрит на

Милькера, тот улыбается ему так, как никогда прежде, как улыбается кто-то, кого ты любил, но давно с ним не виделся, улыбается и Ярка, хоть и сквозь слезы, и обе эти улыбки на фоне музыки перехватывают ему дыхание, кажется, что сердце не выдержит такого бешеного ритма, вырвется из груди, Ярош прислоняется к стене и слушает мелодию, которая ведет его по закоулкам снов и грез в нечто неведомое и сладкое, радостное и тревожное, взгляд его падает на пол, где скрещиваются тени маков, тени мелькают, танцуют, кружатся, просто в глазах рябит.

– Господи! – шепчет он и выглядывает в окно, как бы пытаясь убедиться, что он все еще там, где был минуту назад, за окном действительно ничего не изменилось – проезжают машины, снуют прохожие, усапый дядька со связкой разноцветных надувных шаров крутится у входа на рынок, на скамье сидят бабушки и шушукуются. Вдруг среди прохожих он узнает пани Стефу. Что она здесь делает? Идет на базар? Вроде бы нет. Сворачивает в ворота. В эти или соседние? Балкон мешает разглядеть. И тут лестница в подъезде снова поскрипывает, но не так тяжело, как под ногами Яроша, стук каблуков выдает то, что по лестнице поднимается женщина. Ярош замер и в смятении смотрит на дверь, поймав себя вдруг на том, что слушает не только мелодию танго, но и слова, которые нашептывает Милькер:

А как не станет нас с тобой,
укроют пески тела,
встретимся там, где маки рекой,
там, где их тень легла.

Шаги приближаются, Ярош вдыхает воздух и чувствует, как безжалостно сильно стучит сердце, вот шаги останавливаются, кто-то переступает с ноги на ногу, потом дверь открывается, но очень медленно, робко, словно кто-то сомневается – войти или не войти, и наконец решается – и входит Данка. Она дышит открытым ртом, будто пробежала дистанцию, но уста ее озарены радостной улыбкой, хотя в глазах почему-то дрожат слезы. Что она здесь делает? Ну да, они ведь договаривались пойти к старику вместе, но она позвонила, что опоздает, чтобы он шел один, а она придет вскоре. Он еще хотел назвать ей адрес, но она сказала, что знает его. Он не успел спросить «Откуда?», она выключила мобилку, но потом вспомнил, что она ведь сама дала ему этот адрес, хотя никогда здесь и не была. А скрипка играет и играет, и кажется Ярошу, что он кружит в танго, как в танце дервишей, кружит вместе с тенями маков, но на этот раз он уже не закрывает глаза, а вбирает ими все, что есть в комнате – и улыбающегося Иосифа Милькера, и улыбающуюся Ярку, и улыбающуюся Данку, и улыбающиеся маки... Почему они все так странно ему улыбаются? Им известно больше, чем ему? А лестница снова громко поскрипывает под чьими-то шагами, на этот раз поднимается не один человек, а, похоже, два, а может, и три. Сердце Яроша сжимается, он тоже пытается улыбнуться дрожащими губами, хотя то, о чем он только теперь догадался, все еще призрачно, зыбко и до конца неосознанно, он все еще не верит самому себе, когда хочет произнести: «Даночка!», а с губ его срывается: «Лия?!»

На горе мальвы, а внизу фиалочки,
любим мы друг друга, как два ангелочка.

Сколько раз, когда будешь есть зразы, и лук тебе попадетя,
столько раз ты с нежностью вспомнишь обо мне.

Преци – печенье в форме восьмерки с солью или маком.

Львовские баяры — львовская субкультура (сер. XIX – сер. XX в.), название происходит от венгерского «betyar» – авантюрист, гуляка. Среди львовских баяров были карманные воры, хулиганы, часто баярам были присущи романтические черты. Баяры имели свой жаргон – смешение польских, немецких, украинских слов и слов на идиш.

Скипетуский — герой трилогии Генриха Сенкевича «Огнем и мечом».

Шпрехер — львовский архитектор, построивший в 1921 году одно из самых высоких зданий во Львове, с тех пор и само здание называли его именем.

Спадохрон — парашют.

Хорунщина — сейчас улица Чайковского.

Комнаты для завтрака — специфически львовское явление: комнаты в задней части продовольственных магазинов, где можно было перекусить.

Фризиер – парикмахер.

Эмма Андиевская (род. в 1933 г.) – украинская поэтесса, прозаик и художник, живет в Мюнхене.

Каляфйор – цветная капуста.

Кныдли – вареные пирожки из картофельного теста со сливками или другой начинкой.

Ганделесы — еврейские торговцы ношеной одеждой.

Дротяр — мастер, который стягивал проволокой глиняную посуду с трещинами.

Горячие каштаны! Жареные! Свежие! *(Пер. с идиш.)*

Гарнек — горшок (*польск.*).

Постолы — крестьянская обувь из цельного куска кожи без пришивной подошвы.

Волохач — гуцульский лежник.

Тайстра – гуцульская торба, которую носят через плечо.

Кишка – кровянка, колбаса из каши и крови.

Корзо — стометровка, сейчас проспект Шевченко.

Мельоник – шляпа с узкими полями, напоминающая половинку дыни (мельон).

Кнайпа — кофейня, ресторан.

Тандита — старые вещи.

Гицель – лицо, занимающееся отловом бездомных животных, живодер.

Гит — хорошо (*иди*).

«Де ля Пэ» — ресторан в начале улицы Коперника.

Станислав Людкевич (1879–1979) – украинский композитор, музыковед, фольклорист.

Эдвард Козак (1902–1992) – карикатурист, юморист, художник, писатель.

Курдыдыки – *Анатоль-Юлиан Курдыдык* (1905–2001) и *Ярослав-Рафаил Курдыдык* (1907–1990) – украинские писатели и журналисты, члены литературной группы «Двенадцать»

Корнель Макушинский (1884–1953) – польский прозаик, поэт, фельетонист.

Клозетовая бабка – женщина, сидящая при входе в клозет.

Геник Збежховский (1881–1942) – польский поэт, прозаик, драматург, львовский бард.

Геня, будь серьезным, твое лицо – это лицо Львова! *(Польск.)*

Мечислав Цыбульский (1903–1984) – польский актер, игравший преимущественно роли любовников.

«Шкоцкая» – «Шотландская», легендарная кнайпа, где собирались знаменитые львовские математики.

Стефан Банах (1892–1945) – математический гений, профессор.

Станислав Улям (1909–1984) – польский и американский математик.

Крый назуры! – приветствие, дословно значащее «прячь когти».

Цьотка Бандзюхова – популярный персонаж уличных песенок и сенок в кабаре.

Знесеньє — местность во Львове.

Майталесы – большие, до колен, теплые трусы с начесом.

Мордовня — шинок, в котором бывали драки.

Шпициль – агент полиции.

Шпагат — полицейский.

Птах — птица.

Скеля — скала.

Стриха – соломенная крыша.

Стрых — чердак.

Лэлэ (укр.) – горе.

Вайгель Рудольф Штефан (1883–1957) – биолог, медик, открыл вакцину против тифа.

Шпацирганг — прогулка.

Кампа — драка.

Кваргли — расплавленный заплесневелый сыр с добавлением соли и тмина. Подавали во всех шинках.

Оссолинеум — Научная библиотека имени Василя Стефаника.

Прокристенана — Боже (чешск.).

Левандовский мост – мост на окраине Львова, где в довоенные годы собирались преступники.

Теофиль Ленартович (1882–1893) – польский поэт.

Корнель Уейский (1823–1897) – польский поэт.

Адам Асник (1838–1897) – польский поэт и драматург.

Мария Конопницкая (1842–1910) – польская писательница.

Аббация – популярный курорт в Австро-Венгрии, сейчас – Опатия на территории Хорватии.

Михаил Тышкевич (1857–1930) – граф, дипломат, публицист, художник и меценат.

Гуздральский – прозвище человека, который все делает медленно.

Ферштейн — поняли (нем.).

Wejście zabronione – Вход воспрещен (*польск.*).

Фертик — ГОТОВО (*идиш*).

Астурия Митиленская и Роделия Цуриимская — цветы, росшие на скалах в Аркануме.

Аль-Хидр, или Аль-Хизр — исламский пророк.

Гарбуз — тыква (укр.).

Волошка — василек (укр.).

София Галечко (1891–1918) – первая украинская женщина-офицер, сражалась в рядах Украинских сечевых стрельцов.

Файталена — растяпа.

Рогуль — некультурный, примитивный, глупый человек.

Гильгамеш — герой шумерского эпоса, который искал бессмертие.

Энкиду — друг Гильгамеша.

Балак — разговор.

Каляпитеp — голова.

Зихерово — наворачяка.

Штамы держать – поддерживать дружеские отношения.

Шпанувать — смотреть, следить за чем-либо.

Куцаться — бояться.

Гибай в цинадры — не обращай внимания.

Раптус-нервус — неуравновешенный, нервный человек.

Держаться дышля — сосредотачиваться, собираться.

Питолька — несерьезный, зеленый.

Гаргара — нечто большое.

Пацалиха — игра.

Люфт — воздух.

Шац-хлупакы — хорошие ребята.

Дать фацкы — ПОКОЛОТИТЬ.

Майхер — нож.

Пуредни людиска — порядочные люди.

Получить свирк — сдуреть.

Най би го нагла троиста с бурячками зальлела! – львовская брань, русский аналог: А чтоб он трижды кровью залился!

Винкель – угол дома или улицы.

Лянгнер Владислав (1896–1972) – генерал дивизии Войска Польского.

Халява — голенище (укр.).

Мишигин — придурок (*идиш*).

Цъмага – синоним водки.

Восемь, как стекло, товарищей полегло. – Нас тут триста, как стекло, товарищей полегло. Из стихотворения Т. Шевченко «За оврагом овраг» (перевод А. Тарковского).

Где уж там (чешск.).

Чубарик — так называли бойцов Красной армии за то, что они носили островерхие шапки.

Геле! – восклицание: Эй, послушай! (*Чешск.*)

Цьмага, баюра, вудзя — синонимы водки.

Пани Пшепьюрская — прозвище чванливой женщины.

Фунё кацалабский — чванько приплудный.

Имость – от «его милость», о священнослужителе.

Макагиги – сладости из меда и толченых орехов.

Эта шляпа красивая, но пани очень бледная (*польск.*).

Ицик Мангер (1901–1969) – еврейский поэт.

Мамзер — незаконнорожденный (*идиш*).

Юденрат — еврейский административный орган, созданный в каждом еврейском гетто на оккупированных нацистами территориях.

Тарас Мигаль (1920–1982) – украинский писатель, автор биографического романа «Селедка на цепи».